

ДМИТРИЙ МИХЕЕВ

Идеал



ДМИТРИЙ МИХЕЕВ

Идеалит

ЭРМИТАЖ

1982

Дмитрий Федорович Михеев

ИДЕАЛИСТ

(Роман)

Dmitry F. Mikheyev

IDEALIST

("The Idealist." A novel)

Copyright © 1982 by D. F. Mikheyev
All rights reserved.

Library of Congress Cataloging in Publication Data

Mikheev, Dmitrii, 1941-
Idealist.

I. Title.

PG3483.3.1433713

891.73'44

82-936

ISBN 0-938920-14-6

AACR2

Published by HERMITAGE

2269 Shadowood

Ann Arbor, Michigan, 48104, USA

ИДЕАЛИСТ

РОМАН

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вместо эпиграфа	... 9
Глава I	... 11
Глава II	... 18
Глава III	... 26
Глава IV	... 32
Глава V	... 37
Глава VI	... 44
Глава VII	... 49
Глава VIII	... 54
Глава IX	... 60
Глава X	... 67
Глава XI	... 75
Глава XII	... 83
Глава XIII	... 90
Глава XIV	... 100
Глава XV	... 106
Глава XVI	... 113
Глава XVII	... 119
Глава XVIII	... 124
Глава XIX	... 130
Глава XX	... 134
Глава XXI	... 140
Глава XXII	... 146
Глава XXIII	... 151
Глава XXIV	... 156
Глава XXV	... 160
Глава XXVI	... 167
Глава XXVII	... 172
Глава XXVIII	... 176
Глава XXIX	... 181
Глава XXX	... 189
Глава XXXI	... 199
Глава XXXII	... 206
Глава XXXIII	... 212
Глава XXXIV	... 218

Как это ни странно, но в последней "величайшей коммунистической стройке", в своего рода пирамиде "Великого Вождя" — в здании московского университета на Ленинских горах — была заложена глубоко буржуазная идея: каждому студенту, не говоря уже об аспирантах, предназначалась в нем отдельная комната, где, оторванный от коллектива и товарищеского локтя, а зачастую и в блоке с иностранцем, он мог бесконтрольно пестовать свою индивидуальность.

Непостижимо, кому могла придти в голову подобная идея через тридцать лет после экспроприации, через двадцать — после коллективизации, в разгар интеграции! Не было ли здесь злого умысла недобитых классовых врагов? Оставим эти вопросы специалистам, а со своей стороны отметим, что зловредную идею не скоро разглядели и, если бы не стечение обстоятельств, то... Впрочем, ядовитые плоды ее вырастают, кажется, и по сей день.

Этим стечением обстоятельств были: начавшаяся в конце пятидесятых годов космическая гонка и возросшая в связи с этим потребность в научных работниках.

Взглянув однажды на квадратно-гнездовой фасад университета, "великий реформатор" рассудил в свойственной ему манере просто и быстро, что на той же самой площади можно запросто выращивать двойной урожай ученых, если в каждой комнате поставить по раскладушке. Шести тысяч раскладушек, однако, в государстве не нашлось, поэтому вначале потеснили только первокурсников, затем (через годик) — второкурсников и т. д. Таким образом фронт борьбы с жилищными излишествами докатился к середине шестидесятых годов до аспирантов.

Справедливости ради отметим, что борьба эта была лишь частью общей борьбы со *всякого* рода излишествами. Так, погибла, не увидев света, идея телефонизации каждого блока из двух комнат. Взамен в центре каждого этажа поставили телефонные будки и пульт с кнопками, чтобы вызывать звонком к телефону. Однако, и эта система оказалась излишеством и в семидесятых годах была заменена одним телефон-автоматом на этаж. В младенческом возрасте скончалась идея единого живого университетского организма: все переходы между зонами были перекрыты, и у входа в каждую из них был посажен вахтер. Для этого, между прочим, понадобилось заколотить сотни дверей и построить десятки перегородок, отучить лифты ходить на первый, цокольный и подвальные этажи, а также — нанять штат из доброй сотни вахтеров. Вивисекция продолжалась до своего логического конца — до раздела общежития на мужскую и женскую зоны —

и тут только она натолкнулась на активное сопротивление студентов.

Перечень операций, котрым подвергалась наша Alma Mater, занял бы слишком много места, тем более, что он продолжает непрерывно пополняться. Мне больно об этом говорить, поэтому я оставляю эту тему менее пристрастному исследователю и, собрав осколки собственного оптимизма, попытаюсь склеить из них оптимистическое утверждение: МГУ был и, несмотря ни на что, остался оазисом в коммунальной пустыне советского образования.



Я думаю, вам не составит большого труда вообразить себе аспирантика: чистенького, в сером костюме, белой рубашке с галстуком, с левой стороны пробор... Впрочем, почему с левой? Дело в том, что когда мама зачесывала его детские кудри, он стоял к ней лицом, а от природы она правша. Эта чистой воды случайность предопределила, тем не менее, важную черту его характера: он любит ходить справа — отсюда, по-видимому, открывается его великолепный аспирантский лоб. Очки? Нет, прошу вас, никаких очков — вечно они сползают на нос, в них неудобно играть в волейбол. Глаза светло-серые с голубизной (Где вы видели Снегина с темными глазами?), к тому же — начинающие выпцветать от книг и, что еще хуже, имеющие подозрительную особенность смотреть сквозь вас в Космос.

Зовут его Илья. Такова моя авторская прихоть, происхождение которой, если хотите, теряется в событиях двухтысячелетней давности на Голгофе, где бродит еще среди сгнивших крестов отчаянный вопль "Илия!". Могу же я, взваливший на себя каторжный труд, позволить себе небольшую прихоть? Роста он довольно высокого, так как неплохо играет в волейбол, впрочем, — наоборот... Нет, признаюсь, дело не в волейболе. Просто, мне не хочется возиться с заурядными аномалиями и, связанными с ними, комплексами. По этой же причине я надеяю его здоровыми внутренностями... Вам уже скучно? Вам хочется хоть немного уродства? Горб? Хромота? Торчащие вперед зубы? Нет, на это я не пойду! Я ненавижу всякого рода уродства и готов уступить, если Вы так уже настаиваете, один единственный зуб слева, да и то при условии, что он был выдернут по ошибке. Остальные зубы в полном порядке (не слишком сильное условие, ведь ему только двадцать четыре года) — дабы дурной запах не оттолкнул читателей...

Вот я и поймал себя! Оказывается, я начинаю заботиться о симпатии читателей — да как откровенно и неуклюже. А ведь мне это совсем ни к чему: я не собираюсь воспевать своего господина и мучителя. Я хотел и з ж и т ь его из себя, освободиться раз и навсегда и готов ради этого пойти на предательство: вскрыть в с е его слабости, пороки и комплексы.

Вместе с вами я обещаю проникнуть в его душевные потемки... Мы будем копать в них со сладострастием человека, нашедшего бумажник, мы извлечем из них все мало-мальски ценное и отбросим с облегчением (освобождения) и радостью (обогащения).

Итак, в его внешности нет ничего примечательного; да и первое, беглое, знакомство принесет вам мало удовольствия. О чем с ним,

собственно, говорить в мужской задушевной беседе, если он не болельщик, в шмотках без понятия (не отличает польской тряпки от американских джинсов), если женский вопрос расцветивает его библиотечную бледность такими красками, что вам самому делается неловко. Ко всему прочему, он не соображает на троих. Справедливости ради замечу, что однажды при нем двое так смачно соображали, что он едва не попросился в сотоварищи, но пролетавший мимо ангел (не специально ли посланный?) зажал ему рот, и посвящение не состоялось. Кстати, вы заметили, что женская тема болезненно действует на него? Трансцендентальная бледность и здоровая кровь... тут кроются большие возможности для нас с вами, и я обещаю использовать их сполна.

Ага, вы усаживаетесь поудобней? Ну так и я не стану больше мешкать. Для начала вытолкнем его с помощью пожилой усталой женщины из зала для младших научных сотрудников "ленинки" — в конце концов, сколько можно: десятый час, суббота... Пусть он пройдет по вечерней Москве сентября 1967 года, подышет ее имперским воздухом, услышит смех, обрывки фраз и иностранную речь, заразится ее суетой, засмотрится на стройный силуэт в вечернем платье, и, кто знает, может быть, случай подарит нам начало романа: "она легонько ойкнула, пошатнулась, и он едва успел удержать ее за талию, — простите, — ничего, что с вами?, — нога, каблук, — позвольте я помогу?"...

Ничего подобного! Илья медленно спускается по ступенчатому пьедесталу "ленинки", на ходу застегивая до верху плащ, будто отгораживаясь от реальности, и напрямик направляется в метро. На эскалаторе он не стоит и, естественно, ничего не замечает. В вагоне он прислоняется к стеклу и, закрыв глаза, пытается понять, где между чушью и гениальностью место его сегодняшней мысли о происхождении качественно новых понятий. Но внимание его уже расшатано, в нем появилась течь, и разговор двух женщин просачивается в него.

— А я тебе скажу, она сама его довела. Уж если в партком бежала жаловаться, то это, скажу тебе, не жизнь.

— А кто нынче не пьет? Разве что твой, так и то — из-за печени.

Столь важное заявление заставило Илью открыть глаза и сконцентрировать свое изумление на переносице говорившей, и только новый разговор спас бедную женщину от испепеляющей радиации его взгляда.

— А куда податься? Поволок ее к Бубновому, а там уже Тамарка с Утробой, поддавшие...

С бесстыжей любознательностью натуралиста, мгновенно забыв про свою прекрасную, но слишком холодную Гносеологию, Илья набросился на новую жертву своего любопытства. Это были трое

парней с равнодушно-снисходительными физиономиями и лениво блуждавшими глазами.

— ...Послал Бубнового взять две банки водяры и чего-нибудь пожевать. Ну, пока он ходил, моя расхныкалась, "куда ты меня привел?.."

Ловко маскируя свои движения под толчки и покачивания вагона, Илья подкрадывался к говорившим как кошка к пьющему воробью. При этом он старался не только приблизиться как можно ближе, но и повернуться зачем-то правым ухом.

— Короче, начала из себя ...корчить. Пришлось слегка успокоить. Потом стакашку хватанула, и все пошло путем...

— А что Бубновый? — спросил один из приятелей.

— А что ему! Два стакана выжрал и размяк, скот.

— Да, слушай, Боб передавал, чтобы ты манки вернул.

— Скажи своему Бобу, что он ..., когда я ему предлагал... Выпрыгиваем, наша.

Парни выскочили, оставив едва не плачущего Илью: за несколько минут он выпал из взвешенного состояния трансцендентного мира в осадок реальности. Ему хотелось догнать их, уцепиться за рукав и спрашивать. Что значит: "поволок", "пошло путем", "успокоил", "банка водяры"? Он снова ничего не видел. Его воображение, изголодавшееся на метафизической диете, рисовало здорового парня, который тащит за волосы обмякшее тело девушки, втаскивает в автобус и швыряет на сиденье. Потом в замызганном притоне она плачет и гримасничает, а он вливает ей в рот водку; приходит Бубновый, похожий на червонного, и ставит на лавку два трехлитровых баллона, при этом утроба жирно радуется...

"Экий чурбан, интелли-х-ент! — в переводе на старомодный литературный язык воскликнете вы, — с Марса он, что ли, свалился? Не знает, что такое банка водяры! Да где он жил, учился? Вообще, таких сейчас не бывает".

Бывает, дорогой читатель, бывает. Мало, но бывает. Да вы и сами встречали — таких всегда затирают в метро и автобусах, а в магазинах просят говорить громче. Выловить такой экземпляр гораздо проще, чем поймать рыбежку в Москве-реке: надо только заглянуть в воскресный день (во время трансляции матча из Канады) в "ленинку". Только вот зачем это делать, стоит ли он вашего драгоценного внимания? Не знаю, не знаю... Не хочу навязывать вам своего мнения, напомню, однако, что от этих "яйцеголовых" вечно всякие неприятности происходят, хотя на вид они совершенно безобидны. Да и вымирают они у нас... Это, разумеется, не аргумент — мало ли всяких вымерло, но ведь жалко все-таки...

Нельзя, я думаю, не признать, что в ходе "величайшего социологического эксперимента" спор: "среда или наследственность?" был окончательно разрешен в пользу среды. Среда, а точнее, бытие определяет сознание. Неплохо иметь графские гены, если к ним в качестве бесплатного приложения прилагается легион нянек, швейцарско-франко-англо-немецких гувернеров и полный пожизненный пенсион — какие нежные и чудные растения порой произрастают на этой почве! И как бесплодны те же гены на скудной почве детских садов, пионерских отрядов и коммунальных квартир.

Илья Снегин не орал в смешанном хоре младенцев детских ясель № 874, не декламировал стихов "любимому вождю" в смешанном хоре детского садика № 1234, не жил интенсивной общественной жизнью коммунальной квартиры, но красный галстук носил с удовольствием и особенно гордился двумя нашивками на рукаве. Дитя военного и учительницы русской литературы (*nota bene* — русской литературы!) он вначале, как и положено, мечтал стать суворовцем и без сомнения стал бы им, если бы перед самым поступлением не искупался первого мая в горной речке. Он не потерял, однако, надежды стать военным, хотя и не танкистом, как отец (уж слишком приземленными казались ему танки), а летчиком, и готовился к военной карьере под жестким руководством отца. Он отлично учился, делал планы и яхты, лепил приемники и играл в шахматы, закалял себя спортом и фотографировал, участвовал в кружках по математике и физике, читал Жюль Верна и Герберта Уэллса, как вдруг погиб его отец. Он с мамой и едва наметившимся братцем перебрались из Венгрии в Союз, где на целых два года Илья был отдан деду. Смешной, рассеянный дед занимался букашками и разными прочими насекомыми, однако имел шикарную библиотеку. Жизнь Вселенной — от муравьев до сверхновых звезд и океанских пучин — была в книжных шкафах со скрипучими застекленными дверцами. Не удивительно поэтому, что к девятому классу ужасно умные и всё-всё-знающие ученые вытеснили с пьедестала элегантных, подтянутых военных, да так на нем и остались. Правда, в отличие от деда, они были физиками и спортсменами.

Когда он попал, наконец, в безраздельную сферу влияния матери, ей пришлось столкнуться с оригинальной и весьма дельной философией. Человек, в сущности, очень прост, все его качества являются производными от двух основных: силы ума и силы духа. Скажем, честность — явное следствие ума, ибо лгать неразумно. Ложь — свидетельство глупости и слабости. Коварство — ум в сочетании с трусостью и т. д. Из двух основных качеств первенствовал, разумеется, ум, ибо со слабым, но умным человеком еще можно говорить, но с дураком... Русская литература не имела умного и одновременно сильного героя вроде доктора Штокмана или Френка Каупервуда (ум

последнего, правда, был не в ту сторону ориентирован), кроме, пожалуй, героев Чернышевского да личности Маяковского, все ее мысли не стоили десятка страниц "Диалектики природы".

Елена Павловна (открою наконец имя его мамы, чтобы не склонять всуе, ставшее подозрительным, слово "мать") пришла в ужас от смеси писаревщины с базаровщиной и попыталась натравить на сына изящную словесность, томных балерин и бородатых живописцев, однако без видимого успеха. Если что-то и задержалось в последнем, самом мелком фильтре его сознания, то благодаря лишь природной музыкальности... Вот Вам и гены! Нам так и не удалось обойтись без них. Илья страстно любил петь, он пел, еще до того, как научился говорить, и я подозреваю (как жаль, что этот факт невозможно проверить), появившись на свет, он не закричал, как нормальные дети: "караул, куда я попал!", а запел что-то вроде: "Широка страна моя родная!" В шестнадцать лет он знал все известные у нас мужские арии и половину женских, благо голос его блуждал в это время (в зависимости от настроения и обеда) по всей средней части нормально расстроенного домашнего пианино. На почве музыкальности возник и его первый настоящий комплекс: не научившись играть ни на одном инструменте (вначале он признавал только фортепиано — единственный, не считая барабана, инструмент, достойный мужчины — которого, увы, не было, а позже в связи с переездами он упустил время), Илья завидовал каждому, кто мог сыграть двумя руками собачий вальс, и преклонялся перед всяким, кто мог исполнить неизменные полонез Огинского или первую часть "Лунной".

Я вижу, как мой въедливый читатель, обремененный обширнейшими познаниями и бесчисленными уменьями, ядовито-снисходительно улыбается: тоже мне комплекс, да и не поздно в шестнадцать-то лет... вот ежели бы он любил каким-нибудь странным образом собственную бабушку... Понимаю, понимаю — вам, перешагнувшему в своем развитии через любовь к двенадцатилетним нимфеткам, разумеется скучно. Тем не менее, в э т о м романе не будет ни крови, ни кровесмесительства. Если же мне когда-нибудь станет нечего делать (как я мечтаю и боюсь этого), я наверчу вам такое... ну, скажем, про гениального пианиста и композитора, который, страдая болезненной тонкостью кожи, не переносил обнаженного тела, а каждое прикосновение к клавишам доставляло ему муку. На этой почве во мраке подсознания у него вызрел целый комплекс комплексов, от которых он решил наконец избавиться, убив своего отца и переселившись в его школу... прощай, кожу.

Илья слишком серьезно относился к музыке, чтобы затевать с ней легкий флирт. Да и когда ему было? Он участвовал во всех олимпиадах, (всегда занимая почему-то второе место и воспринимая это, как поражение), сражался в шахматных турнирах, занимался английским

и осваивал массу других полезных вещей, которые должен знать и уметь идеальный человек, то бишь ученый... Вот именно — идеальный человек! С этого следовало бы начать, иначе вы ничего не поймете, — он мечтал, с тех пор, как научился этому искусству, об идеальном человеке, и суворовец почему-то был только первой и, прямо скажем, не лучшей моделью идеального человека. Вначале он просто рассчитывал его встретить, целенького, прекрасного: идешь себе по улице, и вдруг — ах! вот он! Затем он начал искать — в книгах, кино, театрах, но видел только обломки: там рука, там пол-лица, божественного с одной и уродливого с другой стороны... Афины после невиданного землетрясения, растоптанные копытами миллионов варваров — груды обломков и ни одной целой статуи! К этому так привыкли, что большинство (со многими девятками в конце) свято верило, что целых статуй вообще никогда не было и быть не может, природа, дескать, не терпит совершенства. Он, однако, продолжал искать, а, когда устал (в ранней молодости так быстро устаешь), попробовал склеить разрозненные обломки силой воображения, получилось нечто зыбкое и лучезарное. Оно ускользало, разваливалось... было так трудно его удерживать, и тогда он решил материализовать его... в самом себе. Вот, так-с! А теперь смейтесь, я подожду.

Имейте, однако, в виду, что шестнадцать лет ему было в 1959 году, а за двадцать лет о ч е н ь многое изменилось. Не стану отрицать, впрочем, что даже для своего времени он был... инфантилен? — нет, мерзкое слово, не успеешь его произнести, как немедленно появляется рыхлый, дебелый большой ребенок... Ну да судите сами. В десятом классе любовь была для него унижительным и постыдным состоянием, — дьявольским искушением, ниспосылаемым для испытания и закалки характера. Правда, он ходил со своим лучшим и единственным другом — "талантливым математиком и г е н и а л ь н ы м поэтом" — на танцы, но только как натуралист. Правда, он позволял себе изредка потанцевать, но только для развития координации и чувства ритма. Правда, он был увлечен девочкой из параллельного класса, но только за ее неженский пронизательный ум и широту взглядов: он рассказывал ей про метагалактики и марсианские каналы, она слушала, не перебивая, и покорно опрокидывала голову к звездам. Когда однажды он по-братски поцеловал ее в щеку, она постыднейшим образом раскисла, пустилась в объяснения... одним словом, женщина на есть женщина.

Прошу прощения, дорогой читатель, я вас слегка одурачил: в сущности, это была не Глава I, а Вступление, ведь я хорошо знаю, что вы никогда не читаете вступлений, а подготовить вас надо было. Конечно, если бы я мог начать примерно так: "С самого утра его одолевало дурное предчувствие. Выходя из дома, он зачем-то сунул в

карман пистолет. Под ноги метнулся черный как сажа Джимми. Тьфу, наваждение! — сплюнул он, зябко поеживаясь, — нервишки пошаливают...”, если бы я мог так начать, мне незачем было бы заманивать вас звоном серебра и посулами золота. Увы, в моем романе не будет ни агентов, ни трупов, и, если намеки, которые я наболтал скороговоркой, не пробудили в вашем сонном мозгу даже искры интереса, значит, вы не мой читатель. Adieu! Довольно я словесными ужимками тащил за собой ваше дохлое внимание!

Я начинаю спокойно и последовательно, без обманов и трюков потрясающую историю, а вам делаю последнюю уступку — оставляю за следующей главой номер два.



Какие грубые, циничные мерзавцы, — размышлял Илья, — и как они обращаются с женщинами — уму не постижимо! Откуда у них эта наглая самоуверенность, легкость? Он вспомнил, как с полгода назад двое приставали при нем к девушке: "неужели мы вам не нравимся? Пойдемте, повеселимся". Она чуть не плакала, он вступился и в результате — подрался. Для них, по-видимому, не существует проблемы сближения, они действуют — как сказал его однокурсник (из той же породы) — по принципу: пришел, увидел, взял. Поразительное слово — взять, и еще это — самец. Грубое, волосатое слово, но что-то в нем все-таки есть... Сила? Да, и власть — власть над ближними... Неужели власть над хрупким, легко ранимым человеком может давать такое удовлетворение? Подавлять и без того слабое существо? Странно.

Две остановки — от метро до университета — Илья почти всегда шел пешком: он инстинктивно сторонился больших скоплений народа. По этой же причине он поздно завтракал, поздно обедал, когда столовые уже готовились к закрытию, и поздно ложился спать. В "ленинку" он ездил тоже только в те дни и часы, когда там было пусто и уютно — под вечер в субботу или воскресенье. Он занимал свой любимый стол — в левом углу у окна — набирал огромную стопку книг и погружался в беглый осмотр. Наткнувшись на что-нибудь особенно интересное, он аккуратно выписывал данные книги, чтобы взять ее в университетской библиотеке и по-настоящему проработать у себя в комнате, где в полной тишине и одиночестве только и можно было заниматься серьезными вещами. Такой стиль жизни сложился сам собой, как только на четвертом курсе он получил отдельную комнату и немного ослабло рабство обязательных семинаров и лекций. Ему повезло — волна уплотнений гналась за ним по пятам, но так и не настигла его: следующий четвертый курс жил уже по двое, аспирантов начали уплотнять в 1967 году, когда он был уже аспирантом второго года.

К концу длинной, совершенно пустой аллеи, которая густой перезрелой зеленью отгородила его от всего мира и только бледным синтетическим небом напоминала о большом городе, мысль его, след которой он давно потерял, вынырнула откуда-то с категорическим выводом в зубах: он искусственно ограничивает себя, упускает что-то очень важное, он превращается в заскорузлого книжного червя. Когда первый испуг прошел и жалкий скрюченный призрак растаял, Илье захотелось музыки, смеха, разговоров.

Жмурясь от яркого света проходной, Илья рассеянно кивнул вахтерше и, не показывая пропуска — вежливого аспиранта знали все черберы университета, — прошел во дворик. Где-то громко, призывно

булькала танцевальная музыка. Он поднял голову: на балконе восьмого этажа толпился народ, вздувались и хлопали полотнища гардин. Забежав на минутку к себе и оставив плащ и папку, Илья по лестнице спустился на восьмой этаж, ощущая в ногах приятную дрожь. Попасть на вечер, однако, оказалось не легко: косяки голодных до развлечения студентов рассеивались двумя молодцами с флегматичными физиономиями и красными повязками. К счастью, их командир знал Илью в качестве председателя английского клуба...

Вечер приятно отличался от обычных танцев: было свободно, не душно, музыка не гроыхала, в горле не першило от дыма. Можно было даже присесть, однако Илье хотелось понаблюдать: в гостиной было много незнакомых лиц и всюду слышалась польская речь. Вот высокий тонкий парень в голубой рубашке со множеством пуговиц встряхивает кудрями с томной улыбкой на лице, а его красивая полная девушка почти неподвижно держит сложную прическу угольно-черных волос, только подрагивают огромные розовые клипсы да удивительно белые руки мягко подчеркивают ритм. Вот завсегдатаи всех университетских вечеров, удивительная пара — изящный камбоджийский принц Банг и рослая, длинноногая шведка Ивонна. Ее роскошные волосы цвета свежего сливочного масла то рекой стекают на грудь и плечи, то окутывают лицо, и она то и дело стряхивает их, не нарушая нисколько рисунка танца. Стройные, неправдоподобно длинные ноги ее ступают вкрадчиво и быстро. Она не была красивой, но столько гибкой грации было в каждом ее движении, таким счастьем светилось веснушчатое лицо, таким элегантным в темном приталенном костюме был ее принц, так слаженно и вдохновенно они танцевали, что возле них, как всегда, собралась группа бескорыстных почитателей. Илья присоединился к ним, чувствуя, как ноги его дрожат в такт с нервным, запутанным ритмом. Ивонна заметила его, улыбнулась и помахала рукой, он ответил и вдруг неудержимо захотел танцевать.

Пел Джеймс Браун — "mister soul". Безжалостный ритм хлестал по ногам, высокий взвинченный голос певца томил и мучил. "Страшная, порабошающая музыка, — подумал Илья, — пригласить ее на правах старого друга? Наверняка мавр не позволит..." Но и приглашать на один-два танца незнакомую девушку ему не хотелось — это вживание, привыкание к незнакомому телу, конфузы непонимания... Нет, ему бы с п л я с а т ь один танец, чтобы разрядить эти тысячи пузырьков с кислородом в мышцах спины и ног, и домой, в келью. Он дарует себе один-два танца за месяцы воздержания — весь август он лазил по Эльбрусу, замеряя, как эта глыба испортила гравитационное поле, и заслужил два танца. "Банг, один танец, можно?" — решил он, когда кончилась наконец бесконечная баллада Брауна. "Нет, она танцует только со мной" — ответил принц, глядя куда-то в сторону, чтобы не смотреть снизу вверх. "Проклятый ревнивец!" — бормотал Илья,

пробираясь сквозь пеструю толпу танцующих в другой конец гостиной, где, судя по всему, происходило нечто интересное.

В самом деле, он увидел зрелище поистине замечательное: на овальной площадке, окруженные плотной стеной зрителей, танцевали две пары. Девушки, тоненькие, стройные, с распущенными по плечам светлыми волосами, были без сомнения близнецами. Одна из них, в короткой клетчатой юбке и белой кружевной блузке, танцевала с парнем в оранжевых вельветовых брюках, кожаной куртке и платочком на шее. Другая — в тонкой розовой кофточке и облегающих белых брюках — танцевала с высоким, худым и ужасно юным сомалийцем Салимом, которого Илья знал по клубу. Обе пары танцевали в стиле рок-н-рол, но как по-разному они танцевали.

Широкоплечий, выше среднего роста парень в куртке двигался мало и прямой, негнушейся фигурой своей словно олицетворял в танце твердое мужское начало. Он поднимал руку партнерши и, щелкая пальцами, подхлестывающим жестом направлял ее в образовавшуюся из рук арку. Склоняя дивную головку и взмахивая кружевными рукавами, она быстро проходила, распрямлялась и стряхивала волосы со счастливо улыбающегося лица. Ее голые коленки мелькали тут и там, и вся она напоминала чем-то цирковую лошадку. Сестра танцевала мягче и грациознее. Она переступала через такт, томя и заманивая паузой. Чуть приседая и покачиваясь, она сглаживала, смягчала каждое движение, каждый жест. Зато Салим гнулся, трепетал как лоза, передвигаясь неуволимо быстро и точно. Его тело жаждало движений, ему не хватало ритма, и он успевал украсить главный рисунок танца мелкими причудливыми арабесками. Девушка в брюках тоже улыбалась, но как-то мечтательно, затаенно, словно каким-то своим думам. Это был рок-н-рол, но и бальный танец тоже — все изящесто, достоинство и грация бальных танцев, за которые их так любил Илья, сохранялись несмотря на быстрый неровный ритм, несмотря на все, что выделял Салим.

Наконец закатилась, замолкла мелодия, и Салим, вычурно раскланявшись с партнершей, подошел к Илье. Они поздоровались, и Снегин спросил про девушек.

— Полячки, только вчера приехало сорок человек, а сегодня интерклуб устроил вечер-встречу, — охотно ответил юноша, вытирая шоколадный выпуклый лоб красным платком. — Хотите, познакомлю?

— Н-нет, спасибо... — почему-то смешался Илья и поспешно добавил, — уступи лучше один танец.

Ноги его уже не слушались, не стояли на месте; они жили своей первобытной жизнью в какой-то таинственной связи с завораживающим ритмом негритянского блюза. С большим трудом он уговорил их сделать несколько твердых шагов туда, где сестры стояли с парнем в кожаной куртке. "Один танец, и уйду. А если откажет? Тогда к черту

это занятие, никогда больше не пойду”, — решил он. Розовая кофточка приближалась, расплывалась во что-то бело-розовое... мелькнуло сомнение, справится ли он... Илья отшвырнул его и коснулся локтя той, что была в брюках: позвольте? Она обернулась с улыбкой, мгновенно охватила его всего, целиком: и напряженную улыбку, и слишком прямую фигуру, затем вышла на свободное место и запросто положила руку ему на плечо — высоко, у самой шеи. Он обнял ее чуть выше талии, сделал несколько шагов и вдруг со страхом и наслаждением ощутил ее невесомость. Казалось, она угадывала его мысли. Он смелел. Замирал на один-два такта, втайне готовя неожиданный поворот или переход, делал несколько движений и тут же менял замысел, покачивался на месте, чтобы ослабить, усыпить ее бдительность..., но так ни разу и не сумел заставить ее врасплох. Он украдкой взглянул на нее, немного отстранившись и скосив сверху вниз глаза — она улыбалась, приняв и разделив его игру!

Боже, как давно он не танцевал с таким полным, исчерпывающим наслаждением, да танцевал ли вообще? Нет, конечно, — никогда! — таяли его мысли в розовом тумане блаженства.

Десять минут длился танец, и они не произнесли ни слова. Когда же музыка кончилась и они остановились, Илья бессознательно задержал в руке ее пальцы, словно цепляясь за ускользающее переживание. Они взглянули друг на друга внимательно и удивленно. “Какая светлая! Благородная, северная красота, — подумал он, — ничего броского, яркого...”. “Приятное, честное лицо, детская улыбка, — подумала она, — волнуется, но пытается скрыть.”

Теперь надо было что-то говорить, а в голове его вращались два неуклюжих, банальных комплимента: “как хорошо вы танцуете; как приятно с вами танцевать”, которые ему никак не удавалось смягчить, прикрыть их бесстыжую наготу. Поэтому, когда уголок ее рта пополз, предвещая что-то насмешливое, он поспешно выхватил наудачу: “Как чудесно вы танцуете!”

— Так всегда говорят, — ответила она, и он немедленно вспыхнул, — все-таки я неуверенная, пока сама не увижу себя — в кино, например. Вот Барбара, сестра, лучше танцует, но тоже вижу ее недостатки.

— Правда? Есть недостатки? — удивился Илья.

— Не очень серьезные, и у меня все-таки больше. Только правда, что люблю танцевать.

— И я люблю танцевать, но так редко танцую в последнее время. Боюсь, что у меня уже комплекс...

— Почему?

— Да, знаете, у нас аспиранты почти не ходят на танцы, и мне все время мерещится, что кто-то стоит с сторонки и говорит: “вот вам философ! Ну, что от него можно серьезного ждать?”

— Значит, я угадала, а не ошиблась тоже...

— Что, что именно?

— Я видела вас, когда еще танцевала с Салимом, — "да?" — удивился Илья. Он не заметил, чтобы она хоть раз взглянула на него, — и подумала: вот какой серьезный, наверное, математик или физик и, конечно, осуждает меня... Видите — тоже комплекс, — она рассмеялась. — Но потом сказала себе: все равно буду танцевать. И тоже потом, когда вы подошли, знаете, что подумала? — Илья покачал головой, — Я пожалела свои ноги...

— И?.. — смущенно улыбнулся он.

— И едва уцелела, — развела она руками.

— Ах, так! — нахмурился Илья, — больше не буду вас приглашать... Вам этого хотелось добиться?

— О, простите, я думала, что вы кокетничаете... Вы очень хорошо танцуете, может быть, чуть-чуть не хватает пластики...

Нет, на нее нельзя было обижаться... Давно уже отзвучала новая мелодия, а они все так же стояли, только пальцы ее он выпустил и, не смея положить руки в карманы, скрестил их на груди. Странно, но никто почему-то не отваживался приглашать ее. Они обсуждали связь рок-н-рола с балльными танцами, когда подошла Барбара со своим партнером в оранжевых брюках и, оглядев с насмешливой доброжелательностью Илью, предложила идти на Ленинские горы.

— Тогда давайте познакомимся. Меня зовут Анжеликой, моя старшая сестра Барбара, варшавский полиглот Карел и русский аспирант-философ...

— Илья Снегин, — сказал Илья, по очереди пожимая всем руки.

— Разве вы младше сестры? — спросил он, едва они двинулись к выходу.

— Да, на пятнадцать минут, и поэтому она всегда пытается командовать.

— Я только пытаюсь, а командует она, — обернулась Барбара.

Губы ее, ресницы и брови, как отметил Илья, были слегка подкрашены, и это придало чертам безукоризненную правильность "писаной" красавицы.

На площади у фонтана, который был таким большим, что и работал лишь по большим праздникам, Карел спросил Илью:

— Прошу прощения, Снегин — ведь это чисто русская фамилия?

— Да, я думаю... а что? — удивился Илья.

— В таком случае я ошибся. Я сказал Барбаре, что вы либо латыш, либо эстонец.

— Почему вы так решили? — смутился Снегин.

— Я бывал в Таллине, в Риге, а так как я люблю наблюдать расовые отличия и особенности...

— Конечно, — перебила его Барбара, — вы такой высокий, блондин,

и скулы не такие, — она прижала кулаки к щекам, — нос не картошкой, а глаза не маленькие и не злые.

— Бог ты мой, что у вас за представление о нас, русских! — воскликнул Илья. — Мы с вами славяне, ближайшие родственники...

— Да, это так, к сожалению, — сказал поляк, — и поэтому я, конечно, пристрастен, но и снисходителен к вам в гораздо большей степени, чем венгры, к примеру, или прибалты. В Таллине меня никто не слышал, когда я обращался по-русски, мне приходилось везде подчеркивать, что я поляк.

Он говорил по-русски до противного правильно, и что-то в его манере возбуждало в Илье бессознательную оппозицию. Казалось, Карел вот-вот рассмеется и обратит все сказанное в шутку.

— Вы, как философ, никогда не задумывались над тем, почему на рынке общественного мнения ваша нация так низко котируется? Скажем, эстонцы считают себя выше остальных своих соседей и признают известное преимущество за немцами, латыши считают себя выше литовцев, белоруссов и русских, но признают первенство за эстонцами и т. д. Но русские почему-то по любой шкале — кроме собственной — стоят ниже всех. Правда, в глазах тех, кто с вами непосредственно не граничит, вы обладаете большим количеством достоинств...

— Карел, как тебе не стыдно! Что за расизм! — не выдержала Анжелика.

— Не понимаю, почему нельзя обсуждать эту тему... почти всегда наталкиваешься на болезненную реакцию. Мне кажется, с философом, с цивилизованным человеком можно спокойно говорить на эту тему.

Снегина, который уже кипел и готовился наброситься на поляка с резкими контрбвинениями, последние слова Карела заставили сдержаться.

— А вам не кажется, — спросил он, — что подобного рода мнения являются уделом толпы, самых что ни на есть культурных низов, и обсуждать их, по меньшей мере, не научно? Только для дегенератов все китайцы на одно лицо, а все негры — обезьяны.

— Это, конечно, глупость, — вмешалась Барбара, которая уловила упрек себе, — тем не менее, национальное лицо все-таки существует. Допускаем на мгновение, что мы живем в гостинице и не знаем, кто наши соседи. Спрашиваем портье, и он говорит, что справа живет семья англичан, слева арабы, а там монголы... Разве это нам ни о чем не говорит?

— Не знаю, может быть, — ответил Снегин. — Я бы, пожалуй, предпочел, чтобы он сказал, кто они по профессии: крестьянин, математик или скрипач.

— Американский фермер, закончивший колледж, или тамбовский мужик — колхозник? — ядовито спросил Карел. — Разве между американским фермером и ученым больше разница, чем между тем же

фермером и вьетнамским крестьянином? Американец есть американец... Я сразу же представляю себе делового, самоуверенного, трудолюбивого и простого в обращении парня... да — и честного к тому же.

— Ну, а тамбовского колхозника? — с трудом произнес Илья.

Они подошли к балюстраде, и Барбара, выразив несколько преувеличенный восторг, спросила, указывая на подсвеченные купола слева за рекой: "Ой, что это?"

— Новодевичий монастырь.

— Красивый, а монашки там есть?

Илья покачал головой.

— Жалко. У нас в Кракове много, — задумчиво сказала Барбара. — Ненавижу разговоры про нацию, кровь, про типичных поляков или русских. Для него немцы *über alles*, а поляков он не любит, может, даже больше, чем русских. Она тоже расистка, только вас стесняется...

— Почему, я не стесняюсь, — заговорила наконец Анжелика, — просто не успеваю за вашими репликами. Я думаю, есть большая разница между культурной частью нации и некультурной: культурные люди мало подходят под определение "типичный представитель", их личность превышает национальные рамки...

— В таком случае создатели национальной культуры не являются типичными представителями нации. Каким же образом они не только отражают, но даже создают "национальный дух"? — возразил Карел. — Другими словами, Толстой, Достоевский, Рахманинов, Глинка — не типичные русские, ты это хотела сказать?

— А что ты хочешь сказать? — напустилась на него Анжелика. — Что они были такими же ленивыми, пьяными лодырями... как это? ...з а т ю к а н н ы м и?

— Ну, это сегодняшний русский затюканный... Глинка был страшный обжора, Мусоргский — пьяница и лодырь, Есенин — дебошир и пьяница, Чайковский...

— Карел, прекрати! — неожиданно резко оборвала его Анжелика, — если для тебя типично русские черты — все, что есть плохого, тогда посмотри, какой плохо воспитанный, нетактичный сам есть! Как можешь критиковать других?!

— А-а-а, мы, поляки, ничем не лучше — такие же грязные, ленивые, неорганизованные, только еще мелочные и спесивые. Я отнюдь не ставлю свою нацию выше других — у меня нет ни шляхетской крови, ни спеси.

Он взглянул на сестер насмешливо и горько. Чувствовалось что-то личное в его упреке, и впервые за вечер нечто вроде симпатии к поляку шевельнулось в Илье.

— Вы знаете, — сказал он, останавливаясь и преграждая всем путь, — мне кажется, что чем культурнее человек, тем меньше в нем чувствуется национальное, ибо культура наднациональна. Ученые,

например, во всем мире очень похожи. Если же культурный человек наделен творческим потенциалом, то он вообще выпадает из всяких категорий и рамок...

— Пойдемте к воде и, пожалуйста, прекращаем споры! Такой теплый, приятный вечер... — сказала Анжелика.

Девушки прошли вперед, а Карел придержал Илью и сказал:

— Вы помогли мне сформулировать мысль, которая давно не дает мне покоя. В наше время ученые превратились в ремесленников, они не творят, они работают — во всяком случае девяносто девять процентов из них. Я хочу сказать, что они действуют по заранее известной методике. Только очень немногие творят, то есть создают методику. Вот почему они похожи друг на друга, как новые пятаки.

— Н-да, пожалуй... — удивляясь самому себе, согласился Илья.

Он откровенно устал. Резкость, неожиданность суждений его новых знакомых, в особенности Карела, мешали ему добросовестно вникнуть в суть этих суждений. Он ощущал их частичную правоту, и вместе с тем внутри него все восставало, противилось... Он изо всех сил сдерживал себя и с болезненным, почти сладострастным любопытством ждал новых откровений поляка.



Они брели по аллее у самой реки. Стояла теплая, мягкая пора ранней осени — не то продолжение лета, не то его отголоски. Тишина, блики, вздохи осенней воды действовали умиротворяюще, и споры незаметно погасли. Карел с Барбарой отстали, затеяв древнюю и весьма философскую игру с водой: они бросали в нее камни, а она делала вид, что сердится.

Илья с Анжеликой смотрели, как возмущаются, мечутся блики.

— Скажите, пожалуйста, как вас занесло в эту варварскую страну? — спросил он, и она с легким подтруниванием над собой рассказала, что они с сестрой закончили четыре курса филологического факультета в краковском университете по специальности "русская литература", а затем, чтобы легально сбежать из дома, участвовали в конкурсе на поездку в Москву. Видимо, смеялась она, они так всем надоели в Кракове, что от них решили просто избавиться хотя бы на один год, если им вообще удастся выжить...

— Почему? — улыбнулся Илья.

— Они там думают, и первый, конечно, отец, что если мы не умрем здесь от холода, то от скуки — обязательно. И тогда он скажет: "Ну, что я говорил!"

— Хм, любопытно поговорить с вашим отцом... Ну и как вы, справляетесь со скукой?

— О, да! Первый раз в жизни мы почувствовали себя свободными и теперь немножко хмельные. Вы знаете, как нас воспитывали дома! Ужасно, настоящий монастырь! А здесь так весело, и столько новых знакомств за несколько дней! Но тоже, придется много заниматься — мы должны сдать десять экзаменов, чтобы получить советский диплом. Але можно мне тоже немного спрашивать? — спросила она с лукавой усмешкой. — Правда, что вы занимаетесь диалектическим или историческим материализмом? Мне так странно думать... У нас эти профессора бывают самыми скучными и немного такими... — она неопределенно качнула рукой.

— Нет, — смутился Илья, — я занимаюсь философией естествознания. Видите ли, я закончил кафедру теоретической физики, но на последних курсах увлекся философскими проблемами физики. Мне показалось тогда, впрочем, я и сейчас так думаю, что физика определила философию — многие ее открытия и новые представления не укладываются в рамки традиционного видения мира, и это в свою очередь тормозит дальнейший прогресс физики. Поэтому в глубине души я физик, во всяком случае, мне хотелось бы, чтоб меня им считали...

— Пожалуйста, расскажите, какие проблемы вас увлекли, я очень любопытная, — попросила Анжелика.

Илья был польщен и озадачен. Он считал недостойным прятаться за ширму "сложности и специальности" вопроса, однако, и объяснить "человеческим" языком... Между тем, Анжелику интересовало не столько то, что он собирался говорить, сколько — к а к он будет говорить о своей работе.

Сей нехитрый прием, никем еще не сформулированный, но успешно применяемый умными женщинами, состоит в следующем: если мужчина отнекивается — "ничего интересного, скучно рассказывать", он равнодушен к своей работе; если говорит, что это слишком сложно и малопонятно для неспециалиста, — он занимается своим делом не очень успешно, либо не уважает собеседницу; если рассказывает охотно, значит — увлечен и делает успехи; наконец, если его хлебом не корми, дай поговорить о своей работе... о, это конченный человек, фанатик, бегите от него со своей хрупкой, розовой мечтой о домашнем очаге и семейном счастье. Из таких, правда, частенько выходят... ну, да что об этом говорить — кому они нужны, эти Жан-Жаки и Ван Гоги. Что касается Анжелики, то помыслы ее были чисты так, как они только могут быть чисты у хорошо воспитанной девушки, оставившей на родине отца, мать, брата и... Нет, не будем торопиться. В первый вечер неназванное обстоятельство не играло никакой роли.

— Видите ли, — после небольшого раздумья отважился начать Илья, — благодаря физике и астрономии наше знание о Вселенной необычайно расширилось и углубилось. Теперь мы знаем о существовании Вселенной, столь большой, что Земля по сравнению с ней — что-то вроде пылинки по сравнению со всей солнечной системой. И в глубину мы никак не можем дойти, до дна, так сказать, то есть, частицы делятся и делятся... Поэтому нас начинает серьезно мучить вопрос, а существуют ли вообще неделимые частицы, из которых строится вещество, а если существуют, — Илья рассмеялся, — то как их все-таки разделить...

Она не поняла вполне его шуточки, но ей понравилось, как он смеется и говорит "мы, нас": ей представлялась кучка "яйцеголовых" с умными, озабоченными лицами, склонившимися над расчетами.

— ...Каков же он в конце концов, — продолжал Илья, все больше увлекаясь и жестикулируя, — конечный или бесконечный? Положим, конечный, тогда что его окружает?..

— Ничто, — тихонько сказала она.

— Как ничто? — опешил он и перестал размахивать руками.

— Просто так, ничто и... Бог.

— Хм, насчет Бога... это пока оставим, а ничто... Вы знаете, это ужасно. Ничто — это, когда приборы ничего не показывают. Ничто никак не дает о себе знать... И вообще, что это? Пустое пространство? Отсутствие полей, ибо они сами наполняют собой пространство, другими словами — превращают ничто в нечто, а именно — в вакуум...

Он взглянул на Анжелику: эта странная, затаенная улыбка, как тогда во время танца, спутала его мысли. Почему она улыбается, что она думает?

— Видите, какими химерами я занимаюсь, — развел он руками. — Вы смеетесь... но теоретическая физика уже столько лет в тупике! Эти проблемы требуют осмысления, их надо решить, чтобы затем с новой платформы совершить новый прорыв, от которого — пусть это звучит несколько высокопарно — зависит судьба цивилизации... Вы смеетесь! Почему вы смеетесь?! — воскликнул он, ловя ее руку за запястье. — Если вы думаете, что это глупости, вы глубоко забл...

— Я не смеюсь, — поспешно и мягко перебила его девушка, — я только думаю, что вы, наверно, воображаете себя немного богами: решаете космические проблемы, а человек... — для вас, кажется, пылинки, как вы говорили про Землю, или страшнее — статистическая единица. Почему он несчастлив, почему есть вражда и ненависть, почему столько людей страдают? А вы думаете, как разбить частицы и устроить прогресс...

Илья выпустил ее руку и задумался.

— Разумеется, — сказал он наконец, — счастье каждого индивидуума... впрочем, нет, я не могу себе представить человека без отрицательных эмоций — они необходимы, это обратная связь; она сигнализирует человеку об опасности, угрожающей самому его существованию... Но пусть — р а й! Ведь он в первую очередь означает высочайший уровень потребления материальных и духовных ценностей, то есть — энергии, в конечном счете. Вот вам связь физики с индивидуальным счастьем.

— Matka Boska! Уровень потребления! Неужели вы думаете, что миллионер — самый счастливый?!

Она остановилась, преградив ему путь, — очаровательный призрак на безнадежно черном фоне склона. Мысли Ильи смешались — ему захотелось коснуться этого призрака и, не доверяя своим рукам, он снова скрестил их на груди. Закрыв глаза, он поискал среди странных ощущений утерянную мысль — было в ней что-то смутно-привлекательное. Ах, да — о р а е!

— Знаете, Анжелика, я не знаю, что такое счастье, но р а й, с которым оно тесно связано, необъяснимо отталкивает меня. Это вечное блаженство, поток положительных эмоций, сладенькая манна небесная, приятные запахи, музыка, ласкающая слух, и что там еще... Нет неприятного, нет неприятностей... всеобщая гармония... нет горького, нет кислого — только чуточку кисленькое, и лица... л и ц а в с е г д а б л а ж е н н о - с ч а с т л и в ы е! Перманентное удовольствие! Оно станет со временем обычным, и его перестанешь ощущать, как, впрочем, и грешник привыкнет со временем к своей сковородке. Ему надо дать немного рая, чтобы он ощутил свой ад, и наоборот. Кроме того, разве

справедливо за полсотни лет грешной жизни давать миллионы, вечность адских мук? Надо даже в аду оставить возможность искупления... впрочем, я увлекся. Главная моя мысль в том, что абсурдно мечтать о разделении мира на черное и белое. Здесь добро, все прекрасно и гармонично, а там за воротами все зло, — непостижимо! Для ученого, во всяком случае, ибо...

— Как? — напомнила о себе Анжелика, и он осекся — ужасно! он не дает ей слова сказать.

Илья переломил прутик, которым хлестал за что-то деревья, и закончил свой монолог вопросом:

— ...потому что равновесное состояние означает баланс противодействующих сил... а, что вы на это скажете?

— Ничего. — Развела она руками. — Так есть — ваша логика бесильна. Можно верить, а понимать нельзя, — и, видя, как недоумение на его лице сменяется насмешкой, поспешно добавила, — вы видите, как мир устроен — добро и зло перемешаны — и не думаете, что может быть иначе. Из вашей логики всегда так получается, поэтому религия выше стоит научного метода...

— Джи-и-и! — раздался голос Барбары. — Куда вы забрались? А, вот вы где. Мы собираемся как это... поворачивать оглобли домой и нуждаемся еще в одном "И. С."

— Иване Сусанине? И тогда ваш папа скажет: "что я говорил!"?

— Нет, она хотела сказать, что Польша нуждается в Иосифе Сталине, — сказал Карел, — чтобы навести порядок в бестолковой стране.

— У-у-у! — замахала руками Барбара. — Только не Йоська! Меня вполне устраивает Илья Снегин.

— Ну, тогда — вперед! — скомандовал Илья и полез по склону.

В одном особенно крутом месте Илья обернулся и подал Анжелике руку, но она, поблагодарив, взобралась сама, и это побудило его сердито заметить:

— Религия! Религия да еще национальные предрассудки больше всего разделяют людей.

Она промолчала, и тогда он продолжил:

— Разум и только разум способен ликвидировать вражду и объединить усилия людей. К черту! Отбросить весь этот груз национальных предрассудков, мифов, легенд, предубеждений, скрытой и явной вражды, религиозных барьеров... и начать рассуждать ясно, точно и холодно: что необходимо людям, что мешает, как устранить и т. д. — со всей строгостью математической логики, предполагая, что все люди равны, каждый достоин раскрепощения его индивидуальности от гнета материальной необходимости, высвобождения его творческого потенциала... Так рассуждая, никогда не придешь к необходимости лжи или насилия.

— Отбросить все... коротко говоря, метафизическое, оставить только силы и логику — будет самая большая ложь и насилие, потому

что убьете душу и всякий смысл жизни. Как не понимаете? Мир это не только атомы и силы, — горячо возражала девушка, — если просто атомы, тогда подумайте з а ч е м что-то делать и улучшать, зачем куда-нибудь стремиться и главное — к у д а стремиться?

— Совершенствовать человека! Создать идеального человека-творца!

— Вот теперь ближе. Откуда имеете в голове идеал?

— Ну уж во всяком случае — не от Христа! Еще за несколько сот лет до него греки довольно точно представляли себе идеального человека...

Так, добросовестно стремясь к истине, они добрались безлюдными университетскими просторами, следуя за Барбарой с Карелом, до пятиэтажного общежития на Ломоносовском проспекте. Поляк уже стучался в дверь — сперва деликатно, а потом все требовательней, ибо страж порядка и нравственности посапывал на диване, возложив свою миссию на ручку половой щетки. Анжелика, стоя ступенькой выше Ильи, зябко поеживалась и скрещенными руками пыталась удержать тепло — отчего казалась особенно хрупкой и стройной. Наконец дверь, после возни и приглушенной ругани, приоткрылась, и Анжелика, оторвав руку от плеча, протянула ее Илье со словами: "Извините, совсем поздно... Приходите, комната № 431."

Барбара была гораздо теплей:

— Обязательно приходите, философ. Будем танцевать и, может быть, найдем смысл жизни...

Карел задержался докурить сигарету, и Снегин, пытаясь равнодушным тоном прикрыть любопытство, спросил:

— А кто их родители? Вы что-то намекнули тогда...

— Я видел их на вокзале в Варшаве. Мать — доподлинная англичанка — бледная, тихая и тощая, а отец... О, это, видимо, фрукт. На него стоит посмотреть — эдакий господин довоенного образца, смотрит на тебя, а во взгляде: "Я вас, мерзавцев, всех насквозь вижу". Кажется, его отец имел приличное поместье. Да видно — морда, как у породистого бульдога.

Илья невольно взглянул на парня — а ты сам? Тяжелые, правильные черты, темные, слегка вьющиеся волосы и презрительный штришок у губ — чем не порода.

— Я вижу, он вам не понравился? — спросил Илья, стараясь удержать тему.

— Ненавижу шляхетскую спесь, — проворчал Карел. — На чем, собственно, она зиждется? В нашей истории на одну светлую страницу приходится десять позорных, скандал за скандалом. А сейчас? Потихоньку рабелепствуем и быстро разлагаемся.

— А как получилось, что мать англичанка?

— В 39-ом он бежал от советской армии в Англию, там женился, и,

несмотря на продовольственные карточки и бледность, англичанка наградила его двойней — из патриотических побуждений, наверное, а пан Стешиньский из тех же побуждений привез их в Польшу. Вот пока все, что я знаю, но в будущем, — Карел многозначительно посмотрел на Илью и отбросил окурок, — если что-нибудь узнаю, обещаю поделиться по-братски.

— Спасибо, не надо, — сухо сказал Илья и распрощался.

Было три часа. Такси дремали на стоянке как щуки в заводях. Илья торопился к себе, бережно неся весь ворох впечатлений, — только там он мог не спеша, со вкусом разобраться в них. Он долго не мог уснуть — мелькали волосы, кружева, голубые с зеленью глаза, звучали музыка, слова, смех. В голове был приятный сумбур. Он даже не пытался думать, только со злорадством отметил, что полетел к черту его вечерний распорядок.



Но рухнул распорядок не одного вечера. На следующий день он, разумеется, проспал. Проснувшись и с ужасом взглянув на часы, он хотел было вскочить, но вспомнил вчерашнее и преспокойно закрыл глаза.

Вначале вплыл и все заполнил собой тот единственный танец: как естественно и просто она держится! Ее рука не висит расслабленно и уныло, как у большинства девушек, нет, она лежит высоко — у самой шеи, она в о д р у ж е н а на плечо, почти обнимает его, колени их иногда соприкасаются... впрочем, она всегда успевала прочесть его биотоки, прежде чем они достигали его мышц — как тот человек из Киева, что водил машину с завязанными глазами. Кажется, за весь танец они не сказали не слова. Экий болван, небось подумала она. И потом он начал разговор какой-то банальностью, ах, да — комплиментом... Зато она говорила просто, бесхитростно — без неизменных "угадайте, а как вы думаете?", подтрунивая над собой, над ним... — кажется, он был излишне скован вначале.

Затем его больно кольнуло, и он постарался проскочить это место, — разговор об отношении к русским. Вообще, они придают поразительно большое значение вопросам нации и расовым признакам, но что еще удивительней — ее религиозность. В наше время, молодая вполне современная девушка!.. Впрочем, весьма цельная позиция... по своему.

Она не отдернула руку после танца!

В отношении к ученым у них явная предвзятость: "как новые пятаки", говорит Карел, а у нее — брезгливость, почти отвращение к научному методу. Собственно, кого они могут противопоставить ученым? И он новый пятак. Конечно, рядом с их джинсами и платочками он чересчур... чересчур академичен... нет, об этом нечего и думать — у него не та внешность, чтобы небрежно одеваться, он нуждается в собранности и ясности мысли, есть какая-то связь между мятыми брюками, несвежей рубашкой и недисциплинированным мышлением...

Она сказала "воображаете себя богами" с явной иронией; но ощущение Бога есть у каждого, кто творит, и, если быть до конца честным, разве ученые не стоят на последней из достигнутых ступеней совершенства? Что, собственно, отталкивает ее в ученых? Их прагматизм, самоуверенность? Но разве они не доказали неограниченные возможности науки?..

Такой ход мысли возбудил у него жажду деятельности, которая оказалась, впрочем, весьма недолговечной, ибо угасла, как только он

позавтракал и уселся за стол. Впечатления волнами накатывали на берег сознания и смывали его жалкие построения. Он вспомнил мысль, родившуюся в "ленинке" и так взбудоражившую его вчера: "качественно новые понятия рождаются из жизнеспособных сочетаний старых понятий", но почему одни жизнеспособны, а другие нет?.. Какая свобода и раскованность во всем! Никакого кокетства... А, может быть, это кокетство высшего порядка? Нет, им просто незачем кокетничать. Зачем казаться... но что такое кокетство? Илья посмотрел в словарь: "старание нравиться своей внешностью, заигрывание". Ну, это им ни к чему, не успевают, наверное, отбиваться...

Когда Илья понял, что день безнадежно болен, он решил из милосердия прикончить его волейболом и посещением кино, возведя его посмертно в статус выходного.

Следующий день, с виду совершенно нормальный, был болен, как оказалось, тем же недугом — мысли разбегались и терялись в розовой дымке. Появились первые признаки паники: какой-то досужий проприцатель высказал убеждение, что так теперь и будет и пожалел старика Канта, другой — пожалел бедного Снегина, кто-то обронил ехидное замечание насчет польской юбки... что касается его Я, то на правах ближайшего родственника оно прямо заявило, что он бездарь, не умеет брать себя в руки и вообще бездельник. Илья огрызнулся, однако, занятие себе вскоре нашел.

Он принялся за перевод статьи Слитю для сборника "Западная философия естествознания", которую взял почти исключительно ради заработка и именно поэтому откладывал со дня на день. Бегло прочитав статью, Илья был потрясен, как женщина, сшившая себе новое платье и вдруг встретившая точно такое же. Он прочитал внимательней, немного успокоился и позвонил своему шефу, пообещав выступить неделки через три с изложением и критикой *о ч е н ь* *и н т е р е с н о* й статьи. Вечером его уже полностью захватила работа.

Англичанин воспользовался новыми достижениями физики, чтобы еще раз поднять на щит кантовские понятия пространства, времени и "вещи в себе". Поскольку главным инструментом исследования структуры элементарных частиц является бомбардировка их другими, очень быстрыми частицами, причем, они перестают существовать, а во все стороны разлетаются "осколки" с совершенно иными свойствами, а зачастую даже большие по массе, теперь никто, говорит англичанин, не осмелится заявлять, что съев пирожное, он "вещь в себе" превратил в "вещь в нем". Следовательно, познавая, мы не только изменяем состояние вещи, мы *у н и ч т о ж а е м* ее; о каком же познании "вещи в себе", то есть вещи, не подвергшейся воздействию, может идти речь, — восклицает Слитю, — мы познаем не более, чем закономерности взаимопревращений частиц.

Далее, опираясь на формальный аппарат теоретической физики,

англичанин доказывал, что пространство и время являются лишь формами описания состояния вещи, или — "созерцания", как сказал бы Кант, но только — не существования.

Казалось, Слитоу подслушал мысли Ильи — было больно и лестно, неприятно и радостно. Вскоре, однако, сомнения, которые и прежде не оставляли его, вместо того, чтобы окончательно исчезнуть, начали крепнуть — теперь он играл не сам с собой, а с опытным и находчивым противником. Исходя из верных предпосылок, профессор из Кембриджа допускал несколько ошибок, подрывавших всю концепцию. Незачем, например, было доказывать непознаваемость "вещи в себе", поскольку невзаимодействующая частица является такой же абстракцией, как, скажем... Бог, — в этом месте мысль Ильи сделала самовольную отлучку в гостиную восьмого этажа, затем — на склоны ленинских гор, однако вернулась довольно быстро с чуть виноватым и несколько преувеличенно-озабоченным видом. Подобные отлучки она совершала еще не раз и всегда — под вполне благовидным предлогом; возвращалась немного грустной, но ничего не требовала, ни на чем не настаивала. Ему удалось убедить себя, что приглашение посетить их было сугубо формальной вежливостью, и вообще, если Провидению угодно, пусть оно само устраивает их встречу — несколько неожиданно заключил он.

Как видим, материалисты тоже не могут обойтись без услуг "несуществующего" Провидения, только (со свойственной им манерой все опошлять) низводят его на уровень сводни. Провидение, однако, не обиделось и по всем правилам подстроило встречу: недели через две после знакомства он столкнулся с Анжеликой в фойе зоны А. Как и положено, оба растерялись, но гибкий женский ум первый справился с замешательством и захватил инициативу:

— А, Илья, здравствуйте! Что же вы... как это... глаз не видите?

— Вы говорили о множестве интересных знакомств, поэтому я решил, что у вас и без меня голова кругом идет, — смутился Илья.

— Да, так есть немного, но все-таки приходите, — уголок ее рта полз в лукавом изгибе. — Вы знаете, нам, женщинам, всегда не хватает внимания, сколько ни дай...

Издевается... над собой, над женщинами или над ним?

— Так думают все мужчины, не правда?

Илья всматривался в нее, ему совсем не хотелось следить за изгибами ее иронии. На этот раз она была совсем другой. Серое, тонкой шерсти платье мягко облегалo фигуру, волосы, уложенные на затылке, открывали крутой, выпуклый лоб и высокую линию шеи. Белый воротничок и манжеты придавали ей нечто ученическое, и впечатление это усиливалось острыми углами рук, прижимавшими к груди несколько книг и тетрадей. Гармонию плавных линий ничуть не нарушали прямые росчерки рук, они смешивались по каким-то высшим за-

конам и порождали трогательную хрупкость.

— А что свобода, вы все еще хмельны ею? — пробился Илья сквозь легкое головокружение.

— Ох, не знаю, я, кажется, сойду с ума от этой свободы, — грустно улыбнулась она, — все думают, что можно приходить, болтать и уходить, когда захотят. Всегда кто-то есть, всегда разговоры, всегда салон.

— Да, и меня это убивает, — искренне посочувствовал Илья. — Как же вы спасаетесь? Сидите в читалке?

— Да, стараюсь, але тоже не могу привыкнуть — душно и хочется спать. И тоже нельзя пить кофе, к сожалению...

Это не было никаким намеком, хотя она и знала, что живет он где-то здесь. Однако мысль была высказана, и надо было обладать особенной неповоротливостью мозга, чтобы не подхватить ее.

— Правда? Я тоже не люблю читалок, сидишь, как на вокзале...

— У нас дома одна комната с сестрой, но я никогда не могла вместе с ней быть — уходила в кабинет отца. Теперь нас четверо, и не понимаю, как не сошла еще с ума.

Грустный тон ее передался Илье, и, заметив это, она весело добавила:

— Ничего, как-нибудь привыкаем... Але приходите обязательно, иначе... страдает наше самолюбие.

Она простилась и быстро свернула к выходу прежде, чем он успел придумать ответ: "Обязательно приду потешить его".

Через полчаса у себя в комнате, сидя в кресле с послеобеденной чашкой кофе, он с приятной теплотой вспомнил Анжелику, то просто-душно-искреннюю, то насмешливую, и твердо решил в ближайшем будущем посетить сестер. О том, что сейчас он мог бы пить кофе вместе с ней, он так и не подумал — она была из другого мира, который никак не соотносился с его собственным.

Работа его давно уже вышла за рамки разбора чужой статьи. Он попросил шефа перенести сроки выступления, так как вместо тезисов к докладу получалась весьма пространная и рыхлая, но вполне самостоятельная статья.

Наконец, первую жатву он собрал, и дальнейшее продвижение замедлилось. Коммуникации слишком растянулись, и мысль частенько стала забредать в собственные тылы. Он чаще стал отвлекаться, слушать музыку и просто часами просиживать за столом без каких-либо видимых результатов. Надо было развеяться... Позвонить бы им, да нет наверное там телефона... Не явишься же так вот — без предупреждения... И снова незлопамятное Провидение помогло ему. На сей раз оно разрешило его сомнения, положив на чашу его желаний весьма солидный аргумент — ему попался огромный астраханский арбуз. С таким приятелем можно было явиться даже некстати.

На следующий день — в субботу — Снегин отправился в гости к

полякам. По дороге, неправильно истолковав взгляды москвичей, которые по большей части тоже направлялись в гости и откровенно за-видовали ему, он решил, что вся эта затея с арбузом смешна. Поэтому, оставив своего приятеля у вахтера вместе с пропуском, он налегке поднялся на четвертый этаж.



Я до сих пор не мог решить: к счастью или к несчастью наш герой избежал коммунальной квартиры и подобного общежития с комнатами на четверых. Поживи он в них с добрый десяток лет жизнью простого советского человека и, смотришь, задохнулся бы в нем коварный ген индивидуализма, вышел бы из него простой компанейский парень и не случилось бы... Ну, да что об этом говорить — это был бы уже не Илья Снегин, а про другого я не стал бы писать роман. Лично мне это существенно облегчило бы жизнь, но ведь не было бы еще одного идеалиста, а их и так осталось у нас меньше, чем тигров в какой-то африканской стране, которая недавно закупила парочку в Англии. Не придется ли и нам вскоре экспортировать идеалистов? Впрочем, судя по некоторым признакам, особых оснований для беспокойств нет: наше правительство вовремя распознало надвигающуюся опасность и приняло необходимые меры — ввело строгий учет и специальные, охраняемые государством заповедники, где они, правда, с трудом выживают, но остаются идеалистами. Итак, взвесив все обстоятельства, нельзя не признать, что в этом отношении нам повезло.

С первого взгляда комната № 431 поражала своей непохожестью на все, что Илья видел в общежитиях. Во-первых, занавеска делила ее на две части: спальню, которую образовывали сдвинутые к окну три из четырех кроватей, и гостиную. В этой передней части комнаты была сконцентрирована вся остальная мебель — стол, четыре стула, единственное кресло, книжные полки и четвертая кровать, замаскированная под диван цветастым покрывалом. Во-вторых, гостиная была красочно и со вкусом оформлена. Человек шесть (все незнакомые) разговаривали, листали на "диване" журналы и просто курили.

Илья окаменел и хотел было ретироваться, но из-за книжных полок, уставленных безделушками, которые у нас принято сбывать иностранцам, сперва выглянул, а затем вышел Карел и громко объявил, что прибыл великий русский философ и физик. Илья зарделся предательскими пятнами и, проклиная в душе поляка, проворчал что-то вроде: "горе этому миру, если у него такие великие философы", впрочем, так тихо, что вряд ли услышал сам себя. Пока Карел пристраивал его плащ, Илья с облегчением заметил, что интерес к нему быстро улетучился, и внимательней оглядел комнату. Без сомнения особую атмосферу комнате придавали бесчисленные репродукции и вырезки из журналов, покрывавшие не только стены, но даже дверцы встроенных шкафов и саму входную дверь. Шикарные лимузины и живописные хиппи, небоскребы и полыхающие рекламой авеню, кинозвезды и скачущие лошади, гримасничающие обезьяны и изборожденное

морщинами лицо профессора, белоснежные замки над горными озерами и стреловидные самолеты... — казалось, весь мир, преломившись на волшебном камне, упал на стены тысячей своих обличей. Похвалив обитательниц за изобретательность, Илья поинтересовался, где они сами.

— Где? — удивился поляк. — На кухне, конечно. Готовят польский национальный ужин из Российского сыра, итальянских спагетти и болгарской "Гамзы".

— Хм, а я тут астраханский арбуз принес... — сказал Илья, — внизу оставил.

— Ах, ты скромник! — рассмеялся Карел. — Ты должен знать, что, идя в гости к польским девушкам, можно смело нести любые съедобные вещи, особенно сладкие. Они так любят одеваться и так берегут свои фигуры, что едят только, когда их угощают, правда, Лариса? — поймал он за руку тоненькую простоликую девушку. — Она и вон та пышнотелая мадонна из Пензы, Оля, — их сожительницы. Эта — очаровательная мадьярка Юдит, это — Джеймс из Ганы, а то два поклонника Ларисы и Оли по официальной версии, а неофициально — наших сестер...

Балагура, Карел пропустил впереди себя Илью в дверь на кухню, где с радостным "Ах, Илья!" к нему подбежала Барбара, взлохматила его пробор и с укором сказала: "Видишь, какой принц датский! Явился наконец". Затем подошла Анжелика в коротеньком, игривом фартучке и, протянув руку, сказала: "Какой сюрприз! Мы уже перестали надеяться".

— Поцелуйте пана в щечку, он вам в о т т а к о й арбуз принес, — сказал Карел.

— Ой, спасибо, Ильюша! — воскликнула Барбара и действительно чмокнула его в щеку, тут же добавив: мне приятно и без арбуза, но где он? Давай сюда, я помою.

Илья пошел за арбузом. По дороге Я высказало сомнение относительно искренности энтузиазма, с которым он был встречен. Илья обругал его брюзгой, циником и пригрозил применить против него алкоголь.

Арбуз внес оживление и сплотил всех вокруг стола — всем хотелось потрогать, пощупать и прикинуть вес. Усевшись кто где мог и хотел, принялись за спагетти. Возможно, терпкое красное вино, возможно, смешные итальянские макароны, с которыми не все могли управляться, а, может быть, в том был повинен зеленый со светлыми змейками гигант, но смех и шутки вспыхивали тут и там без всякого видимого повода. Илья незаметно поддавался общему настроению; остатки чопорности сползали быстрее, чем опускался уровень рубиновой жидкости в большой оплетенной бутылке. И если щеки его рдели, то на сей раз — не чахлым румянцем смущенья, а — жаром болгарских виноградников. Вскоре не стало ни спагетти, ни вина, и взоры обратились к полосатому шару. Он заключал в себе загадку, которая

приятно щекотала нервы и чуточку сдерживала возбуждение. Когда он наконец лопнул и распался на два алых полушария под рукой Карела, кто-то даже захлопал в ладоши. Барбара предложила *barbag'sкую*, как заметила Анжелика, игру: кто скорей, без помощи рук, съест скибку арбуза, и все принялись весело плевать в специально поставленный посреди стола тазик. Косточки вылетали, прилипали к щекам, подбородкам и даже лбам; Барбара, надув щеки и "сделав страшные глаза", строчила как пулемет, Карел отчаянно мотал головой, пытаясь стряхнуть косточку с подбородка, Джеймс действовал деловито, неспеша... Он и оказался победителем, и, когда Юдит награждала его арбузной коркой на ниточке, царственно наклонил голову. Не успели помыться и привести в порядок комнату, как Карел достал гитару и вручил ее Анжелике, заметив с непроницаемым лицом: "Ничего не поделаешь — надо отрабатывать".

Анжелика взяла гитару, настроила ее, переговариваясь по-польски с сестрой, и вдруг запела высоко и чисто: "*Bo-go-ro-dzi-ca Dziel-wi-ca Bo-gi-em...*" Барбара подхватила, и голоса их, хорошо поставленные и спетые, слились в простом, протяжном напеве.

Илья замер в болезненной настороженности, как охотничья собака, почуявшая запах, шелест... Одна фальшивая интонация, капелюшка красоты, этой эссенции красоты, которую ведрами льют на зрителей доморощенные маргариты и ленские, один театральный жест, и... поднят мостик, опущены ворота, бойцы на башнях и кипит смола. Ничего, безупречно! Не находя опоры в себе, Илья покосился на Карела, на его всегда насмешливые губы и поразился: они дрожали. "Что это?" — спросил Илья шепотом, когда кончилась песня. "Богородица... Можно сказать — наш древний гимн, — ответил поляк, разглядывая пальцы, — с ним мы разбили немцев у Грюнвальда". Девушки запели "*Kyrie eleison*" (Господи, помилуй!) а *capella*, в унисон, и снова Илья затаился, только без прежней настороженности, — душа его начинала подтаивать, размягчаться и отделяться от тела. Оставив его — тяжелое, навечно прикованное к земле — она устремила за мелодией как хвост за воздушным змеем — вторя ее падениям и взлетам. Но кто-то следил со стороны, а, может быть, снизу за этим полетом и, как ниточкой, ограничивал высоту — теперь, чтобы взмыть, надо было прежде опуститься, низко стелаясь над землей, помучиться своей низостью...

Сестры снова переговаривались по-польски, слышалось "*molł, duł*", и Карел что-то веское вставил... неужели он разбирается во всех этих тональностях и мессах? Илью вдруг стало что-то тревожить, не сильно, но навязчиво, как залеченный ревматизм, — просто неудобно и тягостно: они замкнулись в своем языке, в своей музыке, в каком-то грюнвальде, о чем он не имел понятия, только чувствовал их красоту и свою непричастность.

Вот опять они запели, теперь уже на два голоса: "Juzsie zmierzcha..." (гляди, уже смерклось) — тонкую, печальную элегию, незнакомую, непонятную и от того — особенно притягательную. Язык, музыка, история, вера... — другая культура, другой мир, — грустно размышлял Илья, закрыв ладонью глаза и все чаще упуская музыкальную нить. "А что это?" — спросил он подавленно. "Старина какая-то", — пожал плечами Карел. "Не знаешь ты тоже? — по-русски сказала Барбара. — Это псалом Давида, музыка Вацлава". Давид, какой Давид? Библейский? И кто такой Вацлав, — вяло думал Илья.

Ни на секунду не выпуская Илью из поля зрения, Анжелика видела, как музыка действует на него, и наслаждалась своей властью, но когда он безнадежно помрачнел и закрыл ладонью лицо, она, переговорив о чем-то с сестрой, запела весело и несколько быстро: "В низенькой светелке огонек горит..." Он встрепенулся, оживился — в их интерпретации песня была светлей, в ней не чувствовалась лучина и бесконечный зимний вечер, и все-таки стало вдруг тепло, приятно и захотелось петь, но он боялся вторгаться. "Однозвучно гремит колокольчик" они пели уже вдвоем — тут он взял дело в свои руки, чтобы не дать им расцветить серую русскую тоску. Они легко покорились и окутывали своими голосами его довольно приятный баритон. "Я ехала домой" получилось еще лучше — мягко, дивно. Илья был счастлив, ничего кроме милых, симпатичных лиц не видел, а иногда и вовсе закрывал глаза от избытка чувств и благоговейного страха: только бы не порвать, только бы расстелить тончайшую музыкальную ткань. Увы, некоторым, как заметила Анжелика, было скучновато, и она передала гитару сестре. Та взглянула на них лукаво и вдруг запела высоко и призывно: "There is a house in New Orleans...", оборвала, сделала томительную паузу, и что-то надломилось в Илье... Он низко басил, приземлял мелодию, они возносили ее к небу, закручивая, модулируя, сплетая и расплетая голоса. Джеймс выстукивал синкопический ритм, блаженно улыбаясь, и буквально танцевал, не сходя с места.

Первым не выдержал Карел: он вскочил и, не дав Юдит обуться, потащил ее танцевать. Потом Джеймс поставил пластинку и пригласил Барбару. Толпились, двигали столы, стулья, а Илья с Анжеликой в сторонке от поднявшейся кутерьмы все еще сидели, окутанные паутиной мелодии и счастья. Они боялись пошевелиться, боялись слов, но и молчание... Бог знает, что оно может наговорить, и Анжелика сказала, почти выдохнула:

— Matka Boska, как хорошо вы поете!

— У меня был удивительный подъем, — также тихонько ответил Илья, — но вы, вы выше всяких похвал!

— Да, сегодня хорошо пели, — сказала она машинально, ибо почему-то вспомнила отца. Может быть, оттого, что он всегда был их главным ценителем и критиком?

Ему бы понравилось, они пели с вдохновением. Илья хорошо вписался; как бы он воспринял его — москаля и безбожника? Все-таки, очень приятное лицо, несмотря на тяжелый подбородок и заметные скулы — монгольская кровь, сказал бы Станислав Стешинский; оба музыкальны, но этот не умеет скрывать. Если внешне, очень поверхностно — то почти похожи, но глубже... страшно подумать, как они столкнулись бы... отец так нетерпим и резок! Нет, нет, он такой предвзятый, нечего даже думать...

Анжелика обрадовалась, когда Джеймс пригласил ее на танец и, будто отбросив прочь наваждение, плясала с необычным для себя темпераментом. Смеясь, дурашливо раскачиваясь, она вдохновляла Джеймса, и он с непостижимой для такого большого тела гибкостью метался черной пантерой, каким-то запутанным звериным путем.

Нет, ему никогда не танцевать так рок-н-ролл, думал Илья и тут же — с капризной досадой: как она может так отплясывать после всего, что случилось! Забиться в тихий угол, а еще лучше — петь, петь без конца... вдвоем, смакуя все тонкости вариаций...

Он смотрел в окно на тысячи слепых квадратных глаз и, быстро скатываясь в хандру, думал: "Ни дня покоя, ни минуты тишины! Муравейник, инкубатор... — обрывки мыслей, обрывки чувств..." После каждой смены мелодии он оглядывался: она танцевала с Карелом, потом с филологом Олегом и опять с Джеймсом. Домой, домой, усестись в кресло, поставить что-нибудь грустное, тихое... "Грегорианскую мессу", например, — подсказал ехидный голос. Я...

Он вздрогнул от прикосновения: это была она с улыбкой, предвещавшей колкость: "Ведь вы не собираетесь туда прыгать? Погодите, мы еще ни разу не танцевали, — сказала она и с завидной легкостью перешла на серьезно-участливый тон. — Почему вы загрустили?"

— Я? Почему, нет, — соврал, смешался и мгновенно покраснел он, затем попытался обрести равновесие. — Что вам за интерес танцевать со мной после Джеймса? Или не жаль своих ног?

— Правда так думаете о себе? — обернулась она удивленно, увлекая его в "гостиную". — Немножко скованный, это правда, слишком контролируете голову. Обязательно попробуйте рок-н-ролл, у вас получится.

И положила руку на его плечо — высоко, у самой шеи. Было в этом жесте особенное доверие: она приближалась к нему, раскрывалась, всецело полагаясь на сдержанность его правой руки, которой он обнимал ее за талию. Податливая, чуткая... ничего не стоило стиснуть, прижать ее неумолимой, требовательной хваткой и на мгновение захлебнуться в преступном блаженстве... Нет, он должен балансировать, скользить по краю сумасшествия и даже — о, Боже! — отвечать, болтать о чем-то...

— Ну, если я не буду контролировать себя... Что? Какой праздник?

— В Польше часть населения уже празднует этот день, но скоро, я думаю, он превратится в общенациональный праздник, — когда все узнают, что 22-го октября родились Барбара и Анжелика Стешиньские.

— О, конечно, в Союзе тоже... Но где будет торжественное заседание и какая форма одежды?

— Всякие заседания будут здесь, форма одежды — верхняя. Приходите, вас посадим в президиум, как марксистского философа.

— Хм... спасибо, придется чистить ордена и медали. А много будет народу?

— Не очень, может быть — сорок.

— О, ужас! Правда? — сорвался он с шутивого тона и тут же спохватился. — А сколько ваших поклонников?

— Точно не знаю: пять — шесть, один не уверена...

— Тогда считайте — пять, — что он делает! Куда его несет! — чтобы не разочароваться.

— Почему?

— Знаете, если шестой не придет, или не окажется поклонником, все пятеро вас не утешат.

Игра была увлекательной и опасной: в ней было что-то от шахмат и фехтования, которыми он занимался в школе. Теперь жди ответной атаки, — приготовился он.

— Это правда, — улыбнулась Анжелика, — поэтому очень рассчитываю, что вы придете.

— Обязательно... только...

”Не отношусь к вашим поклонникам”? — грубо, прямолинейно да и неправда, в конце концов...

— ...только я не привык быть шестым.

Какой светский лев! — злился Илья на себя.

— Тогда приходите пораньше, — снаивничала Анжелика.

Она шутила шутя, она щадила его самолюбие, наблюдая за тем, как все оттенки мысли отпечатываются на лице, каких усилий стоит ему игра.

— Хм, как просто стать первым, — сказал он.

Сказать ему, что первый — тот, кто уходит последним? Нет, на него нельзя было обижаться.

— Не сердитесь и приходите — неважно когда.

Он замешкался, сбитый ее непоследовательностью и почти сердито ответил:

— Спасибо, я приду, но... в дуэлях я не участвую.

Отличный выпад! Пусть знает, что он не собирается расшибаться в лепешку!

— Вы опасаетесь поражения? — спросила Анжелика так мягко, что более самонадеянное ухо могло бы услышать: ”вам нечего опасаться”.

— Нет, я боюсь победы, — ответил Илья, краснея. Он был доволен,

стыдился и ненавидел себя — все вместе. К счастью, мелодия кончилась, и он натурально сбежал, сославшись на доклад, предстоящий в ближайшем будущем.

И снова его слова обернулись против него. В сущности, это была правда, но ведь уходил он не из-за доклада. Теперь она подумает, что он корчит из себя очень делового человека, как раньше играл — светского. Фальшь, фальшь, двусмысленности... к черту, прочь! Вообразит, будто он набивает себе цену — "петушится" перед самочкой! Поэтому его и задержать не пытались...

Задержать? По правде говоря, ей не пришло это в голову по причине дурного западного воспитания, не признающего русского ритуала уговариваний. Его поспешный уход несколько озадачил ее. Перебирая свои слова, она не находила в них ничего обидного: она могла бы бросаться камушками и покрупнее, но он такой самолюбивый и патологически честный, что даже шутит серьезно. Он слишком сдерживает, чересчур контролирует себя... зачем? "Ну, если я не буду контролировать себя..." — интересно, что тогда будет? Умница, музыкальный, но зачем он так сдерживает себя, чего он боится?



Глупости, ничего он не боится, размышлял Илья несколько дней спустя. Не надо только распускаться. Да, они музыкальны, умны, очаровательны, пользуются всеобщим вниманием, но у них свой мир, своя жизнь. Он будет изредка приходить, будет корректен и сдержан — по-приятельски, не докучая своим присутствием. Пусть ее поклонники лезут вон из кожи, его это нисколько не касается...

Начертав себе такую стратегию, Илья обрел необходимое равновесие и усердно принялся за работу. А она снова пошла успешно. Приятно сознавать, что одним выстрелом убиваешь целую кучу зайцев. Во-первых, восемьдесят рублей — неплохая добавка к стипендии, во-вторых, доклад, в-третьих, еще одна публикация, *at last but not least* — его собственная концепция все яснее вырисовывается в тумане идей и догадок. Если же она разовьется в систему, если удастся убедить в ее разумности физиков, то может родиться новый подход в единой квантовой теории поля... О чем еще может мечтать философ?

Было, однако, еще обстоятельство, питавшее его усердие и успехи. Приближалось 22-е октября... нет, он не думал о "трудовом подарке к светлому празднику", но приятное возбуждение расцветивало розовым цветом его ежедневное затворничество. С другой стороны, достижение осязаемого успеха каким-то таинственным образом связывалось с его стратегией на предстоящей вечеринке — как будто недостаток уверенности в одном можно компенсировать избытком уверенности в другом. Впрочем, как знать, может быть, прыгун в высоту, только что поставивший рекорд, чувствует себя в этот момент увереннее и как шахматист тоже? Ведь чувствует же математик, решивший наконец заскорузлую задачу, способность побить рекорд по прыжкам в... по каким угодно прыжкам.

Надо думать, даже самый невежественный по части философии физики мой читатель почувствовал непомерность амбиций Снегина. Да, он не отдавал себе отчета в том, за сколь грандиозную проблему взялся. Не обладая он своей наивностью, той наивностью, что подарила миру не одну теорию, не одно произведение искусства, ограничь он себя благоразумно более скромной задачей, скажем, — критикой Слитой (как поступили бы вы, мой читатель, *n'est pas?*) ... но, что об этом говорить — он не был бы Снегиным. Илья поступал как раз наоборот: начав со сравнительно узкой задачи, он не смог остановиться на ней и не взять быка за рога. Ему некогда было задумываться над тем, сколь дерзок его шаг, задумываться над возможными последствиями для него лично... Он просто спешил вытащить на свет и заключить в ясную форму мысли, которые давно уже жили собственной жизнью внутри него.

В первую очередь, полагал он, надо максимально оголить проблему, то есть — сделать ее очевидной. Каждая проблема включает в себе противоречия; их надо заострить, столкнуть в одной точке, тогда решение придет само собой. Для этого надо было систематизировать, просеять, так сказать, огромный материал, чтобы по возможности свести кучу проблем к нескольким основным, а затем только испытать на них собственную концепцию...

Увы, работа не всегда шла гладко: случались сбои, а иногда и настоящие умственные заторы. Начиналось почти всегда с пустяка, незаметно: что-то где-то не так развернулось, а сзади свистят, напирают, и вот уже хаос, паника, распад и отчаяние — ему не вырваться из трясины неумовимых ошибок, из порочного круга собственных заблуждений, он мыслит избито и вяло, он не способен на озарение, на дерзкую мысль... Зачем он вообще бросил физику с ее твердой почвой вычислений и экспериментов! Там, если уперся, всегда можно найти обход, не спеша подкопаться, а тут — в тумане определений, посылок и толкований...

Жестоко и до крайней степени подло вело себя в таких ситуациях Я. Оно являлось в самый тяжелый момент и наносило самые тяжелые удары с явной целью прикончить его: "Бездарь, умственный лодырь, что значит твое "подкопаться"? Ты согласен на механическую работу лишь бы не совершать умственного усилия. Ты просто тупица, ремесленник..."

Илья бежал от него в кино, на концерты или в спортзал. Заметим, что волейбольная площадка была самым эффективным средством...

На сей раз такое случилось за несколько дней до дня рождения Стешинских. Промаявшись один день и чувствуя, что второй грозит стать повторением первого, он решил все бросить и тут же вспомнил, что у него до сих пор нет подарков. Ему захотелось подарить им что-то значительное, со смыслом — с тайным смыслом, с глубоким смыслом... Илья приготовил внеурочную чашку кофе, развернул кресло боком к столу — в знак того, что он отворачивается от "этой бесплодной софистики" — и принялся осмысливать проблему подарков.

Вначале он с презрением отбросил все забавные безделушки, типа болванчика, выпускающего струи ядовитого дыма, затем — плюшевых мишек и плачущих кукол с автоматическими глазами, решительно отодвинул в сторону духи, брошки и вообще все предметы женского туалета, повертел перед мысленным взором китайскую авторучку и положил ее в общую кучу... нет, подлинно глубокий смысл могло скрывать в себе только произведение искусства. Оно должно быть красивым — это ясно, но что за смысл?.. Что он, собственно, хотел бы сказать им, нет — ей? Что они умины, очаровательны? Что они ни на что не претендуют и ни в коем случае не станут навязываться со своей дружбой? Держаться по-приятельски сдержанно... Пусть знают,

что не все русские дикари и азиаты... В конце концов, замыкаться в собственной культуре, какой бы первоклассной она не была, значит ограничивать себя... Но разве они замыкаются? Нет, дело не в этом. А в чем же? Все дело в их предвзятости...

Почувствовав, что мысль его упорно сносит к опасному, негостеприимному берегу, Илья решил радикально поменять тактику: двигаться не от идеи к вещи, а наоборот — пойти в магазины, художественные салоны и...

Я думаю, дорогой читатель, что вас ничуть не удивит и не обидит отношение Снегина к магазинам — советским, разумеется, ибо других он не знал. А оно... Нет, не могу — что-то претит мне, кажется, будто пишу на него донос, ибо нет лучшего способа выяснить лояльность гражданина, как узнать его отношение к магазинам и к системе снабжения вообще. Впрочем, глупости все — при чем тут донос (нелепое, устаревшее, как широкие брюки и кепки, слово), скажем лучше "нелицеприятная, дружеская критика". Итак, Снегин не испытывал к магазинам той особенной, немного странной любви, свойственной большинству советских людей, той нежной с горьковатым привкусом привязанности пса к хозяину-самодуру, от которого никогда не знаешь, чего ждать — то ли ласки, то ли побоев. До середины октября 1967 года Илья относился к ним с холодной настороженностью, а покупки делал по принципу: "пришел, увидел, купил". Он не знал охотничьего азарта, его не возбуждал вид очереди в двести человек, он не испытывал щемящего чувства собственного превосходства, вырвавшись из толпы страждущих с покупкой в руках... одним словом, ему был недоступен весь комплекс тончайших наслаждений, сопровождающий акт покупки в нашем магазине и более того — он определенно страдал некоторой социальной недостаточностью, ибо не замечал или воспринимал как должное тысячи мелких снисхождений, которые ему, не известно почему, оказывали продавщицы. Была в его манере говорить: "Добрый день! Девушка, вы знаете, мне нужны носки, такие-то и такие-то..." очаровательная нездешность, чувствовалось, что он стоит "над схваткой", страстной, никогда не прекращающейся схваткой продавца с покупателем. С рассеянной вежливостью он брал из рук продавца аккуратно, дважды завернутую селедку и говорил, получив из-под прилавка пакет с тремя банками растворимого кофе: "Спасибо, я не пью растворимый кофе, я просил вас триста грамм натурального, в зернах."

Несмотря на эти снисхождения и поблажки торговой сети, повторяю, на двадцатое октября 1967 года Илья не испытывал к ней особо теплых чувств. С этого числа, после двух дней бесплодного хождения по магазинам, он возненавидел их на весь остаток своей жизни, и, надо прямо сказать, — без особых на то оснований, ибо один подарок он все-таки купил (комплект пластинок "Русская хоровая музыка XVI-

XVIII веков”), а что касается ”хама”, которым его наградила одна продащица, и риторического вопроса: ”Гражданин вы что, лучше других?”, заданного другой, то кто же всерьез воспринимает такие вещи! Но не таков был Илья Снегин. Вернувшись в свою похорошевшую келью в состоянии мизантропии и сильной головной боли, он принялся размышлять о причинах порочности советской системы обслуживания. Почему на покупателя смотрят как на оккупанта? Почему за собственные деньги вещь нельзя просто купить, а надо ”доставать”, добывать, вырывать у кого-то? Нет, не оккупант — проситель, жалкий, нищий и надоедливый проситель, зануда, не желающий брать все подряд, сам не знающий, что он хочет...

Он был на пути к истине, он быстро приближался к ней, когда пришел к заключению, что непосредственной причиной является дефицит и низкое качество товаров, которые в свою очередь объясняются, по-видимому, низкой производительностью и неоперативностью экономики... Он, без сомнения, уже тогда пришел бы к первопричине, если бы не безотлагательная проблема подарка, которая из весьма приятной два дня назад успела стать безнадежно тягостной. Помочь ему мог только Андрей Покровский, но с ним было трудно связаться, так как жил он на другом конце Москвы и телефона не имел. Пришлось звонить его товарищу, жившему по соседству, и просить зайти к Андрею — Илья терпеть не мог являться ”татаринном”. Через час Покровский позвонил ему, выругал за церемонии и сказал, что ждет.

С Андреем Илья познакомился курсе на третьем, когда в холле северной аудитории физфака была устроена его полуофициальная выставка (в разгаре была знаменитая оттепель, за которой не последовало весны). Теперь там оборудованы канцелярии, а в начале шестидесятых — всегда была какая-нибудь выставка, фотомонтаж или газета с нейтронным юмором. По окончании, как водится, в том же холле художник отвечал на вопросы любознательных физиков, желавших знать, что означают бледные, похожие на поганки, люди с проросшими в земле ногами, или — младенец, орущий на куче мусора, или — пирамида из полусгнивших трупов, по которой карабкается молодой и энергичный, и т. д. Художник, молодой человек лет двадцати пяти, посмеивался и, уклоняясь от спора, спрашивал их, как они сами трактуют ту или иную картину. Они отвечали, перебивая друг друга, спорили и вскоре сам художник оказался в стороне от дискуссии, что его, по-видимому, в наибольшей степени устраивало. Особенно выделялся высокий, белобрысый юноша, которого Покровский окрестил про себя ”комсомольским вождем”. Сей спортивного вида оратор упрекал его в социальном пессимизме, в том, что он не верит в прогресс (он произносил это слово явно с большой буквы). Но удивило Андрея, что ”вождь” хвалил две-три работы, которые ему самому казались лучшими среди представленных. После дискуссии юноша подошел к нему и стал

напрашиваться в гости посмотреть другие картины. Поскольку Андрей не сомневался в присутствии на обсуждении, по крайней мере, представителя комсомольского бюро, он тут же решил, что это именно он. Однако, во взгляде и улыбке "технаря" не просвечивалось даже намек на какую-либо тайную цель. И Андрей пригласил, за что получил от друга детства Игоря следующий выговор: "Где ты откопал этого марксиста-ленинца? Вечно у тебя сомнительные знакомства. К тебе опасно ходить стало". Андрей, посмеиваясь, отвечал, что Илья помогает ему держаться на необходимой дистанции от соцреализма.

Игорь потерял к Илье всякий интерес и почти не встречался с ним больше с той самой минуты, как выяснил для себя вопиющее политическое невежество физика. Между тем, Андрей продолжал изредка встречаться с Ильей, и более того — их отношения незаметно перешагнули грань чисто приятельских. Из чего зародилась эта дружба, трудно сказать. Во всяком случае — не из общности взглядов и натур. Если их что-то и объединяло, так только ощущение собственного несовершенства. Они расходились буквально во всем, но эти расхождения не только не отталкивали, но даже, кажется, притягивали их друг к другу, как будто каждый из них искал в другом дополнения себе.

Они договорились, что Илья придет завтра вечером, так как днем у него встреча с шефом, к которой надо еще подготовиться.



Научный руководитель Ильи, по-аспирантски — шеф, Артемий Александрович Галин, был профессором кафедры философии естественных факультетов МГУ. Крестьянский сын, он родился уже при советской власти и служил ей, как мог, всю свою жизнь. Семья была огромной, работать начинали с самого раннего детства, ходили в лаптях еще в пятидесятые годы, а голодали и в голодные и в неголодные. Пахать бы землю и Артемию, да умер — сгорел в пьянках — отец, и распалась, разбрелась семья: кто в детский дом, кто умер. Он же пятнадцатилетним подростком пошел в областной город на завод. Там завертело его: работа, учеба, комсомол, субботники, ОСОАВИАХИМ... — жизнь голодная и надрывная, а все-таки жизнь. Он уцепился за нее мужицкой хваткой. Закончил десятилетку, был избран секретарем комсомольской организации цеха, научился говорить хлесткими фразами, научился организовывать, и путь по комсомольской линии открылся перед ним широко и призывно, да началась война. Явился добровольцем в первый же день, политруком прошел войну и вернулся капитаном. Направляли его в академию, да уж больно опротивела ему шинель с сапогами. Была у него сокровенная мечта, и неожиданно для боевых друзей поступил он на философский факультет университета. Учился он изо всех сил, не оставляя и партийной работы, и в середине пятидесятых годов защитил кандидатскую диссертацию. На новой волне диалектического материализма он быстро вознесся в ранг доктора и профессора, но дальнейшее продвижение замедлилось: прошло время лихих кавалерийских рейдов по тылам "буржуазных" наук, прошло время и их реабилитаций. Настала пора подкопов и дальних обстрелов (по всем правилам долговременной осады), и пришлось многим метрам диамата, знакомым с Кантом и Гегелем, в основном, по ремаркам Ленина, хорошо усвоившим их "ошибки", заново штудировать классиков. Приподнялся "железный занавес", пошли контакты, поездки, неизвестно откуда появился и стал играть ощутимую роль новый фактор — "авторитет за границей". Роль партийных добродетелей чуточку ослабла, возникли течения и "школы".

Галин читал лекции и вел семинары по философским проблемам физики в группе физиков-теоретиков — где еще, как не среди них, было искать кадры для собственной "школы". Тут он встретил Снегина, которого частенько видел на философском кружке. Этот кружок возник на физфаке в 1962 году, когда группа молодых философов из разных институтов Москвы пришла к физикам, чтобы в свободных дискуссиях поднять их философский уровень, привлечь внимание к назревшим проблемам и, чем черт не шутит, чему-нибудь научиться у

них — на чем-то же зижделось их кастовое высокомерие. Молодые римляне учили сплеча рубить философские узлы, а мудрые греки покачивали головами, разжигали дискуссии и пытались уловить в самоуверенных голосах нотки мировоззрения будущего. Им надоело это довольно быстро — кружок просуществовал около года, однако в летопись филфака он вошел как значительное событие. Дискуссии, в какой бы отвлеченной форме они не проходили, неизменно подрывали монополию любого мировоззрения на единственно верное суждение.

Кружок развил у Ильи вкус к философии и породил твердое убеждение, что в теоретической физике ничего нельзя сделать без основательной философской подготовки: его поразила высказанная одним философом мысль, что советские физики потому и не сделали ни одного фундаментального открытия, что закоснели в своем мировоззрении. После безвременной кончины кружка он стал посещать университетский научный семинар, почитать философский журнал и штудировать классиков. Таким образом, на пятом курсе, то есть к моменту встречи с Галиным, он мог уже изъясняться на философском языке и понимать трагическую сущность утверждений физики о том, что одно и то же тело может одновременно находиться в разных точках пространства, что одновременности вообще не существует, что в природе совершаются мгновенные скачки из одного состояния в другое, что существуют неделимые порции энергии и т. д. Он единственный на пятом курсе не содрал курсовую работу (благо заниматься этим можно было совершенно безнаказанно) и даже высказал пару оригинальных и безусловно крамольных мыслей. Несмотря на крамолу, Галин счел необходимым поощрить Снегина и вытащил его на университетский семинар. Илья выступил; дискуссия вышла на редкость оживленной — высказались все, даже старик с прозрачным взглядом и вечно плачущим носом. Голоса его никто никогда не слышал, говорили только, что он озабочен возможностью аннигиляции мира и антимира. Илья смущался, путался в терминологии, вообще выглядел неуверенным, но тем смелее и увереннее чувствовала себя аудитория. Участники семинара разошлись в приподнятом настроении, чего нельзя было сказать о Снегине — он был подавлен собственным невежеством и нахальством. Тем приятней и неожиданней оказалось предложение Галина, сделанное ему вскоре после выступления, писать у него дипломную работу, а возможно, и — диссертацию.

Илья пришел после обеда, когда на кафедре можно было спокойно поговорить. Артемий Александрович поднялся навстречу и подал внушительную для своей невысокой, но коренастой фигуры руку. Кивнув на стул, он без единого вступительного слова (и тут в нем сказывался политрук) перешел к делу:

— Ну, как ваши отношения с господином Слитой?

Илью всегда обескураживал такой подход шефа — ему казалось,

что от него ждут какой-то цифры или короткого "так точно!". Поэтому на сей раз он заблаговременно подготовился.

— Ничего, мирное сосуществование при идеологических разногласиях.

— А, хорошо, — улыбнулся шеф, — только надо, чтобы в результате от идеологии этого господина не осталось камня на камне, — перефразировал он модный анекдот.

Мысленно поморщившись, Илья половинчато улыбнулся. Затем он коротко изложил суть работы англичанина, подчеркнул ее слабые места и показал, в каких пунктах теоретическая физика дает основания для других толкований.

— Слитю считает, — говорил он, — что, поскольку элементарную частицу нельзя изучать, не воздействуя на нее, то мы не можем выяснить свойства невзаимодействующего объекта — в данном случае "частицы самой по себе". Она, таким образом, является "вещью в себе", недоступной для познания, ибо как только мы "беремся за нее", она либо изменяется до неузнаваемости, либо вообще перестает существовать. Следовательно, где-то на уровне элементарных частиц и лежит принципиальный порог познаваемости мира.

— Но, это уже субъективный идеализм, — веско заметил Галин.

— По мнению Слитю, — продолжал Илья, — существует целый "мир в себе" — мир, в который мы не вторглись своим разрушительным познанием.

— Да, субъективный идеализм в современной личине, — удовлетворенно констатировал Галин и перестал слушать своего аспиранта; он немного устал да и не было особого смысла вникать в детали.

Между тем Илья говорил о том, что правильное истолкование кантовской "вещи в себе" ни в какой степени не ограничивает познание реального мира, поскольку он взаимодействует с нами; если мы и ограничены, так только в познании... собственных фантазий. Более того, кантовский взгляд на пространство-время представляется ему наиболее плодотворным при решении основных парадоксов теоретической физики...

Галин встрепенулся, за стеклами в золотой профессорской оправе вспыхнул огонек классового сознания.

— Нам не выбраться из болота всех этих парадоксов, пока мы не сбросим с глаз своих катаракту единого, объективного пространства-времени. Вы знаете, я попытался ввести понятие собственного пространства-времени частицы... такие захватывающие перспективы открываются! Нелокализуемость и принцип дополненности как бы выворачиваются наизнанку — совершенно другой подход, и очень плодотворный, как мне кажется. Вот, например, как снимается парадокс...

— Одну секундочку, Илья, — мягко оборвал его шеф. Ему хватило одной минуты для того, чтобы не только распознать

надвигающуюся опасность, но и представить себе, какой переполох, какую сумятицу они подняли бы среди философов... Конечно, ничего путного все равно бы не вышло, но голову всем можно было бы заморочить не хуже Гатищева. Сенсация, крик... На Западе поддержка, в Академии замешательство — неизвестно, что и делать, как бороться. Чепуха, за три месяца в порошок сотрут, Абрамсону партийное поручение, через два месяца разгромная статья в "Вопросах", а за ней набросятся сворой... Он даже вообразил себя (на одну секундочку) эдаким героем-одиночкой, но тут же отогнал химеру, наваждение. Юношу надо немедленно одернуть, поставить на место, пока не поздно, однако, не убивать, оставить надежду.

— Не хочу сейчас касаться существа ваших заблуждений: время позднее да и вопрос большой, — заговорил он тем убийственным тоном мудрого и доброго учителя, который никогда еще не подводил его, — если хотите, мы встретимся специально в ближайшие же дни, хотя характер они носят, можно смело сказать, классический — во всяком случае, в литературе разобраны довольно подробно. Не думайте, что вы первый — были такие попытки не только за рубежом, но даже у нас, но, надо прямо сказать, заканчивались они неизменным фиаско. Стоит человеку оторваться от основных принципов диалектического материализма, как он начинает беспомощно барахтаться и вскоре тонет.

— Но я могу доказать, — вспыхнул Илья, — что основные принципы диамата противоречат некоторым основополагающим принципам квантовой механики!

— Я знаю, что вы имеете в виду, — сказал, не дрогнув, Артемий Александрович и, сняв очки, потер щепоткой усталые глаза, — но это только кажущиеся противоречия, вытекающие из незавершенности квантовой механики. Вспомните доклад Телецкого...

Тут Галин просчитался, ибо времена, когда Илья едва ли не боготворил вкрадчивого профессора кафедры теоретической физики, всю жизнь штопавшего свое механистическое мировоззрение, давно прошли. Ссылка имела прямо противоположный результат: Илья поморщился и пожал плечами, что не замедлил отметить и исправить Галин:

— ...или работы школы Де Бройля. Вы заметили, как усилилось их влияние? В общем, к этому мы еще обязательно вернемся, а в заключение нашей сегодняшней беседы я хотел бы поговорить о делах более прозаических — о вашей диссертации. Все ли у нас тут благополучно? Ведь осталось чуть более года.

Профессор с удовольствием отметил, что вполне достиг своей цели: пятна смущения вспыхнули на щеках аспиранта.

— Разве есть основания для беспокойства? — спросил Илья, чувствуя за собой неясную вину — была какая-то неприятная работа, которую давно надо было начать, а он все откладывал и откладывал.

— Нет, пока нет. У вас уже есть две публикации, эта может стать

третьей, если все пойдет, как я рассчитываю. Таким образом, материала для защиты у вас будет уже достаточно, и вам останется только написать первую и последнюю главы, в которых вы должны расставить все акценты, подчеркнуть бесперспективность главных идеалистических концепций...

Шеф начал одеваться, продолжая говорить о предстоящем выступлении Ильи, об автореферате, о контактах с оппонирующей организацией и сотне разных формальностей. "Это я возьму на себя, а об этом вам придется похлопотать самому", — говорил он, неспешно надевая пальто с каракулевым воротником и каракулевую же "москвичку" пирожком. На глазах подавленного Ильи защита диссертации разрасталась в грандиозное мероприятие, в которое были втянуты десятки людей, обставленное кучей непостижимых формальностей, полное "общественного звучания"... Оно вползало в его жизнь как бульдозер — в садик разрушенного домика, круша милые, взлелеянные кустики, цветочные клумбы и яблони.

Он проводил шефа до главного входа, где стояла его "Волга", и, несмотря на холод, пошел в обход зоны Г.

Так тяжело, так мерзко было на душе, что не хотелось не только ехать куда-то, а вообще двигаться. Он пришел к себе, бухнулся на диван и лежал без движения час, а, может быть, два, пока не схлынула волна отвратительной опустошенности.

В конце концов Галин не сказал ничего по существу, сплошные намеки и неубедительные ссылки. Он просто трус и консерватор, боится сделать шаг в сторону от догматов. Всю жизнь разрушать чужие конструкции, рыть кому-то волчьи ямы и жевать жвачку противоречий и отрицаний, форм существования и борьбы противоположностей... Нажевать кандидатскую, потом докторскую, учить тому же других... Ужас, ужас! Стоило бросать физику! Как наивен, как глуп он был, вообразил, что все только и ждут, когда Снегин изречет последнюю истину! Но ведь есть же рациональное зерно, значит, надо убедить других, и семинар Астафьева — прекрасная возможность. Если же его поддержат два-три человека, то и Галин прислушается. Ну, а если чушь, "классические заблуждения", "детально разобранные в литературе"? Конечно, будет очень жаль, но, если ему вполне корректно докажут, он... впрочем, нет, не может быть все сплошным заблуждением.

Илья встал и начал собираться к Андрею.



Андрей с матерью жили в небольшом двухэтажном деревянном доме с гулкими допотопными лестницами и скрипучими перилами. Темные, обросшие какими-то пристройками, скамейками и чахлыми садиками, такие домики жались в толпе серых хрущевских и сталинских громадин как старушки в винном отделе гастронома. Тут пахло Москвой Гиляровского и Булгакова, тут рядом с человеком уживалась вся сопутствующая ему фауна: воробьи и ласточки, скворцы и голуби, клопы и тараканы, мыши и сверчки, собаки и кошки... Дома эти подозрительно относились к прогрессу и впускали его нехотя, отчего его удобства странно деформировались и превращались едва ли не в обузу: кладовка не желала становиться туалетом, а чулан — ванной, и каждый стремился сохранить свои функции.

По этой лестнице Илья всегда поднимался медленно и не столько из-за боязни разрушить ее своими прыжками, сколько... нет, он не мог помнить эвакуацию, маленький сибирский городок, печку, дрова и сугробы, но что-то шевелилось в нем и сладко ныло...

Ему открыл бородатый, плотный, чуть выше среднего роста мужчина совершенно свирепого вида. "Мам, поди глянь, кто к нам пожаловал! Давай сюда пальтецо. Ты, как всегда, пунктуален; а ко мне пришел Игорь сказать, что ты звонил; ну, думаю, паршивец, не может без церемоний; сюда, сюда... ну и румянец... ты что — морковный сок пьешь?" — басил он.

— А ты, как всегда, живописен! — отвечал Илья, окидывая друга насмешливо-восхищенным взглядом. На свету в нем не было ничего свирепого: сквозь буйную растительность пробивался добрый улыбчивый взгляд и белая кожа горожанина. Клетчатая рубашка, потертые, в заплатках джинсы, перепачканные краской, тапочки на босу ногу — все, что Илья никогда не позволил бы себе, было не только позволительно Андрею, но гармонировало с покладистым характером, неорганизованностью и склонностью художника к спиртному.

Поздоровавшись с Игорем, Илья обернулся к Андрею: "Что нового? Не женился?"

— Не понял. Что за странный вопрос, старик! Откуда у тебя такие мысли? Тебя случайно не прижали в автобусе к блондинке? Ха-ха...

Вышла мать Андрея — изящная, удивительно молодая женщина. Илья протянул ей букетик и пожал маленькую руку.

— Ой, спасибо; всегда-то вы меня балуете, Ильюша, а вот Андрей...

— Хм, я люблю их, — заторопился на помощь другу Илья, —

потому, наверное, что в моей комнате они — единственное украшение, а у него тут целый музей.

Комната художника в самом деле походила не то на запасник музея, не то — на реквизитную театра: рисунки, акварели, картины, эскизы лежали и висели, громоздились в рамках и подрамниках. На одной стене висела поповская ряса с большим крестом на животе, рядом красовалась композиция из бутылок, сигаретных коробочек, серпантина магнитофонной ленты, наклеек, винных пробок и прочей дребедени. В разных местах по стенам висели большие и малые, темноликие и светлые, в окладах и без — иконы. Тут и там на глаза попадались вещи изысканные, вычурные и просто удивительные: старинный граммофон с вывернутой трубой-цветиком, бронзовые и чугунные подсвечники с оплывшими свечами, статуэтки, вазы, маски... Особенно любил Илья кресло с выдвижным книгодержателем на левом подлокотнике и откидывающейся полочкой — на правом, а также — вазу для фруктов, с длинной, как у мака, ножкой (отчего она вечно путалась под ногами).

Илья уселся в свое кресло и вытащил из сумки пластинки: "Как твоя машина, работает?"

— Ну-ка, ну-ка, что ты там притащил? — спросил Андрей, нависая над Ильей. — Ну, ты моло-то-о-к! Сейчас услышишь, каким стал звук, — засуетился он, — Игорь тут фирменный динамик приделал...

Илью резануло "приделал" — у Андрея была редкостная фонотека почти в тысячу пластинок, но в технике он ровно ничего не смыслил (что было забавно, но несколько не умаляло его в глазах Ильи) — всем заведовал, то есть попросту изготавливал собственными руками, Игорь. В последние годы художник превратился в фанатика джаза, и Илья доставал ему для записи новинки у знакомых иностранцев. Игорь, небольшой неказистый человек в свитере, осторожно выкатил пластинку из конверта и, держа в ладонях так, чтобы не касаться поверхности, поставил ее на массивный диск проигрывателя.

Комната заполнилась поразительными — какими-то сферическими звуками. Илья невольно заслушался — звуки чистые, выразительные: жалобы, бормотанье, приглушенный восторг и раздумье... Он пытался следить за темой, но она выворачивалась и ускользала, он цеплялся опять — она распадалась: монолог саксофона сменял монолог контрабаса, затем взрывался нетерпеливый ударник... Наконец Илья устал и покосился на Андрея. Тот блаженствовал, томился от счастья. Переворачивая пластинку, он воскликнул: "Вот это вещь! Ты чувствуешь фактуру звука? Как звучит! Сдуреть можно!" Пока музыка звучала, он еще как-то сдерживался, но когда пластинка кончилась, заговорил, треща одной рукой бороду, а другой — описывая трехмерные фигуры:

— Гигант, корифей этот Колман! Вы чувствуете, он буквально сливается со своим инструментом в единый звучащий органон? У меня такое ощущение, что звучит не саксофон, а какие-то inferнальные

звуки самого организма усиливаются и выплескиваются наружу...

— Хм, пожалуй, — о р г а н и ч е с к а я, я бы даже сказал ф и з и о л о г и ч е с к а я музыка, — улыбнулся Илья, — все это бульканье, взвизгивание, бормотанье, само по себе интересно, но действительно тут говорит о р г а н и з м, а не душа.

Андрей не слушал его, торопясь сформулировать собственное ощущение:

— Космическая музыка; классика — это земное: леса, горы, ручейки, поп — это ритм, окружающий нас — все эти горизонтальные и вертикальные линии, а джаз, настоящий джаз, это другие миры: элегантные, чистые...

— Не омраченные мыслью, — подсказал Илья. Он встал, заметив новую картину, и пошел к ней, добавив, — скажи, а зачем авангардисты отказываются от четкого связующего ритма? Вещь разваливается на куски как...

— А зачем им внешняя искусственная связь? Звуки связаны своей тональностью, окраской — чистой, внутренней связью, глубинным смыслом.

— Ну, смысла тут как раз и нет, — возразил Илья, не отрываясь от картины. — Более или менее случайный набор символов, образов, лишенный содержания... Голая форма, ф а к т у р а — как ты говоришь.

— Да, набор символов и образов! А тебе нужен набор идей? Да еще обнаженных? Тебе нужна логика, тебе во всем подавай логику! А логики нет в природе, нет в искусстве. Есть поток символов и образов, а логика рождается в твоей яйцеподобной голове, ты набрасываешь ее на природу как удавку и душишь...

— Заврался, братец! — оборвал друга Илья, отходя наконец от картины. — Я не в ы д у м ы в а ю логику, то есть — связь явлений, а и щ у ее, ищу смысл и тогда только радуюсь по-настоящему, когда нахожу их. А не найдя, недоумеваю и... мучаюсь.

— Если вам что-либо нравится, — отозвался из своего угла с радиоаппаратурой Игорь, — разве вы всегда видите в нем смысл, логику? Может быть, еще и целесообразность?

— Целесообразность? — переспросил Илья, потирая щепоткой переносицу. "Какого черта он вы-кает? На пару лет всего старше и знакомы давно... За что он меня так не любит?" — А почему бы и нет? Если глубоко вдуматься, то... во всяком случае, в красивом я всегда чувствую присутствие разума.

— Вы говорите об искусстве? — холодно спросил Игорь, развернувшись к столу спиной и положив на него локти, отчего голова его вызывающе запрокинулась. — А как быть с цветком, или, скажем, птицей?

— Да, старик, о каком разуме ты говоришь? Ведь ты —

прожженный атеист, как сам утверждаешь, то есть, не признаешь иного разума, кроме человеческого.

— Ну, братцы, вы загоняете меня в угол, — попытался рассмеяться Илья, — еще немного и вы заставите меня признать творца... Как просто: все создал Бог — и красивое, и дурное, и хаос, и гармонию, и "всякую тварь Божью". Конечно — "истина проста", только это — обманчивая простота...

— Но разве не ты сам только что признал существование разума в цветке? А горы, озера, какие-нибудь сталактиты... ведь они красивы? Так какой в них разум?

— Наверное думаешь, что в самом деле загнал меня в угол? — спросил Илья и, поискав глазами свое кресло, уселся в него. — В сущности, вопрос сводится к различию красоты в органическом и неорганическом мирах. Я не имею готового ответа, однако, попробую рассуждать вслух. В первом, очевидно, доминирует гармония, целесообразность, закономерность, в другом — бросаются в глаза хаос, игра случайных сил. Такое впечатление, что их создавали р а з н ы е творцы. Я не могу себе представить, чтобы одна и та же рука, бесконечно искусная в одном деле, была столь безнадежно бездарна — в другом. Неужели одна и та же рука встраивала радиолокационную станцию и сложнейший компьютер в ничтожную комаху, а в другом случае она же нагромождала грандиозные, бессмысленные кучи камня, расстилала миллионы квадратных километров песчаных и снежных пустынь? Да что там! — целую планету-пустышку, ненужное, бездарное скопище камней создала? Ни одной правильной линии... хоть бы один куб, или шар! Слепая, грубая, расточительная сила! А рядом — тонкая, изысканная... бесконечная фантазия, изумительная гармония.

Андрей любил Илью в такие мгновенья, когда тот горячился и в полемическом пылу соскакивал с боевого коня своего — логики.

— Уж не отрицаешь ли ты красоту в неживом мире, в первозданном хаосе? — спросил он с подлинным удивлением в голосе.

— Отрицаю! Не может быть красоты...

Илья запнулся — Андрей не мог сдержать улыбки.

— Ни в горах, ни в закатах?! — взвинтил интонацию Игорь.

"Попался? Неужели попался?" — нахмурился Илья и серьезно задумался. — Да, ни в горах, ни в закатах! — наконец твердо произнес он и осторожно пошел дальше. — Они красивы лишь в той мере, в какой мы одухотворяем их — привносим смысл, целесообразность, закономерность. Мы примеряем к ним собственные начала, они падают на хаос и вырывают из его случайных кривых и бликов гармоничные, родственные нашему восприятию.

— А почему, в таком разе, не распространить то же самое на органический мир? Может, мы и в нем видим только собственное отражение? Вы, часом, не соллипсист? — спросил Игорь.

— Я? Пожалуй, только — объективный соллиписист. А вы кто? — парировал Илья.

— А я... э-э-э, субъективный материалист, — осклабился Игорь.

— Ну, Бог с ней, с красотой, — поспешно вмешался хозяин дома. — Меня заинтересовала мысль, Илья, которая просвечивала сквозь твои рассуждения. Не думаешь ли ты, что мертвая материя существовала всегда, а творческий акт состоял в том, что Создатель вдохнул в нее жизнь? Использовал ее для создания некоего подобия себе? Ведь разумное, которое мы видим во всем живом, не могло возникнуть, сколько бы не сталкивались молекулы? Представляю: они сталкиваются, соединяются и рассыпаются бесчисленное количество раз, как вдруг какая-то коалиция не пожелала распасться и наоборот — начала притягивать к себе и пожирать других, организовываться и к чему-то стремиться.... Абсурд? А размножение, воссоздание себе подобных? А старение и смерть! Нет, старик, возникновение жизни я не могу воспринимать иначе, как чудо.

Игорь перешел к Андрею на диванчик, и теперь они сидели равнобедренным треугольником, в вершине которого — Илья в кресле, перед ним на полочке полрюмки коньяка, которую он только двигал и поворачивал двумя пальцами вот уже добрых сорок минут, а в основании — Игорь, подперев голову кулаком и сильно щуря без того маленькие глазки, и — Андрей — самая колоритная фигура. Левой рукой он подтянул джинсовую ногу высоко на бедро левой, а правой тербил и совал в рот кончик роскошной бороды. Иногда он прерывал свое занятие, чтобы помахать, покачать бутылкой и налить в собственную рюмку. Светлые глаза его заволокло знаменитой русской добротой.

— Чудо, чудо и есть! — воскликнул Илья. — Среди бесконечных пространств и каменных пустынь затерялась уникальная лаборатория! В с е сошлось как нельзя удачнее — и температура, и кислород, и магнитное поле, и гравитация, и наклон оси, и вода... На других планетах всегда чего-нибудь то ли не хватает, то ли в избытке, а тут сошлось чудесным образом!

— И кто-то же руководил лабораторией, — сказал Андрей, — или она взбесилась, твоя лаборатория? Сумасшедшая материя! Ха-ха-ха...

— Но и Создатель твой большим умом не отличался. Зачем было создавать сотни миллиардов звезд, чтобы заняться экспериментом на Земле, вмешиваться в недостойные мелочи?..

— Тебе, смертному, не понять Божьего замысла.

— Но ведь Он создал меня по подобию своему, значит, и мыслить я должен, как Он... Или Он намеренно ввел меня в заблуждение?

— Дьявол вводит тебя в заблуждение, а Господь испытывает.

Илья встал, потянулся и со смехом сказал, обращаясь к Игорю:

— Всегда этим кончается, с чего ни начини. Кстати, а с чего мы сегодня начали?

— С музыки, — едко улыбнулся Игорь, — оба такие меломаны...

— Ах, да, — кивнул Илья, подходя к полкам с пластинками. — Дело в том, что у Андрюши патологическая страсть к всевозможному авангарду, ко всему темному и непонятному. Вот, например, тоже его любимец, — Илья показал пластинку Шенберга, — а все потому...

— А почему, между прочим, ты не любишь его? Ведь чего-чего, а разума с логикой у него навалом.

— Вот именно — голый разум и голая логика. Возможно, у него и много всего, но музыки и страсти нет.

— Смотря как понимать музыку...

— Ладно, ладно, хочешь эксперимент? У тебя не так уж много его вещей, должен знать их... Так вот, я буду ставить, а ты говори, что это. Идет?

— Старик, сейчас не то настроение, чтобы слушать Шенберга.

— Ах, не то настроение! А у меня никогда нет настроения слушать его или Веберна и иже с ними. Распад, разложение... деморализует... О, у тебя есть Арита Франклин! Обожаю! Можно, поставлю? — спросил он и, не дожидаясь ответа, поставил на проигрыватель с ловкостью фокусника черное зеркало пластинки.

Андрей улыбнулся:

— И как э т о сочетается в тебе с любовью к Вивальди и Баху — убей меня, не понимаю.

Арита Франклин принялась не спеша накручивать страстную мелодию на нервно пульсирующий ритм.

— А знаешь, между Бахом и этой музыкой нет никакой пропасти. Недаром возникли "Play Bach" и "Swingle Singers". Немного подчеркнуть ритм, и из Баха получается превосходный swing.

— Н-да, однако, если бы сейчас звучал Бах, ты не говорил бы и не делал своих движений пальцами... — заметил Андрей.

— Ужасно нравится, чудесно! — рассеянно говорил Илья, покачивая головой и пристукивая ногой. — У меня определенно есть негритянская кровь. Видишь, видишь, как она повторяет, варьирует тему, — как мы, когда высказываем какую-либо мысль.

В комнату вошла Анна Андреевна, неся на подносе кофейник, сахарницу и чашки. Илья встал.

— Сидите, сидите, ради Бога! Я на секунду, — сказала она, ставя поднос на стол и сдвигая при этом пепельницу — разношенный башмак, зажигалку-пистолет, чей-то острозубый череп, портрет Мандельштама в тоненькой рамке...

— Я вижу, вы в родной стихии, — добавила она, обведя плавным жестом комнату, — да сидите же, я не берусь соперничать с этой мадмуазель...

Илья посмотрел на часы: десятый час, поздновато для кофе, но, вспомнив, что тут, как и во всех московских домах, пьют вместо кофе еще одну разновидность чая, махнул рукой.

За кофе разговор свернул на политику. Начало его Илья упустил, заслушавшись "королевой soul" и засмотревшись альбомом "Африканские маски". Упустил он и короткую пантомиму за своей спиной: Игорь вопросительно поднял брови и посмотрел в его сторону, а Андрей ответил уверенным взмахом руки. Речь шла о каком-то процессе. Слова: "монархисты, православие, организация..." привлекли наконец его внимание. Вначале он пытался делить свое внимание на три равные части, но потом решительно отложил в сторону альбом.

— ...при обыске нашли воз литературы: Хомякова, Леонтьева, Владимира Соловьева, Бердяева, программу, устав и какой-то там пистолет, — говорил Игорь.

— Ну, насчет пистолета... ты знаешь, как это делается. На кой черт им пистолет! — заметил Андрей.

— Не скажи, у них не только кабинет министров был, но даже собственная контрразведка и боевая группа. Причем, возглавлял ее, говорят, какой-то ассириец Садо... Фамилия, да?

— Камо, Лазо, Садо... Раздувают, хотят толпу запугать, нагнавши страху, ну, и расправиться под шумок, — проворчал Андрей.

— Тут, естественно, ручаться нельзя ни за что, но дело надделало слишком много шума — только арестовано человек тридцать, информация лезет из всех дырок... Если бы они действительно занимались философией и только, тогда их просто разогнали бы втихаря, и все дела. Не вижу, какой смысл раздувать...

— А какой смысл создавать заговор врачей, изобретать агентов империалистической разведки? — возразил Андрей.

— Андрей, Игорь! — взмолился Илья. — О чем вы говорите?

— Ты что, не слышал про ленинградское дело? — воскликнул Андрей со смесью изумления и ужаса в голосе. — Твоих собратьев пачками сажают, а ты... Ты что, газет не читаешь? Даже "литературки"?

Газет Илья действительно не читал, но пожалел об этом впервые. Что касается Игоря, он даже не взглянул в сторону Ильи, только передернул плечами и продолжал:

— Любопытная деталь — все, кроме ассирийца, оказались русаками — ни одного еврея. Фамилия руководителя — Огурцов. Говорят, исключительная личность, чуть ли не гипнотическое влияние оказывает.

— Дело начало обрастать легендами, — сказал Андрей, и в черных зарослях его бороды блеснули желтоватые зубы. — Ты что, не знаешь эту породу? Соберутся, потрепятся и разойдутся. Ну, еще статейку в самиздат пустить с обалденными намеками, под псевдонимом...

— А партийный устав, а гимн, а клятва? Нет, вряд ли все так безобидно, как тебе кажется. — Игорь замолк, словно размышляя, достойны ли собеседники столь серьезного откровения, и тихо добавил: — Но если действительно ничего серьезного не было, тем хуже для нас.

— Ты хочешь сказать... — неожиданно глухо и неуверенно начал Андрей.

— Иначе, зачем раздувать? — перебил Игорь. — Оттепель кончилась, давно уже заморозки. А регулярные чистки необходимы, так как растут новые поколения, не запуганные, не парализованные страхом, как отцы. Эти ленинградцы — все нашего возраста; от двадцати пяти до тридцати. Получили приличное образование...

Игорь неожиданно смолк и залпом выпил свой кофе.

— Извините, насколько я понял, — воспользовался паузой Илья, — вы делаете довольно мрачный прогноз, опираясь на изолированный случай. Мне кажется, вы не учитываете очень важные необратимые процессы и кое-какие закономерности...

Игорь удивленно вскинул брови, Андрей заулыбался, задвигался и налил себе еще коньяка. Они с Игорем всегда обсасывали все маломальски заметные политические события и привыкли понимать друг друга с полуслова. Однако сегодня — в присутствии Ильи — их разговор принял необычный характер: они тщательнее формулировали мысли и говорили известные обоим вещи. Илья раздражал и интриговал Игоря своей навязчивой, противоестественной цельностью, своей ненормальной беспорочностью... Этот хороший цвет лица, отлично сидящий костюм, эта одна рюмка коньяка за целый вечер, эта пресловутая "любовь к классической музыке" и тошнотворная воспитанность, его сдержанность и самоуверенность... За всем этим угадывался какой-то жуткий изъян, ущербность, или даже порок, но такой мерзкий, что запойное пьянство, грязное обжорство или сексуальная извращенность показались бы рядом с ним невинными слабостями. Но что бы это могло быть? Карьеризм? Стукачество? Социальная тупость? Его подмывало сдернуть эту маску образцово-показательного героя "Юности", и, весь подобравшись и еще сильнее жмурясь, он спросил:

— Какие процессы и закономерности надо учитывать?

— Ну, насколько я понял, вы проводили аналогию со сталинскими временами? — осторожно начал Илья, и Игорь почти кивнул. — Однако, насколько оправдана такая аналогия? Ведь ситуация в корне отличается от довоенной и послевоенной.

— Любопытно, чем?

— Как это — чем?! — изумился Илья. И психологически, и политически, и экономически. Если хотите, я поясню вкратце. В политическом отношении страна была за железным занавесом, действия правительства не подвергались моральной оценке, единоначалие исключало всякую

критику даже внутри правительства. Психологически репрессии были возможны потому, что война только кончилась и народу не трудно было внушить, что остался недобитый, затаившийся враг, да и к насилию люди относились довольно легко. Наконец, экономика восстановительного периода носит более экстенсивный чем интенсивный характер, и ее проблемы можно было решать насильственной мобилизацией масс. В то время как сейчас происходит НТР, качественная перестройка промышленности, смена технологии, а их насилием не сделаешь; сейчас нет экономической необходимости сажать миллионы людей, чтобы иметь бесплатную рабскую силу.

— Тем не менее миллионов пять-семь все-таки сидит, — жестко заметил Игорь. — Вы преувеличиваете значение НТР; посмотрите, как строят в столице — как и сто, и двести лет назад, характер труда почти не изменился, потребность в миллионах рабов осталась. Но я говорил не об иванах денисовичах... Речь шла о чистках среди интеллигенции. В них тоже вы усматриваете экономическую необходимость?

Илья задумался.

— Трудно сказать, возможно — политическую... консолидировать духовные силы общества перед лицом внешней опасности... Во всяком случае с е й ч а с массовые репрессии против интеллигенции невозможны, — голос Ильи окреп, — экономика невероятно усложнилась, она живет собственной жизнью и диктует свои законы общественным отношениям. Уже нельзя произвольно перебрасывать огромные человеческие и финансовые ресурсы из одной отрасли в другую. Требуется внутренняя перестройка хозяйственных отношений — отсюда и вся эта затея с реформой у нас, в Чехословакии, в Венгрии...

— Экий материалист! — усмехнулся Игорь, поворачиваясь к Андрею. — Предположим, все это так. Но почему, п о ч е м у невозможны репрессии — убей меня, не пойму.

— Очень просто. Реформа предусматривает либерализацию хозяйственных отношений — директорам больше самостоятельности и т. д. А это невозможно без общей либерализации — без нее реформа захлебнется...

— Н-да-а, чудовищно! — заулыбался Игорь, показывая темные, прокуренные зубы. — Вы рассуждаете, как американские советологи, мечтающие о конвергенции, которым очень хочется верить, что Россия — нормальная, или почти нормальная страна. Они не замечают, не хотят замечать наш звериный оскал, чтобы не потерять аппетит и сон. Они применяют к нам общечеловеческие мерки и совершают при этом грубейшую ошибку — к России неприменимы все эти стадии роста! Им этого не понять — они чересчур христиане даже в своем атеизме, но вы-то русский! Как вы можете быть таким наивным и благодушствующим?! Где вы живете, что вы читаете, слушаете, ф и л о с о ф ?!

— Илья — оптимист, — сказал Андрей, подливая всем коньяк. — От него всегда веет оптимизмом и здоровьем.

— Ну, хорошо, — проворчал Илья, бросив на Андрея сердитый взгляд, — свою точку зрения я изложил, а вы можете доказать свое утверждение?

— Видите ли, — холодно ответил Игорь, — чтобы понять вашу концепцию, достаточно знать диамат и политэкономия в университетском объеме, а для того, чтобы почувствовать особенность, исключительность России, надо иметь внутреннее чутье и неизмеримо больше знать.

Илья почувствовал, что во рту у него пересохло, и разом опрокинул свой коньяк — Андрей не верил собственным глазам.

— Я охотно признаю свое невежество, ибо никогда не занимался историей, — покраснел Илья, — но ведь можно... вы не могли бы изложить основные факты? Если бы у нас сейчас проводились массовые репрессии, то в университете было бы, вероятно, известно...

— Ну, если вам не известно, то отчасти этому есть оправдание — вы ведь даже приемника не слушаете? — Игорь встал и откровенно посмотрел на часы. — У меня нет ни времени, ни желания заниматься л и к б е з о м. Я пойду, а то мне завтра на службу, — добавил он, обращаясь к Андрею, и, кивнув не столько Илье, сколько столу, вышел.

Андрей последовал за ним, но вскоре вернулся и мягко сказал:

— Ты не реагируй на него, он хороший мужик. Бывает иногда резок, но... видишь ли, ты ему на больную мозоль наступил — его самого год назад за демонстрацию пятого декабря выгнали с истфака...

— И что он сейчас делает? — побледнел Илья.

— На каком-то заводе работает не то наладчиком, не то настройщиком, в общем, что-то там с приборами делает. Он же спец в этом деле.

”Демонстрация, завод” холодно отозвались в груди — Илья представил себе токарный цех, в котором после восьмого класса проходил двадцатидневную практику: шум, грязь, мат, муки ранних вставаний...

— Он учился в бауманском, но на втором курсе понял, что не туда попал, и бросил, — говорил Андрей, — его загребли в армию, отбухал три года и поступил в МГУ. Так-то.

— А что это за факты, про которые он говорил? Я мог бы с ними познакомиться?

Андрей пожал плечами.

— Ну, это не перечень, разумеется... Он имел в виду, видимо, в основном, советский период. Тут, знаешь ли, забавные казусы случаются. ”Мы больше всех в мире читаем” — и в метро, и в автобусах, а спроси нашего грамотея, когда началась вторая мировая война, скажет — в сорок первом. Но это так — к слову, у меня бывают иногда любопытные материалы, беда только в том, что их надо срочно читать.

— Что же ты раньше мне... меня...

— Извини, старик, но ты сам не очень-то интересовался. Но теперь, если что, я буду звонить.

— Черт возьми, как я тебе обязан! — сказал Илья горячо. — Ведь у меня к тебе было два дела, а теперь еще и третье образовалось. Не знаю, чем я...

— До чего ты щепетилен, старина, — прямо тошнит. И откуда ты такой? Никак не можешь по-русски — без церемоний.

— Ну, хорошо. Видишь ли, я хотел бы пригласить, вернее — привести к тебе несколько своих знакомых, показать твои работы... Да и вообще, можно было бы устроить неплохую вечеринку... Дело в том, что двое из них — особы женского пола и весьма очаровательные, насколько я понимаю...

— А что я говорил про блондинку! У меня нюх, я сразу почуял, — рассмеялся Андрей. — Наш друг-философ думает устроить вечеринку с участием очаровательных особ! В чем же дело? Ты же знаешь, меня хлебом не корми, а компанию подай. Кстати, кто они, если не секрет?

— Поляки. Приехали на год изучать литературу, язык... Если бы ты пригласил Инну, или кого еще из поэтов, актеров... Девушки поют под гитару, да еще как!

— Это не проблема, — сказал Андрей, — поэтов у нас как собак нерезанных, хотя я, конечно, рассчитываю на Инну. А когда ты себе мыслишь мероприятие?

— Хорошо бы дней через двадцать.

— Идет, я позвоню тебе после праздников. Кстати, а что ты делаешь шестого-седьмого? Может, придеешь?

— Спасибо, но я еще не знаю... Боюсь, что я не совсем свободен...

— Ну, старик, ты меня заинтриговал своими полячками, — сказал Андрей, усмехаясь в бороду.

— Собственно, — продолжал неуверенно Илья, — второе дело тоже связано с ними. У них на днях день рождения — они близняшки, — и я бы хотел что-нибудь т а к о е подарить... Один подарок я уже купил — альбом русской музыки, ну, ты наверняка знаешь, а вот второй... Я буквально с ног сбился — такая проблема, оказалось!

— Что-то мне страшно захотелось взглянуть на них, — хитро прищурился Андрей.

— Да, да, конечно, мне тоже. Но что делать? Я за два дня исходил магазинов больше, чем за всю свою жизнь, а результаты... Такая все пошлость.

— Представляю, представляю. Надо подумать, — посерьезнел художник. — А каковы они по складу, особенно эта, которая?.. Что предпочтительнее — модерновое или... Впрочем, молодые девки...

— Видишь ли, — поспешно перебил друга Илья, — они католички, а она так просто ревностная, да и модернизма у них в

Польше хватает... Может быть, что-то из твоих работ?

— А что, меня ты относишь к кватроцентистам? — рассмеялся Андрей.

— Ну, если не к Возрождению, то во всяком случае к классикам, — пошутил Илья, оправляясь, наконец, от смущения, и серьезно добавил: — Твои "Меланхолия" и "Гордыня", да и вся серия настроений — "Грезы", "Воспоминания" — именно то, и с к у с т в о. Впрочем, не берусь судить о живописи, да и личные симпатии... — говорил Илья, подходя к полотнам.

— И все-таки, я уверен, — немедленно нарушил он обещание, — теперь при всех успехах кино, телевидения и цветного фото, вам, художникам, во внешнем мире делать нечего, надо лезть в подсознание... Однако, замолкаю, пристыженный тенью Инны...

— Валий, валий, не стесняйся! И поменьше слушай Инну — она чересчур пристрастна к тебе. Другое дело, художники всегда занимались внутренним миром человека, вопрос скорее всего в том, к а к они это делали и как надо.

— Не надо, не уводи в сторону, Андрюша. Занимались, конечно, но не специально, не прямо, так сказать...

— А как это прямо? В отрыве от окружения, среды, что ли? Опять ты за свое? Вырвать человека из среды, поместить под стеклышко и рассматривать в микроскоп, да еще и раздражать чем-нибудь?

— Черт возьми, опять мы спорим! Странно, мы всегда спорим, а чувствуем почти одинаково. Например, я чувствую, что именно так тоска должна отличаться от меланхолии, как у тебя.

Илья подвинул картины друг к другу и продолжал рассуждать вслух:

— В самом деле — меланхолия яснее, отчетливее тоски, которая словно затуманена. Но у тоски краски гуще, она раздражает, вызывает неприятное ощущение, в то время, как меланхолия может быть приятной... именно — краски гармоничнее...

— Фу, ты, дьявол! — проворчал Андрей. — Мне не по себе от твоих рассуждений. Все это, может быть, и так, но если в такой степени очевидно, если не остается тайны... тогда, значит, мазня. Ну тебя к черту, ты не представляешь, как больно задел меня!

— Что за чепуха! Ведь это я анализирую м о и ощущения, а ты можешь, если уж так боишься, работать слепо, или, как говорят, — по наитию...

— Старик, а почему бы тебе не подарить ей икону, — неожиданно сказал Андрей. — Она религиозна... Смотри, в этом что-то есть.

Андрей достал икону величиной с книгу и протянул Илье.

— Конечно, это не старое письмо, но довольно приличное и в хорошем состоянии. Уральская школа...

Илья посмотрел на икону, и мысль его заработала.

Символ православия! Если она примет ее... это будет значить... Впрочем, ничего определенного — просто доброе предзнаменование. А если отвергнет? Тогда никакой надежды, тогда конец — оставить и все! Она, разумеется, моментально поймет тайный смысл... Боже, не поставит ли он ее в дурацкое положение, когда нельзя ни принять, ни отказаться? Зачем так сложно — она поступит инстинктивно, он посмотрит ее естественную реакцию!

— Хм, ты, кажется, попал в точку! — сказал Илья. — Лучший подарок вряд ли можно было придумать, если, впрочем... Ну, да ладно.



Глава X

На стопке книг, прислонившись к стенке, светилась золотом "Божья мать с младенцем", белые хризантемы с пунцовыми гвоздиками в двух кефирных бутылках источали праздничные флюиды. Провалившись лишних полтора часа в постели без каких-либо угрызений совести, даже не вспомнив о толике ежедневной пользы для Человечества...

Читатель, я обещал быть беспощадным, и я сдержу свое слово: он потратил на сборы добрых шесть часов! Начал с открыток и убил на них два часа! Пустячное дело, на которое, я уверен, вам понадобилось бы ровно две минуты, он растянул на два часа. И не только потому, что какая-то умственная грань его была безнадежно тупа, но и потому еще, что относился ко всему чересчур серьезно (возможно, для некоторых это свидетельствует все о той же тупости, я спорить не стану). Вначале его потянуло на стихи, и он написал две строчки для Барбары, после чего задался вопросом, что он, собственно, хочет каждой из них сказать. Надписи должны были отличаться в той степени, в какой они не похожи, и отражать его отношение к ним. Все это требовало осмысления, на что и ушла большая часть времени, ибо нежная ткань образов рвалась под грубыми пальцами слов.

Затем он гладил костюм через тряпочку, смоченную в мыльной пене, чтобы не лоснились локти и карманы, изгонял морщины на брюках и рукавах, чистил остроносые легкие английские туфли, утюжил полосатый галстук и приталенную цейлонскую рубашку... Когда все аксессуары, изначально свежие, раскинулись на диване как женщина, ожидающая мужчину, он отправился в душевую мыть, скоблить свою оболочку. И наконец: одевание — этот трепетный ритуал созидания, творения совершенства. Нарастающее чувство чистоты и гармонии, упругой, едва сдерживаемой силы, "небрежное" изящество асимметричного узла галстука и белее девственного снега платочка в нагрудном кармашке пиджака, которое обходится в двадцать минут... Впрочем, на платках стоит остановиться особо. У него их было три. Первый, тот что был в кармане брюк, можно назвать "функциональным", назначение его понятно всем. Второй — во внутреннем кармане пиджака — имел смешанное: "функционально-символическое" назначение — касаться высокого чела, — и еще одно, весьма романтического свойства — ждать, когда он понадобится кому-нибудь из дам. Третий — белее девственного снега — о котором мы уже говорили, имел сугубо символическое назначение, никому, впрочем, не известное. Он был тем последним штрихом, завершающим мазком, который отделяет совершенное

творение от несовершенного. Между прочим, именно последний, как самый бесполезный, требовал к себе наибольшего внимания.

Казалось, он хрустел и поскрипывал в своей безукоризненной чистоте, когда, открыв дверь и не узнав комнаты, он хотел отпрянуть и проверить номер, однако во-время разглядел знакомые лица и вошел. Хозяев не было видно, как и в тот раз. Пристроив свои пальто и сумку, Илья присоединился к особняком стоявшей группе, из которой его позвали Карел и Олег. Высокий крутлобый парень с яркокрасным ртом, в замшевой куртке, по-английски рассказывал, чем отличается *good girl* от *pretty girl*, сильно щеголяя американским г. Его слушали со снисходительной рассеянностью, но смеялись дружно и громко, бравирюя принадлежностью к касте "English speaking people". Илья заразился общим настроением и рассказал длинный анекдот про миссионера. Его выслушали, посмеялись и зачислили не без некоторых колебаний в англомамы. Они все принадлежали к "штатникам", англомамам, италомам и просто хиппи. Что касается Ильи... — у него было почти оксфордское произношение с некоторой примесью Вылоса Кановера; внешность его была чересчур чопорной для американца, но и не вполне британской: узел галстука асимметричный и небольшой, пуговицы "на четыре боя", но пиджак не твидовый и кончики воротничка не застегивались, зато туфли — английские и платочек вложен небрежно... впрочем, лучше бы его не было совсем... Итак, не без колебаний его зачислили в англомамы; теперь с ним можно было обмениваться язвительными замечаниями по адресу "прочих", а после первой рюмки перейти на "ты".

Илья оглядел комнату. Она была преобразована до неузнаваемости: кровати разобраны, спинки вынесены, а сетки сложены по две, накрыты матрасами и застелены покрывалами; стол отсутствовал, зато кресел было четыре. И освещалась она по-другому — двумя настольными лампами с книжных полок, так что по углам оставались интимные сумерки. Занавеска, прежде делившая комнату, теперь превратилась в гардину и скрывала, казалось, огромное, во всю стену, окно с видом на горы, море... Илья вполне освоился, однако момент, к которому он столько готовился, все не наступал, и, остановив проходившую Таню, он спросил, где сестры.

— Иди сюда, — потянула она его за собой, — они в соседней комнате. Там у нас стол — мы решили разделить стол и танцы.

— Отлично будет плясать рок, — сказал Илья, с удивлением отмечая, как изменилась и похорошела девушка: в прическе и одежде ее ощущалось прикосновение не лишенной вкуса руки.

Переступив порог соседней комнаты, Илья мгновенно забыл свою роль. Барбара воскликнула: "Ах, какой денди, какой пижон!" и чмокнула его в щеку. Он подхватил ее за талию и покружил. "И меня,

и меня!" — по-детски завизжала, хлопая в ладоши, Лариса. Он покружил и ее. Анжелика стояла чуть-чуть в сторонке от поднявшейся кутерьмы, и улыбка ее говорила: "Конечно, я не стану так изливать свои чувства, но и я рада вас видеть". Ему показалось, что она задержала его руку в своих холодных пальцах, и надежда теплой волной прокатилась по телу.

— Я вам кое-что принес, — сказал он, поспешно наклоняясь к сумке.

— Потом, потом, нас там ждут, — пыталась остановить его Анжелика, но Барбара притворно захныкала:

— Нет, пусть сейчас, мне спешно хочется знать, что там.

— А мне не терпится воспользоваться своим правом, — говорил Илья, извлекая хрусткие кульки с цветами, подарки, передавая их сестрам и целуя каждую в щеку.

Какими разными могут быть два совершенно одинаковых, невинных поцелуя!

Девушки рассматривали подарки и читали открытки, а он рассматривал их. Барбара, в темном платье, с подкрашенным лицом, казалась ему неправдоподобно красивой — как западная открытка модного курорта. Анжелика, в белом платье, с распущенными по плечам волосами и нетронутым косметикой лицом, — непорочной весталкой.

Барбара, выразив преувеличенный восторг, тут же забыла о своем подарке — вниманием всех завладела икона.

— Matka Boska, как красиво! — воскликнула Анжелика, светясь золотистым счастьем. — Настоящая русская икона.

— Она не старая — XIX век, — пояснил Илья, распираемый гордостью, — но хорошей уральской школы, сохранившей византийскую манеру письма.

— Я увезу ее домой и повешу рядом с распятием, — сказала Анжелика, лаская его бархатистой зеленью глаз.

Потом их надолго разделило застолье. Она оказалась довольно далеко, он ловил ее взгляды, и настроение его поминутно менялось: потихоньку катилось вниз, взмывало и снова падало. Разумеется, именинниц упростили пить. Она пригласила его взглядом, но он отказался — чересчур было много народу, чересчур велика дистанция... Пели они хорошо, но без вдохновения "арбузного" вечера. Илья страдал, когда чувствовал себя "одним из", был счастлив, если различал в ее улыбке личное, и не переставал обдумывать свою речь, то есть повторял первую фразу: "Нечестно было бы скрывать от вас..."

Наконец пошли в другую комнату танцевать, но к сестрам было не так просто пробиться. Илья, выдавив из себя улыбку, указал на это обстоятельство Карелу и очень удивился, когда поляк равнодушно пожал плечами. Особенно усердствовал парень в замшевой куртке. Илья

совсем приуныл, и вдруг она сама подошла к нему: "Тебе скучно? Слишком много гостей?" Он мгновенно захмелел и, не ощущая ритма, не слыша мелодии, заговорил:

— Было бы нечестно скрывать от вас... Дело в том, что я вложил в подарок тайный смысл... и, когда вы сказали, что повесите ее рядом...

— А-а-а, понимаю, — бомба с часовым механизмом, — рассмеялась она.

— Я надеюсь, — мягко и серьезно возразил он, — что она не разрушительная, а созидательная.

— Разве бывают созидательные бомбы? Но пусть бывают, але я все-таки боюсь.

Его серьезная настойчивость нагнала легкие облачка на голубое небо ее взгляда, улыбка почти исчезла, осталась слабая тень, омраченная тревогой.

— Нельзя ли извлечь тайный механизм? Он лишит меня покоя.

Он не понимал, что она обо всем уже догадалась, и твердо решил довести свою мысль до конца. Но мысль была такой мучительно сложной, что никак не укладывалась в ясную форму.

— Видите ли, Анжелика, я не религиозен, совсем, даже, пожалуй... воинствующий атеист. Не в том смысле воинствующий, что нетерпим, но я не могу верить, потому что верю в разум... Правда, это не есть вера в теологическом смысле, хотя, конечно, в своем роде... Впрочем, вы представляете мои взгляды... Я хотел только добавить, что не верю в Творца, в нематериальную субстанцию... Хотя, должен признать, очень трудно обосновать всеобщность нравственных принципов, не ссылаясь на их надчеловеческое происхождение... п о к а , я уверен...

Вначале улыбка ее растаяла, превратилась в слабый отблеск и ускользнула куда-то, потом мелькнула тень, легкая, как на лугу от облака, и с нею в лице появились линии, очерченные резче, решительнее. Одно мгновение в нем было все: мягкое и гордое, доброе и упрямое, нежное и жесткое, но уже в следующее — твердые черточки проступили и возобладали. Он заметил и в панике обрел ясную решимость:

— Однако, я могу понять желание иметь над собой могущественную и добрую силу, значит, и во мне о н о есть. И вот эта слабая частица моей души хотела бы какого-то таинства, которое связало бы нас... свыше... то есть более прочно... Поэтому, икона эта — не просто произведение искусства... Вы принимаете ее с таким смыслом?

Длинную речь свою Илья начал во время танца, а закончил в одном из сумеречных углов. Анжелика сидела на диванчике, открыто и просто положив руки на колени, а он, придвинув кресло и стараясь не мешать танцующим, оказался совсем рядом. Она подавила как зевок насмешливую мысль: "Объяснение философа" и серьезно покачала головой: "Нет, так не могу ее взять". Он лихорадочно заговорил:

— Но почему?! Разве есть какое-нибудь непреодолимое препятствие? Впрочем, — он замолк и невнятно пробормотал, — на такие вопросы не отвечают...

— Правда, трудно отвечать, але все-таки попробую, — сказала она, и он внутренне сжался, как щенок под замахнувшей рукой.

— Мы никогда никому не говорим этого, но тебе я доверяю. Тебе это странно покажется, но я католичка и сестра тоже (почему? он давно освоился и даже находил в этом что-то привлекательное), и для меня принципы моей веры важнее всего на свете. В нашей семье все верят, и папа, наверное, сильнее всех; хотя он коммунист и вообще ученый, большой человек, але часто ходит с нами в костел... Вы здесь не понимаете хорошо, какое притяжение имеет для нас церковь, особенно для сопротивления национального духа...

Интонация и взгляд ее умоляли его не сердиться, войти в ее положение; ему же, напротив, становилось легче с каждой секундой, ибо все, что она говорила, означало только одно: он не противен ей!

— Потом, папа... он для нас второй бог на земле, а он... — она сбилась и вдруг положила руку на его запястье, словно предотвращая взрыв возмущения, — а он воевал против вас, и тоже — дед, его отец.

Он накрыл ладонью и сжал ее кисть.

— Это было давно, все так изменилось... — сказал он мягко, почти с укором.

— Так, але мы потеряли поместье, дом, все...

— Мир изменился, сейчас не это главное...

— Он так ревновал, когда мы ехали сюда, и грозился убить, если что-то нечисто... Он ненавидит Россию, говорит, самая большая опасность, хуже Германии, потому что славяне и легче ассимилировать; але тоже невозможно! — в глазах ее вспыхнул вызов, — мы всегда боролись против деспотизма!!

— Но ты, Анжелика? Ведь ты ехала сюда изучать язык, литературу... Неужели ты тоже ненавидишь нас?

— Нет, нельзя сказать... Спокойнее смотрю, чем отец. Але многое плохо влияет на меня: почему так плохо идет почта? Почти месяц не получали. Почему люди очень грубые? И другое, многое... не могу все рассказать, что уже заметила. Могу только ясно сказать, что никогда не смогла бы жить здесь, в России.

Что-то мелькнуло, свистнуло и отсекло ему руку. Он еще не чувствовал боли и тупо смотрел, как на гладком срезе проступает кровь.

— Вы видите, — слабо улыбнулась она, — я не могу принять вашу веру, и хорошо, если вы не искушаете меня...

А боли все еще не было. Мозг механически отмечал и даже восхищался легкими неправильностями ее речи; отметил и то, что она снова сбилась на "вы". Или нарочно перешла? Ну, конечно, — прохладные

дружеские отношения. "Никогда не смогла бы!" Зачем так жестоко, резко?! Тут только он ощутил боль; ему по-детски, до всхлипываний вдруг стало жаль себя. Это заставило его открыть рот.

— Да, я понимаю... — с трудом выдавил он из себя, с ужасом ощущая, что сказать ему нечего, что он безнадежно пуст и туп, — но не можете ли вы принять ее в качестве талисмана? Она должна принести вам счастье... потому... потому, что я очень этого хочу.

Скажет сейчас: "Не надо, Илья, лучше не надо", да еще жалостно, и...

— О, конечно, как талисман и прекрасное произведение искусства! — с подозрительной готовностью откликнулась она. — Большое спасибо!

Уж не собирается ли она жалеть его? Илья нахмурился и суше продолжил:

— Я забыл сказать, это был маленький сюрприз: мне удалось достать билеты на концерт, хороший, по-моему: Скарлатти, Корелли, Тартини, Вивальди в исполнении оркестра Баршайа... Я надеюсь, это не помешает нам сходить? Жаль только, что два билета...

Он исполнял пустую формальность, ибо приговор был уже известен. Оставалось немного — с достоинством встретить неизбежное. Он был готов к нему и все-таки с ужасом ждал вежливое: "Я вам очень благодарна, но..."

Что касается Анжелики, она чувствовала большое облегчение, почти гордость, свершив самое трудное, самое болезненное. Предстоял последний шаг, последний жест, но разве он так уж нужен? К чему жестокость? Разве она не заслужила право на великодушие, проявив такую силу, такое самообладание? Как жаль, что отец не слышал ее! Прекрасный концерт, и он купил билеты еще до ... Развлечение, в котором она не отказала бы, наверное, никому...

— Да, конечно, с удовольствием! — воскликнула она. — Я слышала этот оркестр в Варшаве, очень элегантный... И программа — хорошо ее знаю, даже играла кое-что. Только Барбару жаль.

Она не сказала "нет". Жалкая, мерзкая жалость! И все-таки ему стало чуточку легче.

— Да, вот еще что, — продолжил натянуто он, — я уже обещал, но вы, разумеется, можете отказаться... Я хотел бы всех вас троих познакомить с моим другом — художником. У него, на мой взгляд, очень интересные работы. Я считаю (не подумайте, будто я хвалю его), что он очень талантлив. Кроме того, у него бывают поэты, артисты, музыканты... в общем, любопытно...

— Заманчивая идея! — живо откликнулась Анжелика. — Сестра примет с восторгом. У нас в Кракове тоже были знакомые художники, але мало — больше скучных ученых...

Он хмурился и покусывал губы: ее энтузиазм отчетливо попахивал фальшью. Для него самого вечеринка у Андрея вдруг лишилась всех ароматов и красок, значит, Анжелика хочет утешить его... Еще предложит дружбу...

Он решительно встал и, пробормотав что-то невнятное насчет дел, распрощался. Несколько танцующих пар как тени расступились перед ним, однако, выволить пальто с сумкой оказалось не так просто: человек шесть, приколов к дверце шкафа лист бумаги, развлекались тем, что коллективно пачкали его толстыми — с детскую ручонку — фламастерами. У Ильи в качестве отступного потребовали свежую идею. Пока он смущенно поглаживал переносицу, Барбара сняла готовый шедевр и приколола чистый лист бумаги. Илья взял черный фламастер и нарисовал лысую мужскую голову в очках, а сверху придал ей страшным вопросительным знаком. Идею тут же подхватили. Парень в замшевой куртке нарисовал роскошную машину, кто-то — орден, Олег-филолог — надгробный камень, Барбара — женскую головку, а Карел — розового, орущего младенца и кастрюлю. Поставив затем на свободные места автографы, шедевр торжественно вручили Илье. Он взял, грустно поблагодарил и отправился домой.

Было не так уж поздно, но глухая, захолустная темень безраздельно владела миром. Моросило мелко и подло — не сверху, а откуда-то снизу и сбоку, все время норовя в лицо. Он сутулился, горбился, пряча "шедевр" под полкой, и вдруг увидел себя помятым, небритым, опустившимся... Как он мог даже на мгновение допустить, что такая девушка... А эти дурацкие намеки, облеченные в высокопарную форму... Фу, какой стыд! Он попытался даже убедить себя, что не только отвергнут, но и вышвырнут: "тоска, хандра, буду пить, хорошо бы собаку купить", — тихонько подсказало Я, — а через двадцать лет — сцена из "Земляничной поляны": одинокий, близорукий, дряхлый книжный червь".

Заметив, что попало в нужный тон, Я продолжило: "Темно, холодно, скорбно — совсем как в "Войне и мире" — природа вполне гармонирует с настроением героя, жизнь потеряла всякий смысл, всякое содержание... Впрочем, кое-какие шансы все-таки есть: герой бросает науку, покупает каждый день цветы, встречается у общежития, старается подать что-нибудь, услужить... Со временем он становится другом семейства, преданным, верным, почти членом семьи..."

Илья поморщился: нет, нет, никогда. "Тогда будь мужчиной — порви разом и навсегда", — жестко потребовало Я.

— Глупо. Я хочу видеть ее, слушать вместе музыку, петь... Я не могу без нее!

"Ты просто жалкий, слабый слизняк! Ты не можешь перенести ясного, определенного "нет". Ведь сказано "никогда не смогла бы",

так нет, ты готов ухватиться за милость — была бы только надежда на надежду”.

— У меня нет никаких притязаний. Только видеть ее время от времени...

”Ты добровольно лезешь в унижительное, постыднейшее рабство. Ты потеряешь достоинство, собственное лицо, превратишься в надоедливого вздыхателя...”

— Я просто не вижу причин замыкаться в себе, в своей узкой и сухой науке.

Спор продолжался весь вечер, всю ночь, ему казалось, что он не заснул ни на минуту.



Семинар члена-корреспондента АН СССР Ф. С. Астафьева собирал едва ли не весь философский цвет Москвы, так как считался в своей области самым серьезным, самым представительным. Этот цвет, в отличие от своих праотцов, имел чахлую растительность, рыхлые фигуры, очки и всех серых оттенков костюмы. Они здоровались друг с другом за руку, грузно усаживались в первых двух рядах, солидно переговаривались, показывали журналы, статьи, и самым молодым, сидевшим на почтительном расстоянии, казалось, что именно там живет большая наука. За "Олимпом" следовало заметное разрежение — третий и четвертый ряды наполовину пустовали; за ними, как бы демонстрируя свое почтение, свое презрение, свою непричастность, размещалась гораздо более молодая, волосатая и пестрая "серая масса". Отсюда изредка раздавались дерзкие голоса, заставлявшие "олимпийцев" скрипеть креслами и напрягать тугие шеи. Самая молодая и смиренная часть аудитории ютилась в задних рядах и никогда не подавала голоса, зато вынашивала самые честолюбивые замыслы относительно "Олимпа".

Снегин, имевший свое место в средних рядах, на сей раз, как докладчик, оказался на короткое время среди "олимпийцев". Галин с подчеркнутой значительностью пожал Илье руку и представил кое-кому из первого ряда как своего способного ученика. За прошедшие три дня он несколько переоценил ситуацию и нашел занятую им позицию недостаточно гибкой, если не сказать глупой. В конце концов, времена меняются, поводок ослаб, и никто не может сказать, сколько новых шагов позволено делать. Отчего же не запустить пробный шар? Доклад — не публикация, а молодым сам Бог велел ошибаться; он заставит о себе говорить, он заставит кое-кого в Академии прислушаться к нему, даже если... В крайнем случае, Илья достаточно честен, чтобы подтвердить полученное от него предостережение. Надо ободрить юношу.

— Волнуетесь? — спросил он Илью. — Напрасно. В таком виде, как вы его изложили мне, ваш доклад безусловно привлечет внимание. Так что не робейте, смелее!

Когда все уселись, наоглядывались и наживались со знакомыми, вошел Астафьев, эдакий седогривый лев, в сопровождении людей помоложе и поплугавее. Он кивнул аудитории, победно окинув ее взглядом, поздоровался с несколькими из первого ряда и коротко переговорил с секретарем семинара — молодым, но уже "заметным", в силу своей приближенности к "Олимпу", философом. Затем он обратился к аудитории.

— Сегодня на нашем триста восемьдесят восьмом семинаре вашему вниманию предлагается доклад...

Он наклонился к Илье и попросил расшифровать его инициалы. "Илья Николаевич", — ответил Илья, краснея и на секунду теряя только что обретенную уверенность в себе. Галин заметил это и шепнул: "Насчет времени не беспокойтесь: часа полтора говорите смело".

— ...доклад Ильи Николаевича Снегина из МГУ "Критика современного неокантианства". Прошу вас, — широким жестом пригласил он Снегина к доске. — Мы все приблизительно на час в вашем распоряжении.

Светским тоном Астафьев привлекал и укреплял срединную часть аудитории, которая в наибольшей степени формировала репутацию семинара как серьезного, в то время, как плотность лысин в первых двух рядах была как бы овеществленным, численным выражением его "представительности".

Илья вышел к доске, положил тезисы на стол, взял за чем-то мел, повертел его в пальцах и вернул на место, затем сложил руки на груди и для пробы произнес первую фразу: "Известный английский философ..." Убедившись в том, что все еще владеет своим бесценным даром речи, он заговорил свободнее. Он не различал ни одного отдельного лица — все они смазались и слились в единое многоглазое существо, которое шелестело, покашливало и превращалось то в Галина, то в Астафьева, то в Абрамсона.

Внимание аудитории, эта жар-птица, которую легко поймать, но трудно удержать, рождается из любопытства, из того самого любопытства, которое мы, к счастью, захватили с собой, расставаясь с хвостом и клыками наших предков-приматов. Каждому, кто решится на публичное выступление, гарантирована, таким образом, некая изначальная доза внимания, пропорциональная его видимым отклонениям от нормы. Горе докладчику, которого Создатель не наделил ничем примечательным. "Как, — негодует слушатель, — этот осмелился взойти на кафедру и ничем особенным от нас не отличается?! Каково нахальство — ничего особенного! — руки, ноги, уши... великоваты, впрочем, но ведь не настолько, чтобы лезть на кафедру. Нос... да и нос не чересчур длинный, а вылез! Так, пожалуй, и я мог бы, однако не лезу же, и другие сидят себе спокойно... Хотя бы ростом был гигант или карлик..." Такому докладчику, чтобы компенсировать врожденную недостаточность, надо особенно тщательно готовиться к докладу. Желательно еще за год-полтора начать отращивать экзотические усы или бороду. Последняя исключительно эффектна, ежели обрамляет яйцеподобную лысину — дар, на который Создатель не скупится для подвижащихся в науке. Беда большинства ученых в том, что они пренебрегают заблаговременной подготовкой. Трудно представить, какой в связи с этим урон несет Мировая Наука. Но немало можно сделать

и накануне выступления. Следует открыть платяной шкаф и выбрать именно тот костюм, которого вы больше всего стесняетесь как чересчур старомодного, модного или слишком дурно пошитого. Н о с к и ! Казалось бы, такой пустяк, такая мелочь, а какое неотразимое впечатление производят они на слушателя, если правильно подобрать расцветку и укоротить сантиметров на десять брюки! Мелькая тут и там, они буквально завораживают аудиторию, притягивают к себе ее внимание, отблески которого могут пасть и на вас.

Яркие, невероятно яркие, даже крикливые рубашки и галстуки почти перестали в наше время воздействовать на умы. Уж лучше явиться вовсе раздетым, или — на худой конец — босым, как сделал один математик из всем известного математического колхоза на конгрессе 1966 года. Заметим кстати, что раздеться лучше уже в институте, иначе рискуешь не попасть на собственный доклад. Впрочем, если на такой шаг у вас не хватает гражданского мужества и преданности Науке, можно рекомендовать и другие методы возбуждения у аудитории внимания к собственной персоне.

Например, другой, еще более известный математик перед каждым выступлением молча и сосредоточенно закатывал обшлага пиджака, опасаясь, якобы, меловой пудры. Согласитесь — человек, который на ваших глазах засучил рукава, внушает уважение и надолго привлекает внимание к каждому своему движению.

Положим, в том или ином виде, но вы оказались на кафедре. Не стоит начинать с покашливаний и наливания в стакан воды. Очень устаревший прием, создающий впечатление, будто вы волнуетесь, или, что еще хуже, боитесь аудитории. Для внимания нет ничего гибельнее страха, ибо, если я знаю, что меня боятся, я могу спать спокойно.

Нужно ясно сознавать, что первоначальный запас внимания катастрофически быстро тает с каждой минутой. Слушатель торопится вынести на ваш счет окончательное суждение, и когда он это сделает... Можно оттянуть этот момент, сказав несколько невнятных фраз — это насторожит его, но, уловив несколько знакомых слов, он тут же воскликнет про себя: "Да нет же — как и все мы, по-русски и без малейшего акцента! И голос так себе — не визгливый, не громоподобный". Это значит, что он созрел для окончательного приговора: "Просто выскочка и карьерист!" и готов погрузиться в полудремотное состояние, вывести его из которого практически невозможно. Ловите мгновение, это ваш последний шанс. Вы должны, вы о б я з а н ы озадачить, ошарашить аудиторию! Отступать вам некуда, ведь не пришли же вы сюда ради внимания нескольких въедливых умников, которые и не свистят-то никогда, не аплодируют. Нет, это не то внимание. У него нет аромата славы, оно может быть даже губительным, как радиация.

Наилучший способ ошарашить аудиторию — задать ей очень трудный, желательно *неразрешимый* вопрос. Делается это так. Подойдите к самому краю кафедры (либо сцены), устремите вглубь аудитории тяжелый взгляд и сурово спросите: "Вы когда-нибудь задумывались о том...?" В зале воцарится гробовая тишина — поверьте, за долгие годы учебы страх перед преподавателем вьелся во всех присутствующих. Некоторое время они будут просто парализованы страхом. Им будет казаться, что вы вот-вот протянете руку и пронзите их вопросом: "Вот вы, например, что..." Теперь можно повернуться к аудитории спиной, нести любой вздор и вообще делать все, что заблагорассудится, но лишь до тех пор, пока аудитория не вышла из оцепенения. Вы сразу почувствуете это по шороху, скрипу и шепоту. Можно еще разок угрожающе обернуться... Лучше, однако, не повторяться. Существует достаточно много приемов парализовать аудиторию и держать ее в этом состоянии.

Американцы, между прочим, практикуют другое начало публичных выступлений — с анекдотов. Что поделаешь, они только что отпраздновали двухсотлетний юбилей. Когда им исполнится пятьсот, они поймут, что подлинное уважение внушается не юмором и оригинальными идеями, а страхом. Во-первых, рассказывая анекдот, вы полагаетесь на чувство юмора аудитории, что рискованно во всяком случае. Во-вторых, никто в наше время не верит, что вы сами придумали анекдот — даже наивные американцы знают, что для этого есть специальные фирмы. Анекдот хорош только в той степени, в какой он порождает страх (заметьте, опять же страх) проспать следующий и с ним упустить возможность блеснуть вечером перед друзьями, а завтра — доказать начальству свое серьезное отношение к науке.

Упомянем еще некоторые приемы. Если у вас монотонная дикция, неплохо время от времени делать неожиданную паузу — внезапно наступившая тишина встряхивает заснувших; иногда они вскакивают и начинают аплодировать. Если у вас слабый голос, хорошо применить громкое сморкание или эпизодические вскрикивания. Один профессор вытирал белоснежным носовым платком сперва лоб, а затем, якобы по-рассеянности, — доску. Студенты, разумеется, смеялись, перешептывались и толкали в бок задремавших. Вместе с тем, у них складывалось убеждение, что их профессор — чрезвычайно увлеченный наукой человек. Тот же профессор пользовался затем тряпкой вместо носового платка, однако такой уровень жертвенности по плечу лишь подлинным рыцарям науки.

Последние десятилетия все больше применяются технические приемы — демонстрация слайдов, фильмов и пр. Вряд ли они рациональны с точки зрения затрат времени и сил. Гораздо проще и эффективнее приобрести сногшибательный парик. К тому же, когда свет

гаснет и на экране появляются какие-то фигуры, вы в полном смысле оказываетесь в тени...

Наконец, последний совет — на тот крайний случай, если кому-либо взбредет в голову задать вам вопрос. Повернитесь к нему всем корпусом, скажите как можно убийственнее "Хм!", улыбнитесь и покачайте головой. Можете не сомневаться — вопросов больше не будет, а репутация умного и бесконечно эрудированного ученого вам обеспечена.

Илья Снегин по молодости не знал этих приемов. Он наивно полагал, что может завоевать аудиторию свежими идеями и ясностью изложения. Однако, его молодость в сочетании с приятной наружностью отчасти искупали недостаток природных данных и опыта. К тому же, участников семинара, привыкших к округлостям диалектической софистики, невольно задевали шероховатости языка и напористость молодого варвара.

В сорок минут покончив с доброжелательной критикой Слитоу, он предложил аудитории взглянуть на проблему с совершенно иной позиции и в первую очередь — перестать навязывать микромиру модели и причинные связи макромира.

— Давайте рассуждать следующим образом, — говорил он. — ОТО утверждает, что реальные свойства пространства-времени тем сильнее отклоняются от эвклидовых, чем сильнее гравитационное поле. От чего же не допустить, что другие поля, в частности, электро-магнитные и ядерные, также воздействуют на свойства пространства-времени? Например, ядерные силы, возможно, столь сильно меняют пространство вблизи ядра, что поведение электрона в атоме не описывается ни одной механической моделью, созданной без учета этих сил, — ни колебательной, ни вращательной.

Шел второй час. В отличие от Ильи, который все больше увлекался, которому казалось, что еще немного, еще несколько неотразимых аргументов, и он убедит аудиторию, Галин внимательно следил за реакцией первых двух рядов. От него не ускользнуло недоумение на лице Абрамсона, перешептывание двух зубров во втором ряду и чересчур сосредоточенное внимание Астафьева.

— Положим, частица имеет собственное пространство, — продолжал Илья, — которое никак, в сущности, не соотносится с нашим, или столь же мало, как межгалактическое, и пространство не только искривлено, стянуто к ней. Когда же мы для измерения импульса уничтожаем ее в результате столкновения, пространство распрямляется, лишая нас возможности судить о ее локализации...

Кто-то обронил: "идеализм", и слово поползло по рядам. "Да-а, чистойшей воды..." — довольно громко сказал Астафьев, явно рассчитывая на ухо Галина. Абрамсон ерзал, очевидно, предвкушая скандал, молодой секретарь что-то быстро писал, вскидывая на

Снегина жадные взгляды... Н-да, надо было спасти положение, и Галин, не дожидаясь перерыва, подсел к Астафьеву. "Ну, как тебе мой аспирант?" — спросил он со скрытой улыбкой. "Что, лавры Гатищева не дают покоя? Смотри, доиграешься, Артюша! — сердито проворчал Астафьев. — И мне свинью подsunул; знаешь, что говорят Яценко и Абрамсон? Догадываешься? Вот именно — субъективный. В общем, расхлебывай теперь, как знаешь, я тебя вытягивать не намерен". Но вытягивать ему пришлось.

Как только Астафьев объявил перерыв, Илья быстренько вышел в коридор и встал у окна. Он был возбужден, предвидел острую дискуссию и болезненно ощущал слабые, непродуманные места своей концепции: что значит "пространство распрямляется"? Как что? Неизмеримо растягиваются координатные ячейки...

— А, вот вы где! — оборвал его размышления Галин. — Что же мы теперь будем делать, Илья Николаевич? Отдадите ли вы себе отчет в том, что своим самовольным выступлением, своей мальчишеской выходкой вы нанесли такой удар по престижу кафедры, что последствия его даже трудно предугадать? И в первую очередь, это удар по моей репутации, поскольку вы — мой аспирант. Вы поставили себя вне моего руководства, то есть, мне просто ничего не остается, как отказаться от вас и предложить вам искать другого руководителя. Разумеется, и защита диссертации становится весьма проблематичной...

О чем он говорит? Какая выходка? Опять это противное слово "защита диссертации"; чего он теперь боится, когда доклад уже состоялся?

— И как вы могли одним махом зачеркнуть наше почти четырехлетнее сотрудничество?! — нажимал Галин, видя отсутствующий взгляд аспиранта.

— Я вас не понимаю, Артемий Александрович, — повернул к шефу нахмуренное лицо Илья. — Что, собственно, я совершил? Изложил собственную концепцию, ну, и что? Не разрушать же нам всегда чужие конструкции! Ведь не этично, в конце концов, только критиковать и ничего позитивного, своего не предлагать?

— Не говорите глупостей, Илья! — поспешно отреагировал шеф. — Мы не только имеем право, мы о б я з а н ы создавать собственные конструкции, теории... но — в рамках диалектического материализма. Подумайте, з д е с ь — и вдруг откровенный идеализм!

— Не знаю, лично я не мог бы сказать: идеализм или материализм... Мне начинает казаться, что собственное пространство, независимо от моего желания, оборачивается куда большей реальностью, чем "формы существования", — сказал Илья, и взгляд его снова потянулся куда-то мимо шефа. — В конце концов, плевать на ярлыки, меня может переубедить только логика. Если мне сейчас докажут, что я заблуждаюсь, я охотно признаю свое поражение.

— Вот что, молодой человек, — перешел в решительную атаку профессор, — нам надо сейчас быстро договориться: либо наше сотрудничество продолжается, либо... не будет вообще никакого сотрудничества. Я надеюсь, вы допускаете, что я желаю вам только добра, и выслушаете мой совет?

Илья смутился; голос Отца и Учителя заставил его поспешно кивнуть.

— Ваша концепция еще сыра, незрела. Вы еще не раз ее пересмотрите. Но для того, чтобы иметь такую возможность, вам надо защититься и, что называется, обрести под ногами почву. Поэтому давайте договоримся, что, если сейчас будут вопросы, вы сделаете акцент на эвристичности ваших гипотез и подчеркнете... ну там, единство материального мира.. и что там еще... А Федор Сергеевич и я со своей стороны скажем пару слов...

Ни обсуждения, ни дискуссии, однако, не состоялось. Галин задал вопрос, который больше походил на выступление, в результате чего разорванный Ильею мир обрел должное единство, а аудитория пришла в полное замешательство. Та небольшая часть ее, которая понимала, что происходит, не знала, какую ей занять позицию, пока не выступил Астафьев. Он отдал должное свежести подхода молодого ученого, изящно игнорировал вопрос распространения принципа причинности на микромир и нашел в изложенной концепции доказательства объективности пространства-времени.

Этим выступлением и закончился семинар. Галин предложил обескураженному Илье подвезти его до Университета.

— Вы вели себя благоразумно; нам удалось в значительной степени спасти положение, — сказал шеф, прогревая мотор. Илья молчал, он не мог понять, почему не состоялась дискуссия. — Но смыть пятно будет не так просто: к любой вашей публикации, надо думать, будет очень придирчивое отношение. Н-да, подгадили вы себе, прямо надо сказать...

Галин вел свою "Волгу" очень аккуратно, строго выдерживая скорость в шестьдесят километров и подолгу простаивая на перекрестках. Тут он поправлял очки и, поглядывая на притихшего Илью, рассуждал:

— Я знаю, вы привыкли игнорировать слова о классовом характере философии. Вы, молодежь, думаете, что это не более, чем слова, обыкновенная дань прошлому. Вам хочется оторвать, так называемую чистую, науку от идеологии, вы вообще не хотите видеть какую-либо связь между классовой борьбой и наукой. А между тем, ожесточенная классовая борьба в науке составляет едва ли не главное содержание научной жизни.

Илья удивленно взглянул на шефа, полагая, что он шутит.

— Да, да, именно борьба, — подтвердил Галин. Езда настраивала

его на благодушно-откровенный лад. — Знали бы вы, что делается в редакциях, какая борьба идет за каждое слово, каждую ссылку, каждую цитату. Кого можно цитировать, кого нельзя, кого надо и сколько раз... о ком вообще упоминать нельзя. Причем, списки тех, кого нельзя цитировать, часто запаздывают, и тут уж самому надо ориентироваться, чтобы не прогореть. Нет, юноша, тут борьба, и борьба самая настоящая! И знайте, что вы не просто пишете, что придет на ум, — вы *выступаете от имени партии* материалистов. Вы кровно, плоть от плоти, связаны с партией материалистов, и все, что вы делаете, должно принадлежать ей...

Они остановились у развилки возле университета. Илья открыл было дверь, но задержался и сказал: "Я всегда думал, что партии выбирают..."

— Заблуждаетесь, глубоко заблуждаетесь! Партию не выбирают, как и родину. Человек принадлежит им от рождения и до самой смерти!

— Но ведь это ужасно! — пробормотал Илья, захлопывая дверцу.

Он попирал синтетической рубленой подошвой фальшивое золото аллеи и думал, не замечая цветной молодящейся осени: "Почему я обречен, почему я *должен* любить эту страну? И что именно? Крым? Эстонию? Казахские степи? Подмосковье? Или Кавказ? Или все вместе — столь разное, часто противоположное? Или — то, что объединяет этот конгломерат?" Он сел на скамейку, далеко вытянув ноги, и, закрыв глаза, попытался представить себе все вместе, виденное когда-то: Кенигсберг и деревню под Курском, Приэльбрусье и пыльную казахстанскую тарелку, Гурзуф и Львов... Ничего общего? Нет, есть что-то неуловимое, какой-то покров... общий, на все разное... — тот неприятный грязный налет, привкус запустения и хамства, не всегда заметный, но всегда присутствующий. И конечно — язык, пусть не совсем, но все-таки русский, и военная форма, и новые кварталы, и машины, и лица потухшие, и плакаты... Но это *система*, экономическая система плюс идеология — нечто наносное, случайное объединяет это этническое и географическое многообразие. "А-а, я должен любить *систему*! Ну, это чушь, идеологию нельзя любить; разделять или нет, но не любить... И зачем так разукрашивать природу, — без всякой связи подумал он, — чтобы тут же бросить ее красу под ноги? Вот это можно любить, это нельзя не любить".



Перевод статьи Илья отослал, а собственные свои изыскания сложил в отдельную папку с крупной косой надписью "New conception". Папку он убрал подальше, и на письменном столе впервые за долгое время воцарился порядок. Так было спокойней, так было почти легко. Плевать он хотел на партию материалистов, равно как — и на все прочие. Партии, партийная дисциплина, партийный долг — какие жуткие слова! Какая фальшь, какая бессмыслица! Беспокоила непонятная, непостижимая реакция аудитории. Ни вопросов, ни обсуждения, ни похвалы, ни осуждения... Но ведь не бред же, не бред!

Убрав со стола всякое напоминание о докладе, он почувствовал некоторое облегчение и с горьковато-ироническим настроением предался безделью.

Он слушал музыку, посмотрел пару фильмов, играл через день в волейбол, читал Спинозу и Фихте, ходил в "английский клуб" упражняться в языке... а к работе по-прежнему не тянуло.

Он навестил Андрея. Его грустно-скептический тон не ускользнул от друга, и вскоре он все рассказал ему.

— Э-э, старик, — весело заговорил Андрей, — я вижу, реальность сама пришла в твою башню из слоновой кости. А я, грешным делом, недоумевал, как тебе удастся в хитром философском море избегать подводных течений и рифов. Завидовал; думал — вот, все мы мечемся между Сциллой и Харибдой (и жить как-то надо, и свое что-то делать хочется), а человеку везет — никакого раздвоения личности.

— Ну, и как же ты лавируешь?

— Кручусь — согласно поговорке: "хочешь жить, умей вертеться". А цо зробишь?

— Неужели портреты вождей пишешь?

— Э-э, брат, такой чести еще удостоиться надо. Я и мне подобные рабочий класс воспеваем — трактора, снопы, подъемные краны и твердый взгляд, устремленный в будущее.

— Н-да, и тебя не тошнит?

Андрей помолчал, роясь в бороде.

— Видишь ли, привыкаешь, стараешься не приноживаться — делать быстро и механически. А что делать? Жить как-то надо... Работодатель у нас один, и платит он за н у ж н у ю ему продукцию.

— Боже, как это ужасно! — еле слышно пробормотал Илья. — Ты малюешь мускулы, Инна воспекает их в стихах, Володя изображает — на сцене, я убиваю всякую мысль, а Игорь создает радиоаппаратуру. Все это гласно, огромными тиражами... Мы оболваниваем народ, а вечерами, отрывками кропаем что-то "для себя" и складываем в темные

углы, чтобы показать десятку-другому... Жуткая, опустошительная безысходность! И к этому я должен привыкнуть?!

— Ну, а что делать, старик! Хорошо, что еще для себя что-то делаем. Глядишь, когда-то... Ведь на плакаты никто не смотрит.

— Нет, на э т о , — Илья обмахнул рукой мастерскую, — никто не смотрит. А вся эта мазня по улицам сама лезет в глаза, пробирается в подсознание. Но самое ужасное — твое "привыкаешь". Если вдуматься... ты понимаешь, что значит "привыкнуть"? Если я к чему-то привык, оно не волнует меня, не раздражает, я воспринимаю как нечто естественное; не правда? То есть, меня засосало, скрутило и принизило то, что недавно еще возбуждало против себя, а я не замечаю. Значит, я попросту пал! Сажу в помойку, а вони не слышу!

— Ну, зачем такие крайности. Скажи, если тебя каждая мелочь, каждый пустяк будет будоражить и выводить из себя, долго ли ты протянешь? За год в психопата превратишься. Учись, Ильяша, воспринимать вещи спокойнее, не кипятиться по мелочам. Ну, вот практически: ты выходишь из дома, а возле крыльца многолетняя грязь, приходишь в магазин, а там тебя облаяли, заходишь в химчистку, а заказ не готов и т. д. и т. п. Будешь кипятиться, нервничать — ничего не добьешься, а день убьешь — ничего не сделаешь. Я не говорю: "не надо замечать" — не надо принимать слишком близко к сердцу. Грязь обойди, за костюмом зайди через неделю, а на грубость не отвечай, и, увидишь, в другой раз будут с тобой любезнее.

— Тоска, тоска! Уж лучше засыпать грязь, а? А если сам не справишься — позвать других. Не знаю, как можно научить — ся, то есть с е б я , не кипятиться, воспринимать вещи спокойнее. Уговаривать себя, что ли, обманывать? Меня облаяли, а я говорю себе: "Не волнуйся, это нормальное явление, так и должно быть", да? Но ведь я з н а ю , что так не должно быть!

— Ну, кричи, трепыхайся... Изменить все равно не изменишь, а будешь трепыхаться... впрочем, когда кричишь, вроде, легче становится.

— Какая жуткая безысходность! Ты отдаешь себе отчет?

— Очень даже. Вся наша история ею пропитана, — ответил Андрей спокойно.

— Утешил, нечего сказать, — нервно рассмеялся Илья. Он встал, прошелся, круто разворачиваясь на каблуках, потрогал одну вещь, другую, затем остановился перед Андреем и в упор сказал: — Если в самом деле помойка, если в самом деле ничего нельзя изменить, тогда надо выбираться из нее!

— Э-э, старик, не дадут, уцепятся за ноги и не дадут, — отмахнулся художник, предпочитая другую тему: — Ты говоришь, "привыкнуть" значит опуститься. А по мне — наоборот: подняться, воспринимать жизненные язвы по-философски спокойно, как уродливый ландшафт. Не станешь же ты психовать из-за того, что на Луне нет порядка?

— Прекрасная мысль! — оживился Илья. — Ты помог мне понять, отчего я психую. От всего неразумного! Понятно, я как атеист не могу прилагать категорию разумного к неживой природе, поэтому и хаос в природе меня не только не раздражает, но даже по-своему нравится. Однако, когда не слепые силы, а люди создают хаос, либо не устраняют его, то есть поступают неразумно, тогда я возмущаюсь и негодую.

— Обрати внимание: для тебя "действовать разумно" означает устранять хаос, — заметил художник.

— Не отрицаю. Когда мы говорим о разуме, то в первую очередь подразумеваем установление различий и выбор цели, а хаос — игра случайных сил. Мы вторгаемся в него, боремся с ним во имя нашей цели...

— А что за цель, не скажешь? — вкрадчиво перебил Андрей.

— Цель человечества — выжить.

— И только-то? — изумился Андрей.

— Мало? О, это колоссальная задача! Пока что мы — лишь ничтожная плесень на рыхлой и влажной поверхности Земли. Плесень, которую Природа может запросто стереть. Пока что она щадит нас, пестует, как любимое дитя. Трудности, которые она подбрасывает (землетрясения, наводнения, ураганы) — не более, чем детские игрушки, призванные воспитывать наш характер. Настоящие опасности могут обрушиться на человечество в любой момент.

— Ты не драматизируешь ситуацию, как это модно сейчас?

— Нисколько. Даже то, что уже происходило с Землей, может повториться в любую минуту. Повышение температуры планеты всего на несколько градусов приведет к таянию льдов и всемирному потопу. Небольшое увеличение солнечной активности способно сжечь все живое и опять-таки растопить льды. Из небольшого похолодания может развиваться ледниковый период. Ослабление магнитного поля или изменение его полярности вызовет мощную космическую радиацию и другие, пока непредсказуемые катастрофы. Это только часть, самая очевидная, опасностей. А сколько таких, о которых мы пока даже не знаем! Добавь сюда вполне реальное самоуничтожение, которое висит над нами...

— Слушай, старик, "цинандали" выпьешь? — мягко перебил друга Андрей. Илья рассеянно кивнул, поймав себя на том, что чересчур увлекся.

— Страшноватая философия, должен тебе сказать, — продолжил художник. — Выжить, выжить любой ценой! Скажи, а если для выживания человечества понадобится половину его принести в жертву? или посадить на конвейер? — дисциплинировать, так сказать, чтобы сделать максимально продуктивным? Не обижайся, но ты рассуждаешь в духе всех тоталитарных идеологий.

— Погоди, погоди! Во-первых, я действительно избегаю таких слов как счастье, а во-вторых, я говорил о г л а в н о й цели человечества...

— Ну, конечно, для тебя счастье — второстепенная цель.

— Да, черт возьми, да! Второстепенная! О каком счастье можно говорить для исчезнувшего человечества? Красивые слова и софистика! — вспыхнул Илья.

— Юпитер, ты сердишься?..

— Да, сержусь, но я прав. Мы все читаем, восхищаемся и переживаем за Анну Каренину, которая, в сущности, бесится с жиру, от безделья. Ничего не хочу говорить плохого о ней, но надо же быть справедливыми. Мы месяцами переживаем трагедию ее и ей подобных, а когда в Индии умирают ежегодно от голода, или в Гондурасе, Китае, Турции гибнут от землетрясений тысячи, десятки и сотни тысяч, мы вздыхаем, посылаем им аспирин, консервы и... забываем! Подумай, что значит умереть от голода — драма, страшная драма, почище каренинской. И таких романов природа ежегодно пишет миллионы!

— Нет, погоди! — Илья поднял руку, останавливая друга. — Я коснусь счастья тоже. Хотя из сказанного, я думаю, видно, что, во-первых, необходимо сохранить людям жизнь, а уж затем делать ее счастливой...

— Счастье не всегда стоит жизни, — скороговоркой вставил Андрей, и Илья замолк, пережевывая подброшенный кусок. Этим воспользовался художник, чтобы добавить: — Если за жизнь надо платить счастьем, для многих это слишком высокая цена — они предпочитают вообще не жить.

— Ты говоришь о тех, кто может выбирать, а я о тех, кто выбора не имеет — по прихоти природы или каких-то сытых людей. Однако, ты дашь мне закончить мысль?! Я скажу про злосчастное счастье, и нам, может быть, не придется спорить.

— Молчу, молчу, валяй!

— Одна твоя фраза поразила меня своей вопиющей нелогичностью. Ты предположил, что гипотетически можно мыслить индивидуума, лишенного свободы, инициативы, в общем, несчастного, который, между тем, максимально производителен. Представь себе, я глубоко убежден, что только счастливый человек может выдавать максимум. Банально? Слава Богу! Идем дальше. И наоборот — если человек что-то создал, он б ы л счастлив, даже если он сидел в тюрьме, голодал и что там еще. Однако, я потерял главную мысль... Так много надо сказать, что теряешь нить.

Илья нахмурился и потер переносицу.

— Счастье — всего лишь средство. Если бы оно было самоцелью, то достичь его было бы не так уж сложно — с помощью наркотиков, химикатов и раздражения центра удовольствия. Например...

— Я говорил о главной цели человечества — о выживании, — снова оживился он, ухватившись за утерянную мысль, — а она немыслима без экспансии нашей власти над природой, иначе существование наше слишком непрочное. Экспансия, в свою очередь, требует не только сохранения существующих жизней, но и мобилизации всех творческих способностей человека. И напрасно ты будешь искать здесь противоречие со счастьем отдельного индивидуума — оно необходимо, чтобы он мог творить; и наоборот — создав ему условия для развития его способностей и для творчества, мы сделаем его счастливым. Фу, наконец я довел свою мысль до конца! Боялся, что ты прервешь меня.

— А я, по правде говоря, еле стерпел, — сказал Андрей. — Страшно тебе слушать, старик: экспансия, власть над природой, мобилизация... В результате — миллионы гектаров похеренного леса, вонючие водоемы на месте плодородных долин, сточные канавы вместо рек, выхлопные газы... Посмотри на этот двенадцатизэтажный муравейник, на метро в часы пик, на очереди и серые, пустые лица. Вот она, твоя пресловутая "разумная деятельность"! В Природе была полная гармония, а мы вторглись, как дикари, и начали перегораживать реки, посыпать дустом, уничтожать волков, насекомых, воробьев, взрывать бомбы...

— Понятно, новоявленный Жан-Жак, — язвительно, как только мог, вставил Илья. — К деревянной сохе зовешь?

Андрей неопределенно пожал плечами.

— Не берусь давать рецептов, — ответил он, — но в одном не сомневаюсь: природу надо не переделывать, к ней надо приспособливаться, изучать ее законы и приспособливаться... Секундочку, я заканчиваю! Самое страшное — как вы, прагматики-позитивисты, с человеком обращаетесь. Вы даже признаете счастье в качестве предпосылки. Но главное — это его производительность, отдача, так сказать. А что делать с теми, от которых нет отдачи?

— Я не верю в таких! — поспешно заметил Илья.

— До фи́га, старик, до фи́га! Пьяницы, забулдыги... — короче, эпикурейцы всех мастей: *ede, bibi, lude* (ешь, пей и веселись). Хуже того — сколько таких, от которых не только отдачи, которые станут поперек твоей экспансии власти. Что с ними? Под ноготь, небось? То-то! Разве не разумно будет переделать их в удобрения и посыпать Сахару? Грубо? Ладно, — создать из них трудовые отряды, чтобы рыли каналы в той же Сахаре? Разумно? Разумно. А запашок... того... дурной...

— Отвечать на все выдвинутые тобой обвинения недели не хватит. Но в той части, в которой они справедливы, есть одно объяснение, которое я скажу, не доказывая: во всех перечисленных грехах виноват не разум, а недостаток его. Скажем, электрофикация необходима, но строить гигантские водохранилища вряд ли целесообразно

из-за массы побочных эффектов. То есть, в данном случае продумали игру всего на один ход, как и во всех прочих твоих примерах. А надо рассчитывать на пять, десять шагов. Вот почему нужны мозги миллионов, десятков миллионов, ибо сегодняшняя кучка ученых не справляется с колоссальной мыслительной работой. Но, чтобы эти люди могли думать, надо освободить их от сохи, одеть, накормить, выучить...

Он неожиданно замолк, затем с горечью сказал:

— Черт-те-что, какие прописные истины говорить приходится! — доказывать необходимость научно-технического прогресса. И откуда эта вздорная идея, что прежде была гармония между человеком и природой? Когда она была — в доисторические времена, в древнем мире или в средние века? Я отвечу: если гармония и была, то тогда, когда население планеты было слишком ничтожным, чтобы загадить, испохабить природу. Они сдирали шкуру с убитых животных, вываливали на землю внутренности, выжигали леса, и только недостаток технических средств и человеческих ресурсов спас Природу. Если бы мы поступали так же, то с нашими техническими возможностями, мы уничтожили бы все за один год. Мы совсем недавно получили в свое распоряжение глобальные средства воздействия на природу, но ни одним из них не злоупотребили серьезно... Ах, я устал спорить... Знаешь, у нас с тобой противоположные мировосприятия: у меня европейское, а у тебя — византийское. Я считаю, что надо изменять среду, ты — приспособливаться, для меня человек — свободный творец, для тебя — раб природы, или еще чего-то. Я склонен к бунту, протесту, ты к терпимости, смирению. Я верю в человеческий разум, ты — в Бога. Я верю в Прогресс, ты в нерушимый порядок, в гармонию... Тебя, если поскрести, — Илья подошел к Андрею сзади и запустил пятерню в его шевелюру, — чего доброго еще и монархиста обнаружишь?

— Возможно, — спокойно ответил Андрей.

— Ну и ну! — уселся и уставился на друга Илья. — В наше время! Ты не шутишь? Чтобы современным государством управлял болван только потому, что он отпрыск...

— "Умом Россию не понять", Ильюша. Никак ей без царя нельзя, поелику не государство она в обычном национальном смысле, а некое наднациональное образование. Не может она держаться на честолубии продажных политиков...

— Тэ-эк-с, — протянул Илья, опять вскакивая с кресла, — придет-ся, видимо, начинать с начала.

— В другой раз, старик. Мы оба устали, в другой раз. Скажи лучше, как ты намерен вертеться меж двух огней? Или бунтовать собрался?

— Бунтовать? — переспросил Илья, пожимая плечами. — Не знаю, я еще ничего не решил, — и решительно добавил: — Вот вертеться я точно не стану.

— Ну-ну... — покачал головой Андрей.

Они вскоре расстались, договорившись насчет вечеринки. На прощанье Андрей дал Илье "Истоки и смысл русского коммунизма" Н. Бердяева и "Так говорил Заратустра" Ницше.

В метро, не выдержав пытки любопытством, Илья раскрыл Ницше — насчет Бердяева он получил от друга строжайшее предупреждение — и наткнулся на сентенцию:

"Но моей любовью и надеждой заклинаю тебя: храни героя в своей душе! Храни свято свою высшую надежду!"

И тут же — на другую:

"В стороне от базара и славы жили издавна изобретатели новых ценностей".

Вагон, с его светом, грохотом и усталыми, поношенными лицами, в один миг растворился и сгинул. Илья был в пустыне; впереди на большом отдалении искрились вершины каких-то гор; откуда-то звучал прекрасный голос:

"Со своей любовью и своим созиданием иди в уединенье, и только позднее, прихрамывая, последует за тобой справедливость.

Надо сдерживать свое сердце: стоит только распустить его, и как быстро теряешь голову!

Существует в мире много грязи — и это верно. Но поэтому сам мир не есть еще грязное чудовище!

И если ваша твердость не хочет сверкать, резать и разбиваться, как могли бы вы вместе со мной — созидать? Ибо созидающие тверды..."

Каждая строчка жгла и сверкала! Сколько лет он по капле собирал их, выжимая из сотен рыхлых и пресных томов! Как измученный жаждой путник он слизывал с травы ее утреннюю влагу, не смея мечтать об источнике, и вдруг встретил, и принял, захлебываясь от восторга и счастья. Каждое слово для него, именно для него, только для него! Он пытался выписывать, но как мучителен был выбор: это взять, а это оставить?! Взяв у товарища фотоаппарат, он переснял книгу и немного успокоился. Но строки, не написанные его рукой, не принадлежали ему; он продолжал выписывать. Насытившись Заратустрой, он закопался в "Ленинке"...



В день концерта Илья читал главы, так или иначе касавшиеся женщин.

”Все в женщине загадка, и все в женщине имеет одну загадку: она называется беременностью.

Мужчина для женщины средство: целью бывает всегда ребенок.

Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь детей, кроме той женщины, что люблю я: ибо я люблю тебя, о, Вечность.

Наша вера в других выдает, во что мы охотно хотели бы верить в нас самих. Наше страстное желание друга является нашим предателем”.

Нет, в этом вопросе Фридрих излишне резок, хотя в общем-то прав, — размышлял, собираясь, Илья. Неожиданным следствием этих размышлений был ряд поблажек: он позволил себе не менять символический и полусимволический платки, а также — не гладить костюм. И держался он удивительно спокойно, когда стучался в комнату девушек.

— Вот, пусть мужчина скажет свое мнение! — сказала вместо приветствия Лариса, когда он вошел.

Взоры всех четырех обитательниц комнаты обратились на него, и он хотел было по привычке смутиться, но во-время опомнился и спросил весьма деловито: ”А в чем, собственно, дело?” Впрочем, дело не вызывало сомнений. Анжелика, стоя у зеркала, примеряла к своему голубому облегающему платью домашние ”драгоценности”, пестрой горкой лежавшие на столе; все три девушки дружно ей помогали и, естественно, не могли прийти к единому мнению, невзирая на страстные, неотразимые аргументы типа: ”И как тебе может нравиться такое?! Я бы ни за что, н и к о г д а к вечернему платью!...”

Ситуация показалась Илье забавной, да и отступать было уже некуда, ибо Барбара тащила его к столу, приговаривая: ”Смелее, смелее, философ! Фу, какой — совсем не похож на мыслителя”. Он подошел, взглянул на Анжелику и зажмурился, почувствовав предательское головокружение. Но тут же совладал с собой, встретив ее растерянно-виноватый взгляд. ”Честно говоря, я никогда не сталкивался с подобной проблемой...” — сказал он, чтобы выиграть время, и поворошил кучу разноцветных палочек, камушков и стеклышек на столе. Вдруг дерзкая мысль осенила его.

— Дайте больше света! — сказал он властно и, сложив руки на груди, сосредоточился на Анжелике. — Я думаю, начать надо с анализа

общего облика, так как украшения должны гармонировать с ним, дополнять его.

Кто-то направил на девушку лампу; кистью руки Илья дал ей знак повернуться; она повиновалась, и улыбка ее говорила: ведь ты не сделаешь ничего дурного?

— Мне кажется, в целом облик Анжелики производит впечатление нарочито строгого, я бы даже сказал консервативного: волосы собраны в узел; высокий воротник; темные туфли... и юбка могла быть короче... В общем, над ней довлеет какая-то догма, боязнь чего-то...

Излишне говорить, что слушали его чрезвычайно внимательно — не потому, разумеется, что женщины одеваются ради мужчин. Упаси Бог, — они одеваются исключительно ради самоощущения. Просто, мужчины редко способны произнести нечто членораздельное относительно столь важного, если не важнейшего, вида человеческой деятельности.

— Ей не хватает смелого элемента, смелого штриха, — сказал он.

— Вот, я говорила! — воскликнула Барбара и, подав гирлянду фигурок из красного дерева, сказала: — Пусть она наденет это.

Илья взял, взвесил и отложил в сторону со словами: — А стоит ли? Нет, не стоит вмешиваться и нарушать стиль...

Анжелика, неловко чувствуя себя и злясь на Илью, тем не менее не делала попыток прервать его. Она единственная из всех улавливала скрытый смысл его слов, и какой-то странный паралич овладел ею.

— Если бы у вас под рукой было золото с парой хороших бриллиантов, то, пожалуй...

— Но так нельзя. Что-то все-таки надо... — заметила робко Таня.

— Н-да, женщины остаются женщинами — хоть что-нибудь, но обязательно нацепят себе на шею, — рассмеялся Илья. — Ну, тогда эти желтые слезы.

Он вытащил из кучи янтарное кольцо и подал Анжелике.

— Bravo, Ильюша, молодец! — похлопала его по щеке Барбара.

— Я же говорила, ведь я говорила про это, — ужасно волновалась Лариса.

— Конечно, ты и про бусы говорила, — пропела Таня.

— Но ведь все-таки про я н т а р н ы е !

Анжелика надела кольцо, и Илья смотрел на нее со снисходительным удовольствием создателя. Когда Барбара за спиной сестры спросила его взглядом: "Как, хороша?", он сперва пожал плечами и лишь затем утвердительно кивнул. Получилось: "хороша, конечно, а все-таки..." Что "все-таки" он не сказал даже мысленно, но без сомнения оно означало: "род промежуточной ступени между женщиной и ребенком, созданный для отдохновения мужчины-воина".

И в такси Анжелика упорно молчала. Неверный свет улицы заглядывал в машину то спереди, то сбоку, выхватывая то серебристый мех капюшона, то руку с перчатками, расслабленно обнявшими колено, как неправдоподобно длинная кисть, то сумрачно-прекрасное лицо. Столь же быстро сменялись порывы в душе Ильи: в одну секунду он гордился собой, в следующую презирал...

Смятение вновь прокатилось в сердце Анжелики: победа, которая целую неделю питала ее спокойствие... была ли она вообще? Он всегда приходит чутьточку тверже, чем уходит. Почему так непрочна ее влияние? Другая женщина? Нет, не может быть. Тогда что же? Если он действительно все время один, с книгами... Книги? Нет, он не сухарь... — музыкален, до смешного сентиментален, и к ней относится... уж в этом можно не сомневаться. Но каким противным он был сегодня! Она ничего не хочет, пусть только не будет таким жестким — немного мягче, приветливей и только, — таким, как в "арбузный" вечер. Зачем выбирать между разрывом и... полным сближением? Разве не приятнее и спокойнее ровная дружба?.. О, она ни за что... ничего не сделает такого, что бы могло подтолкнуть в ту или иную сторону...

Она знает, что нравится ему, — в это же время размышлял Илья, — да, он имел неосторожность проявить свое слабое место — впредь он будет осторожнее. Однако, слабость... если справляешься с ней (а он справится!), не только не унижает человека, а как бы даже возвышает. Не дать ей поработить его... ну, об этом смешно даже думать. В сущности, не так уж трудно — немного внимательней контролировать свои слова, жесты...

Так они молча пришли к соглашению, изгонявшему из видимых отношений все знаки особого внимания. Но, изгнав все внешнее, они насторожились внутренне, улавливая с болезненной чувствительностью тончайшие признаки душевных переживаний друг друга. Запретив себе наслаждение взглядами, улыбками и прикосновениями, они стали наслаждаться собственным стоицизмом. В интимной атмосфере такси, выходя из машины, в гардеробе и во множестве других ситуаций они удерживали себя от неосторожного проявления нежности, и собственный стоицизм доставлял им особенное удовольствие.

* * *

Концерт! Это роскошный сад с шелестом листвы и скромными цветами, с влажными тенями и лучиками солнца, с некошенными травами и говором птиц. В нем множество укромных мест, где, скрытые от глаз, резвятся и нежатся души, свободные от страхов, забот и сомнений. Таким был э т о т концерт.

С первых же звуков сонаты Тартини их души потянулись в сад; там они встретились и наслаждались близостью, для которой никто из

них ничем не поступился. В перерыве взволнованные, переполненные тайной они прогуливались в фойе, ловя и по своему истолковывая встречные взгляды старых дам в вечерних туалетах, и вдруг натолкнулись на маленького быстрого старичка в старомодно-круглых очках и в столь же старомодном костюме.

— Здравствуйте, здравствуйте, молодой человек! — энергично приветствовал он Илью. — Приятно вас здесь встретить.

— Разве я мог пропустить такой концерт, — ответил польщенный Илья. — Позвольте вам представить: Анжелика из Кракова, — и чувствуя незаконченность фразы, пошутил: — Она, правда, не математик и даже не физик, но музыку тоже любит.

— И прекрасно, и очень хорошо, что не математик и не физик, — говорил старичок, улыбаясь преувеличенно добрыми глазами, — нет людей более скучных и более заносчивых, уж я-то знаю. Надеюсь, Анжелика, вы занимаетесь искусством или чем-то около?

— Русской литературой... — живо откликнулась Анжелика, — помоему, это не "около", а между — психологией и философией. Але музыка — почти вторая моя специальность.

— Значит, на наших четвергах одним участником станет больше? Кстати, Илья, вы не забыли, что нынче у нас "Царь Эдип"?

— Нет, не забыл, но позвольте мне, Петр Сергеевич, быть откровенным. Вы знаете, я не наслаждаюсь музыкой Стравинского, слушаю скорее из любопытства. Нервная, тревожная, зачастую нарочито экстравагантная... я больше устаю от нее, чем отдыхаю.

— Что за консервативная молодежь пошла! Сколько раз мне от молодых людей приходилось слышать подобные мнения! И вы, Анжелика, — тоже?

— Нет, мне Стравинский нравится, але я тоже предпочитаю старую музыку.

— Конечно, каждая хороша по-своему. Но вот им, — Петр Сергеевич открытой ладонью показал на Илью, словно скрывал в ней его, — им бы только млеть на концертах, вроде сегодняшнего, а действительно серьезной музыки — проблемной, интеллектуальной музыки современности — они знать не хотят. Слов нет, — говорил он, все больше обращаясь к Илье, — Корелли, Вивальди и сладенький Тартини очень хороши, но н а ш е в р е м я столь насыщено противоречиями, так драматично, что одними консонансами его просто не передашь.

— Вы правы, Петр Сергеевич, боль и ужас не передашь, наверное, без диссонансов, но чувства мои не приемлют этой музыки, я делаю усилие, напрягаюсь, пытаюсь понять мысль...

— Вполне понятно — вы не знаете я з ы к а современной музыки и напрягаетесь, как если бы слушали речь на малознакомом языке, согласитесь — тут не до поэтических тонкостей.

— Понятно — все тот же универсальный диагноз: невежество, — вспыхнув, пробормотал Илья.

— Да, невежество. На почве дилетантского, легкомысленного отношения к музыке...

Анжелика со стороны с удовольствием наблюдала за спором сдержанного смущенного молодого человека со стареньким, но очень энергичным, очень агрессивным джентльменом, который горячился, жестикулировал и незаметно повышал голос.

— Ведь вам хорошая, в вашем понимании, музыка, — говорил старший, — нужна как диван, как удобное кресло для отдыха. Вы избегаете современной музыки, так как боитесь интеллектуального напряжения. Вы хотите так устроить свою жизнь, чтобы после профессиональных занятий отдохнуть на музыкальной чувственности, приятно поволноваться и снова за работу...

— Я слушал и Шенберга, и Хиндемита, — защищался младший, — но ничего, кроме опустошения, тоски, какой-то душевной усталости, они мне не приносили. Если их необходимо очень долго слушать, прежде чем начнешь понимать и наслаждаться, если необходимо преодолевать отвращение, то... знаете ли, это вроде куренья — я должен привыкнуть, преодолеть сопротивление организма и только затем начну получать удовольствие от дыма...

— А я вам — другой пример. Вы учились карточным играм? В таком случае вы должны были заметить, что более или менее сложная игра на раннем этапе знакомства с нею всегда кажется неинтересной: вы постигли азы, основные правила, но не poznали всех ее тонкостей, нюансов, а в них-то и заключена вся прелесть игры...

Спор пришлось отложить до второго антракта. На вопрос Анжелики, кто этот милейший старичок, Илья ответил: "Академик Палисадников, один из крупнейших математиков мира; когда-то я слушал его лекции, а сейчас посещаю его музыкальные вечера. У него колоссальная фонотека и невероятная музыкальная эрудиция. Перед каждым прослушиванием он рассказывает о композиторе и исполняемом произведении".

В перерыве академик сам разыскал молодых людей.

— Извините меня, Анжелика, за старческую навязчивость, но я смиренно надеюсь, что, высказавшись до конца, принесу некоторую пользу и вам — выведя на чистую воду кое-какие качества этой категории молодых людей, — он неожиданно рассмеялся. — Рискну сделать смелое предположение, что я неплохо знаю эту братию. Они строят себе микромир из определенной литературы, определенной музыки, узкого круга друзей, преимущественно коллег, и не желают высовываться из него нос. Правда, зачастую они прекрасные специалисты, но, поверьте, Анжелика, такая кабинетная узость ужасна, я бы даже сказал — бесплодна.

— Я не совсем вас понимаю, Петр Сергеевич, — пожал плечами Илья, — вы говорили о музыке...

— Ну как же не понимаете! — восклицал профессор, забегая вперед, так что Илье то и дело приходилось останавливаться. — Вы признаете, что в музыке ищете только отдохновения; вы отнюдь не против переживаний, трагедий (без этого и музыки не было бы), но вы хотите, чтобы они были красивыми, чтобы, если смерть, так обязательно благородно, красиво и даже умильно. Вы, осмелюсь заявить, боитесь реальности, отмахиваетесь от кричащих, вопиющих проблем современности.

— Разве, занимаясь своим делом, мы не помогаем решению "вопиющих проблем современности"?

— Э-э, юноша, не тех проблем, не тех! Социально-политические, морально-этические проблемы проходят мимо вас так, словно это вовсе не ваше дело. А между тем, вы составляете самый костяк интеллигенции. Взять хотя бы последние события, письма. Вы что-нибудь сделали?..

Илья вспыхнул всеми пятнами сразу.

— Простите, Петр Сергеевич, но я абсолютно ничего не знал.

— Вот видите, вот вам ваша скорлупа! Мне нечего добавить. Ах, звонок! Пора заходить. Идемте же слушать вашего несравненного Вивальди. Он право же хорош, но... ну, да ладно, еще поговорим. Ведь вы придете в четверг? Итак, я прощаюсь до четверга.

— Уф, какой тайфун! — вздохнул Илья.

— А про какие письма он говорил?

— Видишь ли, я только недавно узнал... моя подпись мало что значит, — неуверенно проговорил Илья и, понизив голос — они пробирались по ряду на свое место, — продолжал: — Это обращение ученых к правительству с просьбой о помиловании Синявского и Даниеля, а также о демократических реформах...

— А если бы предложили, ты тоже подписал бы?

Илья сел на место и, основательно подумав, ответил:

— Если обращение составлено в форме глубоко продуманных рекомендаций обеспокоенных людей, то, в общем, я тоже разделяю беспокойство... Процесс демократизации протекает слишком вяло, со срывами, а он должен опережать уровень непосредственных запросов... В конце концов, разве это не наш долг — рекомендовать правительству назревшие реформы? О чем ты думаешь?

— Мне так странно... — не сразу ответила Анжелика, — ты такой идеалист и Палисадников тоже... Теперь знаю, что есть интеллигенты, о которых читала в ваших романах прошлого века. Наши, можно сказать, прагматичнее. Т-с-с, начинают!

Вивальди, как стремительный и алчный конкистадор, как нежный и нетерпеливый любовник, ворвался в зал, и публика покорно пала, склонила повинные головы... Илью завертело в скрипичном вихре, вместе с ним он взмывал, носился и падал, как в детских

невинных снах... Потом вдруг стихло, улеглось, повеяло грустью чего-то уходящего — то ли лета, то ли молодости... И опять подхватило, стиснуло, защемило сердце, понесло, понесло эдак плавно, осторожно и — на тебе — поставило на пустую, слепую отмель...

Когда зашаталась и рухнула стена аплодисментов, Илья невольно схватился за голову и большими пальцами заткнул уши. Грохот перешел в отдаленный гул, лишь отдельные каменные хлопки пробивали панцирь его глухоты. Особенно усердствовал кто-то справа, впереди. Илья осторожно выглянул из-под ладони: да, это была та женщина, которая во втором отделении пытала его шелестом конфетной обертки.

— Что с тобой? — спросила Анжелика и, тронув его, повторила вопрос. — У тебя болит голова?

Он открыл сердитое лицо и раздраженно сказал:

— Ненавижу эту манеру — колотить в ладоши. Как можно так бесноваться после... после Вивальди или Баха!

— Фу, какой злой! Простая традиция благодарить артистов... — мягко возразила Анжелика.

Ну почему, почему она возражает?! Почему он всегда встречает только противодействие, должен спорить и спорить? — с тоской подумал Илья.

— Да, традиция, по-видимому, еще римская, — вполне уместная при травле зверей, резне гладиаторов и кривляньи комедиантов. Но в наше время, после небесной музыки так неистовствовать?! Не знаю, я не верю в их искренность.

Зал стоя вызывал музыкантов. Илья с Анжеликой сидели.

— Почему так плохо думаешь о них?

— А что я могу думать о женщине справа от меня, которая сейчас всех тут оглушит, если она испортила мне шуршанием половину второго отделения?

— Надо быть немного терпимее к людям. Нельзя так жестоко судить их. Может быть, она не очень образованная, але по-своему любит музыку...

— Я и так слишком терпим, ибо не убил ее — она извела меня своей конфетой! — неожиданно взорвался Илья. — Вообще, ты замечала, что на концертах восемьдесят процентов женщин?

— Никогда не считала, — ответила Анжелика, пытаясь слабой улыбкой защититься от его холодного взгляда. — Наверное мужчины больше любят нянчить детей?

— Да, они больше любят, если не детей, то хоккей и водку, но главная причина не в этом — они в меньшей степени склонны придерживаться моды и лицемерить. Ведь сейчас м о д н о "любить" классическую музыку. О! я давно замечал, что они лицемерят, а сейчас понял — почему.

Публика расходилась, а они все сидели. Анжелика не без удивления и испуга наблюдала, как непонятно откуда взявшееся раздражение разгоралось в его глазах голубым беспощадным пламенем.

— На концерты Рихтера или Ойстраха попасть практически невозможно, и овации им устраивают невероятные, а разве они всегда безукоризненно играют? Вовсе нет, — продолжал он развивать явно наболевшую тему. — Но все знают, что, раз играет Рихтер, можно до одури колотить в ладоши без риска для своей репутации. Больше того, энтузиазм гарантирует тебе репутацию тонкого знатока и ценителя...

— Jezus Maria! Какой самоуверенный и безнадежный критикан! И почему ты всех подозреваешь во лжи? Скажи, зачем им надо все время лгать? Это только музыка, зачем надо лгать?

Вопрос озадачил его — он не знал, зачем лгать.

— Не знаю... возможно, они хотят казаться лучше, возможно привыкли лгать. Посмотри, эти лозунги, пропаганда — каждодневная привычная ложь... Ты знаешь, в последнее время я стал болезненно чувствительным ко лжи. Я чувствую ее мерзкий запах везде и повсюду...

В гардеробе, когда он помогал ей надеть пальто, ход его мысли неожиданно нарушился. Он держал ее серенькое, с меховым капюшоном пальто, она что-то делала у зеркала, как вдруг он увидел двух Анжелик сразу — тоненьких, стройных... — он стиснул пальцецо и уткнулся носом в мех; тонкий запах его отозвался предательской дрожью в ногах.

На узкие тротуары улицы Герцена валил первый неправдоподобный снег. Казалось, само одряхлевшее серое небо разваливается на куски. Мини-конец света, однако, забавлял и будоражил людей: они весело топтали павшее небо, а машины разгонялись на коротких участках и взвизгивали на перекрестках.

Илья говорил о том, что над сценой надо повесить экран, разбитый на ячейки — по одной от каждого кресла, — а кресла снабдить кнопками, нажимая которые, зритель может окрасить свою ячейку экрана в нужный цвет.

— Представляешь, в зале тихо, нет обычного грохота, а на экране вспыхивает яркая мозаика, своего рода световое продолжение концерта! Если музыка или исполнение не понравились, экран мрачен, если — так себе, сер, если превосходны, экран сияет... Никто не будет оглядываться на "ученого соседа", и оценка, следовательно, будет действительно объективной. А?

— Ты думаешь, легко давать оценку?

— Основное это музыка, произведение, поэтому оценка его должна быть связана с цветом, а качество исполнения — со светимостью, с яркостью... Компьютер будет обрабатывать информацию, как на спортивных соревнованиях... Однако, является ли тайна голосования

достаточным стимулом для искренности? Не будут ли они по-прежнему лицемерить и завышать оценку?

Он стегал себя перчатками по ноге и даже не заметил, как она, чтобы не затеряться во встречном потоке прохожих, продела свою руку ему под локоть. Каким невозможным он бывает порой — не видит и не слышит ее, — думала Анжелика, посматривая на него сбоку.

— Нет, я думаю, ответственность приучит их к честности и разовьет музыкальный вкус. А? — спросил он, сбивая на лету снежное перо.

— Так странно слушать тебя, — ответила она. — Ты такой категоричный, нетерпимый! Поднимаешь себя над "массой", хочешь исправлять ее... Откуда чувствуешь за собой право критиковать и учить других?

— Хм... в самом деле... Видишь ли, всю свою сознательную жизнь — вот уже лет десять — я критичен, придирчив в первую очередь к себе. Если бы ты только знала, как я сомневаюсь в себе, ненавижу за слабость, расхлябанность, лень... В течении многих лет я не позволял себе спать больше шести часов, казнию за каждый растрченный час; я слишком медленно, но все-таки совершенствуюсь — я чувствую это по своим школьным друзьям. А люди, вот эти, они останавливаются где-то в районе двадцати и остаются грубыми, необработанными полуфабрикатами...

— Але, может быть, они не имеют возможности, — Илья кисло поморщился, — или не хотят совершенствоваться, — возразала Анжелика. — Если ты мучаешь себя, проще пана, але как можешь заставлять других?!

— Как это не хотят совершенствоваться?! Значит, они просто не ощущают своего уродства — тем более мой долг указать им на него...

Вот она, атеистическая нетерпимость и воинственность! Ему неведомы жалость и всепрощение христианства. Переделать мир по собственному усмотрению! Он никогда не примирится с высшей властью над собой. Страшная, волюнтаристская философия! — думала Анжелика, между тем незаметно для себя прижимаясь к его руке.

— ...разве как честный человек я не о б я з а н ?! Что-то знать, понимать и умалчивать? Н-е-е-т!

— Але ты можешь ошибаться. Ты думаешь так, а другие — иначе. Сколько людей, столько мнений. Почему твое и твои рецепты самые правильные?

— Бог ты мой, да ведь я ничего не изобретаю. Тысячелетиями человечество вырабатывало понятие совершенного человека, и, я думаю, люди самых различных взглядов и вероисповеданий сойдутся на том, что, скажем, ум, воля, доброта, честность и что там еще являются признаками совершенства, а... Да что там говорить — Спиноза, Фихте, Кант, Вольтер, Конфуций, Ницше... — кого ни возьми, все сходится в вопросе личной и социальной этики.

Конечно, все до одного безбожники, — подумала Анжелика, но вслух спросила с легкой иронией, которой он, правда, не уловил:

— Можешь сказать, что это за этика?

— Ну и вопрос! — воскликнул, останавливаясь, Илья. — Хорошо, я попытаюсь ответить, насколько возможно вот так на ходу.

Он стоял и тер переносицу, потом сказал:

— Не ручаюсь за полноту, но во всяком случае... в личном плане необходимо: совершенствовать свой интеллект, стремиться к истине и бороться с ложью во всех ее проявлениях, довольствоваться минимумом физических благ, необходимых для поддержания хорошего здоровья, а — в общественном: помогать совершенствоваться другим. Другими словами, индивидуальная этика состоит в самосовершенствовании, а социальная — в способствовании совершенствованию Человечества.

— Чтобы подготовить Царство Божье?

— Ты опять про мир вечного блаженства — без теней, без грусти, мир, в котором нет не только страданий, но даже неудовлетворенных желаний? Но это не жизнь! Это смерть наркомана — с улыбкой на устах. Человечеству необходимо совершенствоваться, чтобы выжить в океане слепой и могущественной стихии, чтобы даровать жизнь будущим поколениям.

— А нам, живущим, какая награда? Прожить в муках короткую, как мгновение, жизнь и утешаться тем, что другие после нас будут по-прежнему страдать?

— Мучиться и творить, страдать и радоваться!

— Matka Boska, все как раньше! Только еще больше людей — на Марсе и других звездах... значит, увеличить число страдающих!.. Страшно представить такое будущее... И тоже, тем, кто умер, никакой перспективы?

— Нет, никакой, — холодно отрезал Илья. — Зато будущие будут жить дольше и счастливее нас, они не будут умирать насильственной смертью, мучиться от голода и делать тупую работу, они будут т в о р и т ь .

— Знаешь, как страдали великие творцы — Леонардо и Микель Анджело? Только из страданий вырастает большое искусство.

— Нет, они были, б ы л и счастливы, как никто другой!..

— Так, пусть будет так, — бесцветным голосом сказала Анжелика и, поеживаясь, добавила: — Пожалуйста, я замерзла, пора домой.

Илья спохватился, засуетился, поймал такси. Всю дорогу они молчали, усталые и опустошенные.



Двенадцать часов спустя Илья лежал на диване и глядел в потолок. Всю ночь он спорил и проснулся с ощущением полнейшей опустошенности. Не только не хотелось за что-либо браться, подташнивало от одной мысли о каком-либо занятии: такими бессмысленными и суетными были все они до единого. Даже музыки не хотелось, ни будоражащей, ни грустной. Хотелось... нет, ему ничего не хотелось, разве тишины и покоя. Поэтому он встал, запер входную и комнатную двери и снова улегся на диван — прямо в леденящие объятия мертвецкой апатии. Она навалилась своей вязкой тяжестью на его вялое податливое существо, выжимая последние жизненные соки, разжедая остатки воли. Растворилась цветная обманная дымка и обнажилась серая неприглядная сущность вещей: бессмысленность и нелепость его желаний и устремлений, вздорность и напыщенность его проповедей...

Час-другой он лежал в каком-то странном, тупом небытии — без цвета, без боли, без вкуса, без муки... пока не просочилось откуда-то и не растеклось по телу густое, ядовитое слово "ничтожество!" Он вздрогнул от боли и начал жить. Теперь, когда он начал ощущать боль, удары посыпались один за другим: "краснобай, позёр, бездарь, пустышка..." Но чем старательнее уничтожал он что-то в себе, тем явственнее возрождалось и крепло оно.

Под вечер схлынула, притупилась боль, и на очищенном пространстве возникли первые мысли: почему он так безнадежно, фатально одинок? Почему те, чьим мнением он дорожит, от которых он вправе ожидать поддержки, все до единого не понимают его? Почему он должен вечно спорить, бороться с ними? Даже с ними! Именно с ними! — с шефом, с другом, с учителем, с... человеком, который мог стать самым близким...

К ночи депрессия выродилась в тоску, в тягучую и сумрачную тоску по родственному существу. Впервые за двадцать четыре года душа его ощутила свою ущербную неполноту, свою заброшенность и человеческую ненужность.

Он не включал лампы и с терпением тяжелобольного следил за тем, как смыкаются над ним густые подвальные тени и разгораются полосы уличного фальшивого света. Иногда он ускользал из своей темницы в мягкий и ласковый мир видений, где кто-то прижимал его голову к груди и гладил, и шептал утешенья...

Сутки Илья не выходил из комнаты, не спускался обедать. Кто-то звонил, стучался — он не открывал. На вторые сутки он захотел есть, спустился в столовую, плотно пообедал и снова заперся в комнате. Впрочем, мысли его несколько окрепли. Неужели он так слаб и уязвим,

что нуждается в поддержке ж е н щ и н ы ? Неужели слабое, хрупкое существо способно укрепить его против мира? — спрашивало Я, и вопросы заключали в себе ответ и признаки выздоровления. Однако, понадобились еще сутки, чтобы пережевать его последние разговоры и придти к заключению: нет, он был прав. Он не нуждается в чем бы то ни было одобрении или поддержке. Он принимает, и весьма охотно, все упреки в невежестве, но он никогда не закрывал глаза и уши для Хиндемитов, Шенбергов и... как его там... Бердяевых.

Илья взял небольшую книжку в мягкой обложке: эмигрант, издана в Париже — любопытно, он никогда не читал эмигрантов... и вдруг поразительная мысль: "Россия пала жертвой своей необъятности"! Какая точная, ясная и верная формула! Ну, конечно — отсутствие сильных соседей на востоке позволяло бесконечно расширяться, подменять качественный рост количественным: зачем удобрять и холить почву, если можно распахать соседний, не истощенный участок?... Мысль Ильи обгоняла строчки и торжествовала, находя себе подтверждение. При этих пространствах и тех средствах связи изолированность была неизбежной, и управлять приходилось жестко, жестоко... Но были ведь и другие нации, практически неограниченные территориально — американцы, австралийцы? Нет, эти пришли со сложившимися национальными чертами...

Он проглотил книжку за несколько дней, если "проглотил" уместно для книжки в сто шестьдесят страниц. Он вообще читал медленно, а тут его буквально распирало от идей, примеров и аналогий. Он размышлял, записывал, конспектировал, и вдруг опомнился — надвигался "великий праздник", надо было звонить, писать открытки и письма... Четверть страны сидела на тысяче заседаний и собраний, тысячи ораторов сцепляли в строгой последовательности два десятка словосочетаний в успокоительную восточную мелодию... И ни один из них не скажет, что возвращение столицы в Москву — великая славянофильская идея, поворот от Запада к Востоку, заколоченное окно... Надо было срочно писать "поздравляю, желаю..." — здоровья, счастья в личной жизни? Нет, к черту, никогда! Он порывает с рабством казенных слов, казенных восторгов!

Оставалось договориться с Анжеликой насчет вечеринки у Андрея восьмого числа. Нет, ему не хотелось ее видеть, к тому же он, видимо, опоздал — шестое число! У них, разумеется, все расписано, и прекрасно — пусть помучается сомнениями; он хочет только покоя и одиночества...

Дозвониться было не так просто, и, когда он все-таки услышал ее "Аллоу, кто меня спрашивает?", разговор сам собой принял не то направление. Он вообще не умел т р е п а т ь с я по телефону, — ему всегда казалось, что у собеседника жарятся котлеты или сидит гость, поэтому он торопился кратко и точно изложить суть дела, чем

частенько ставил собеседников в тупик. "Боюсь, что теперь ничего нельзя изменить — завтра у нас концерт, после него банкет для участников самодеятельности, а послезавтра мы идем в университет Лумумбы", — ответила Анжелика на его предложение, и он неожиданно для себя начал уговаривать ее отказаться от приглашения. Анжелика мягко, но решительно отклонила его попытку и в свою очередь пообещала билет на праздничный концерт. "Спасибо, я достану", — сухо сказал он и пожелал им веселых праздников. Положив трубку, каждый досадовал на себя и сердился на другого.

В сущности, она могла бы отказаться от вечера в университете, но дьявол нашептывал, что делать этого не стоит. Пусть будет внимательнее. Зачем он заставил ждать своего звонка?..

Итак, один, — попробовал он трагическую ноту, но депрессия его кончилась, и мысль сделала героический поворот: — "В стороне от базара и славы жили издавна изобретатели новых ценностей; со своей любовью и своим созиданием иди в уединение, и только позднее, прихрамывая, последует за тобой справедливость"; они будут веселиться, а он думать об истоках и смысле революции.

Нельзя не отметить, что празднование пятидесятилетия советской власти в МГУ весьма стимулировало подобные размышления.

Оно поразило бы каждого, кто встретил в его стенах хотя бы один, самый заурядный юбилей — сорок седьмой, или восьмой (сорок девятого не было, он превратился в предпятидесятилетний). Если в рядовые праздники, — рассуждали студенты, — здесь можно было потанцевать под индонезийский, венгерский и даже африканский ансамбли, увидеть последний крик моды, завезенный африканским миссионером прямо из Парижа, купить западногерманские сигареты, выпить чешского пива, посмотреть конкурс самодеятельности из ста стран мира, то в полувековой юбилей!.. Да что там говорить — полстолетия нового летоисчисления! Светлый праздник всего прогрессивного человечества!.. Воображение их срывалось с цепи всех законов сохранения сразу и рисовало... если и не бал у сатаны, то, во всяком случае, что-то т а к о е !..

Через все четыре двери главного входа шествуют с радостной улыбкой на лицах профессора, в вестибюле их встречают взволнованные студенты и братаются с ними, фонтан у входа фонтанирует шампанским, в воздухе парят дельтапланеристы, сигающие со шпилья (мемориал неизвестного зека), в фойе актового зала наяривают Битлз, а в клубной части — Роллинг Стоунз, побратавшиеся студенты под руку с профессорами идут в профессорскую столовую — ба! да это шикарный ночной бар со стриптизом филологинь, а в диетической (кормят не здесь — внизу, в студенческих, притом, разумеется, бесплатно, с неограниченной добавкой) — зеленое сукно, приглушенный Армстронг, одним словом — Монте Карло! В аудитории №1 конкурс

порно-фильмов, в аудитории №2 — фильмов ужаса, в клубе — Лебединое Озеро из Большого (зал, правда, пустой), а в актовом зале — костюмированный бал... — у входа человек с ружьем, костюмы революционные, есть и знакомые лица, но мало, преобладает маска "старый большевик" (по пятой редакции истории КПСС), но и здесь народу не густо, несмотря на огненный темперамент Краснознаменного имени Александра. Главное же, г л а в н о е — у входа в женскую зону нет вахтеров... вообще нет н и о д н о г о вахтера!... открыты все двери...

На этом фантазия студентов иссякала, достигнув недозволенных высот, в этом пункте, столкнувшись с суровой действительностью, она потерпела самое постыдное, унижительное фиаско. Еще шестого в МГУ было введено своего рода осадное положение: все внутренние переходы перекрыты, контроль на проходных удвоен, повсюду дежурили дружинники и царил неестественный порядок. Вечером, когда сотни прожекторов вокруг здания осветили его, в высотной части не светило ни одного окна, тревожная тишина вползла и расположилась в пустом, брошенном небоскребе. Попасть из одной зоны в другую теперь можно было только через улицу, поэтому простое посещение магазина или столовой (все прочее — сберкассы, аптеки, киоски были закрыты) вдруг превращалось в полуторачасовую экспедицию. Поскольку у студентов не было холодильников, а столовые перешли на столь усложненный график, что его никому не удавалось усвоить, студенты стали больше гулять и меньше есть. Большинство обитателей здания, однако, не смогло оценить преимуществ нового образа жизни и разбежалось по Москве. Откуда-то снизу повеяло леденящим слухом о каких-то листовках, котрыми в противном случае могли бы с тридцать второго этажа злоумышленники забросать Москву и испортить светлый праздник всего прогрессивного человечества...

Зато снаружи, на большом удалении, Храм Науки светился как никогда — настоящей хрустальной мечтой юного поколения.

Илья пошел на второе отделение концерта, пренебрегши тем самым ораторией "Партия наш рулевой" в исполнении сводного университетского хора, египетской интерпретацией поэмы "Хорошо", ангольской песней протеста и вьетнамским танцем с бамбуковыми шестами. Однако и второе отделение продолжалось в том же духе. Кругом откровенно скучали. Поэтому, когда две красивые девушки с гитарами подошли к микрофонам, а в глубине сцены расположились с аппаратурой "бело-розовые", зал возбужденно зааплодировал. Пока настраивали гитары, деловито переговариваясь, публика стихла и притаилась. Наконец, одна из них, это была Барбара — он узнал ее, несмотря на совершенно одинаковые одежду и прически — улыбнулась мечтательно и без сопровождения пропела: "Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет". Пропела высоко, медленно, невероятно растянув последнее "ё-о-т", сделала огромную, изнурительную паузу, глубоко вздохнула и еще мечтательнее пропела: "лучше нету той

минуты, когда милый мой придет". При этом Анжелика тронула несколько первых аккордов. Казалось, они не могут решиться, сомневаются, стоит ли продолжать. Зал не смел шелохнуться. Взглянув на улыбающуюся в себя сестру, Барбара, держась за щеку и тихонько покачиваясь, призналась: "как увижу, как услышу, все во мне заговорит", и в тот момент, когда отчаянное "ну, давай же!" едва не вырвалось из рядов, махнула рукой... оркестр взорвался и обрушился на истомленных зрителей всей своей электронной мощью. Иногда вступала Анжелика, чтобы взвинтить конец фразы, иногда не выдерживал и рассыпался нервной дробью ударник, соперничали саксофон и гитара-соло, но властвовал над всем высокий замодулированный голос Барбары.

Илья изнывал от восторга: русская песня и какой soul! Самым постыднейшим образом он к о л о т и л в ладоши и разве что не топал и не свистел. Они исполнили еще две вещи — польскую и английскую. Зал неистовал, кто-то сказал рядом с Ильей: "девки в порядке!", он вознамерился вскинуться, но тут же опомнился — разве не своеобразный комплимент? Кто-то спрашивал, кто-то авторитетно врал: "чешки с филологического", он не выдержал и поправил, тот отмахнулся: "не надо спорить, моя знакомая с ними в одной группе учится". Он вскипел от несправедливости, однако смолчал и, уязвленный, распираемый тайной, начал выбираться. Его пропускали, не скрывая своего раздражения, ругая про себя "дубиной". В дверях он обернулся: сестры, счастливые и благодарные, приветствовали публику. Мелькнула мысль: пойти к ним за кулисы? Но тут же он отбросил ее, представив, как он смешается с толпой поклонников..., и пошел к себе.

Позвонил Андрей, спросил, чем занимается, пригласил к себе на "забавную компашку". Илья отказался, сказал, что увлекся Бердяевым. Андрей поспешно перебил его: "Тогда приезжай завтра днем, поболтаем; наивность Ильи выходила за безопасные рамки.

В тот же день Илья сделал в дневнике запись, которая начиналась так: "К своему пятидесятилетию здание империи имело чрезвычайно помпезный вид. Оно возвышалось над темным миром и выглядело, в особенности на большом расстоянии, хрустальной мечтой юных народов. Стоило, однако, подойти поближе, и вы замечали, что светится оно фальшивым светом спрятанных в кустах прожекторов, что окна его мертвы, а внутри не слышно смеха, возгласов, музыки — вообще праздничного оживления..." Он продолжал развивать аналогию, однако общая краткая характеристика ситуации в стране никак не давалась ему: ну, живут, работают, не понимают и плевать им?

А что Анжелика? О, она закружилась в гораздо большей степени, чем ожидала и почему-то считала для себя полезным. Концерт кончился их выступлением, но им не давали уйти, за кулисы набилась пуб-

лика, приглашали, просили и давали телефоны, дарили цветы, сыпали комплименты... А Илья не шел, хотя она заметила его в зале, когда он стоя аплодировал, и готовилась пошутить на этот счет. Их пригласили выступить на телевидении в молодежной программе, а напористый режиссер в кожаном пиджаке вырвал обещание сняться в эпизодах какого-то фильма. Потом был банкет в танц-зале. Его зеркальные стены неприятно действовали на Анжелику — мир казался чересчур огромным, пустым и однообразным. Впрочем, кроме бесшабашной самодеятельной братии тут оказались имеющие не совсем понятное отношение "наши дорогие гости из Милана и Турина", и банкет получился достаточно сумасшедшим, чтобы занять в воспоминаниях отведенное ему авансом место. Она кокетничала на ужасном французском с секретарем молодежной организации Милана, изображала с сестрой умирающих лебедей...

Восьмого они слушали "потрясающий, настоящий" негритянский джаз и танцевали под индонезийскую бит-группу. Большой, сверхделикатный Джеймс из Ганы весь вечер опекал ее и был главным партнером. Он же отвез их на такси домой. Смертельно усталые, они цеплялись, дурачась, за Карела, и вдруг странное предчувствие укололо ее: он сидит у них, поднимется навстречу, начнет подшучивать над собой...



Только во второй половине ноября Илья привез Карела и сестер Стешиньских к Андрею. Дверь открыла Инна Грейцер, миниатюрная еврейка лет двадцати пяти. Не выразив ни радости, ни удивления (экое диво — поляки!) она поздоровалась, показала, куда повесить одежду и исчезла в комнате так быстро, что даже сестры едва успели отметить ее некрасивое лицо и угловатую фигуру, не лишенную, впрочем, своеобразной мальчишеской грации. Потом на крик ее: "Ну иди же, Андрей!" явился красивый, бледный бородач, вытирая о джинсы руки, и повел их в комнату. Там, кроме Инны, были Игорь и рослый светло-кудрявый парень. "Давай, Илья, представь людей, ты тут знаешь всех, кроме Володи", — сказал Андрей. "Ладно, — согласился Илья и, коварно улыбнувшись, выдвинулся вперед. — Прошу любить и жаловать: это Барбара, нет, Анжелика, впрочем, я был прав, это все-таки Барбара, а это Анжелика... Но, если я и ошибся, для вас пока не имеет особого значения. Это, без всякого сомнения, Карел. Все из Речи Посполитой, все филологи. Русская поэтесса Инна, у которой Бэлла Ахмадулина мечтает брать уроки изящной словесности. Игорь... Андрей, лучший из здравствующих русских художников и..." "Володя из "Современника", — подсказал Андрей. "А еще Илья Снегин — болтун — находка для врага", — добавила Барбара, и все рассмеялись.

Андрей тут же заторопился на кухню, и Анжелика вызвалась ему помочь. Барбара, Карел и Володя под предводительством Инны принялись осматривать мастерскую, а Илья подсел к Игорю и затеял разговор о Бердяеве. С пристрастием первооткрывателя он выводил русские национальные черты из географического и климатического факторов: лень и склонность к аврамам объяснялись слишком длинной зимой и коротким летом, пьянство — холодами и вынужденным бездельем бесконечной зимой, пресловутая широта характера и экстенсивный стиль ведения хозяйства — беспредельными пространствами, доброта и неосновательность — тленностью деревянного хозяйства... Игорь заметил, что влияние географического фактора на формирование этнических различий было глубоко исследовано в XVIII веке Гредером, разделялось Кантом и русскими историками прошлого века, вообще — знаменует научный подход к истории. Сейчас несколько устарел (Илья отчаянно покраснел), так как не объясняет, по-видимому, русскую подозрительность, первобытную жестокость, органическую ненависть к иностранцам, шовинизм и полное отсутствие инстинкта свободы... Карамзин, Татищев, Соловьев, Ключевский... Он подавлял своей эрудицией, говорил остро, зло — в общем, довольно убедительно, но что-то щемило, восставало, противилось в душе Ильи. Он не хотел, не

м о г согласиться с безысходностью, с отсутствием какой-либо надежды, перспективы, и мозг его лихорадочно искал ответ, искал выход.

— Со многим нельзя не согласиться, но характер народа продолжает меняться, — возразил он. — Сама география меняется, так сказать: пространство сокращается благодаря средствам связи, зимы, образно говоря, стали короче и теплее, во всяком случае, не сказываются на производстве...

— Ни черта не меняется! — грубо перебил Игорь. — Вы читали Чаадаева? А маркиза де Кюстина? Почитайте. Сто тридцать лет назад они писали о с о в р е м е н н о й России! Не было паровозов, самолетов и телевизоров, но все та же гнетущая атмосфера застоя, апатии и страха...

Илья впервые как следует присмотрелся к Игорю. Для Орлова у него было удивительно смуглое, скуластое, не правильное лицо. И без того маленькие глаза постоянно шурились, в осанке, в одежде чувствовалось глубокое безразличие к своему внешнему виду. Он никогда не смотрел на собеседника, но в этом была не застенчивость, а внутренняя углубленность и, пожалуй, — горьковатое высокомерие: "все равно ведь ты не поймешь меня!" — ...Да, внешние черты эпохи изменились, нельзя не измениться, ежели весь мир изменился. Но суть, дух и дистанция — все те же! На Западе — динамика, перемены, борьба партий, здесь — застой, изоляция, враждебность ко всему иностранному, непомерные претензии учить других, бряцанье оружием, все так же топим в крови непокорных... все так же на целую страну десяток честных — их объявляют сумасшедшими и уничтожают, а масса все так же жрет и размножается.

Игорь внезапно умолк и окончательно отвернулся. Он смотрел туда, где раздавались смех и восклицания Барбары, но ясно было, что они нисколько не привлекали его внимания. "Ему плевать на красивых женщин, на свою внешность, на красивые вещи, — подумал Илья, — даже музыка, которую извлекает его прекрасное изделие, не трогает, по-видимому, его. "Одна, но пламенная страсть" сжигает его".

— Мне кажется, — сказал Илья, — что вы сгущаете краски. Этот народ г р а м о т е н, он читает и ходит в кино, он слушает радио и смотрит теле... — Илья осекся, ибо Игорь повернулся, и в щелках его сверкнуло, "в самом деле, ч т о они читают, ч т о смотрят!" — И на реформы грех жаловаться в последние десять-двенадцать лет, и оттепель, в конце концов...

— Когда я слышу слово оттепель, мне хочется истерично смеяться, — заерзал на стуле Игорь. — Давно уже мороз, вьюга воет, а они мечтают об оттепели. Неужели вы все не видите, как процесс сталинизации набирает силу, идет уже полным ходом?

— Странно, впрочем, может быть... — сказал Илья, вспомнив праздничный университет. — Тем не менее, я полагаю, есть более важ-

ные и объективные обстоятельства, против которых бессильны субъективные глупость или тщеславие. Мы покончили с натуральным хозяйством, вступили в индустриальную эру, мы втянуты в мировой процесс производства, в НТР. Теперь мы не изолированы огромными пространствами от остального мира, более того — мы тесно связаны с мировой экономикой, поэтому законы и требования ее неизбежно приведут к перестройке и нашей экономики. Возьмите новую экономическую реформу: им пришлось предоставить директорам предприятий большую свободу действий, от лозунгов и "надо!" обратиться к "материальному стимулированию", и это только начало. Увидите, в ближайшие годы последуют демократические реформы, ибо без них невозможно реализовать — экономическую.

— И тогда... — Игорь потер руки и хитро улыбнулся, — возникнет свободная печать, расцветет оппозиция, коммунистов покритикуют, и, устыдившись, они уступят власть технократам. Да? Вначале оттепель, а затем мы как по маслу соскальзываем, к о н в е р г и р у е м с я в плюралистическое, постиндустриальное общество? Коммунисты уходят в оппозицию и по всем демократическим правилам борются за каждого избирателя. Happy end!

Илья покраснел и насупился. В сущности, он так и думал.

— Все хорошо, все прекрасно... одна только неувязочка, — продолжал Игорь, ядовито улыбаясь, — коммунисты давно-о-о, еще, когда не только нас, родителей на свете не было, поняли, что экономика — это власть, и н и к о м у — ни кулаку, ни непману, ни технократу, ни тем более иностранцам — ее уступать нельзя. Поэтому вначале они забрали ее полностью в свои руки, а затем сделали замкнутой, независимой от внешних рынков и превратностей. Смотрите, производительность труда в три-четыре раза ниже европейского уровня, половина предприятий нерентабельна... а система держится, как по-вашему, почему? Да потому, что Россия никогда не была так замкнута, как нынче, "в стороне от мировых событий" — словами Чаадаева.

В этом пункте Илья чувствовал слабину в позиции Игоря.

— Нет, нет и нет! — возражал он. — Ни экономически, ни в культурном отношении наша система не замкнута. Русский мужик времен Николая I собственного барина годами не видел, а сейчас сельский парень записывает Битлз и сам на электрогитаре учится... Сейчас Россия стянулась до размеров московской губернии, до любого конца можно добраться за сутки-двое... Моды, стиль жизни передаются очень быстро, притом — западные...

Они не заметили, как стол усилиями Анжелики и Андрея был накрыт. Надо сказать, скудость сервировки с лихвой компенсировалась разнообразием бутербродов. В искусстве приготовления бутербродов Анжелике, пожалуй, не было равных, она изобретала (или

знала) самые неожиданные, пикантные сочетания, и Андрей охотно подчинился ее диктату.

Только взглянув на Андрея, она прониклась симпатией и доверием к нему и без всяких колебаний обращалась на "ты". Разговор, как всегда в таких случаях, начался с общих знакомых — Анжелика попросила его рассказать о знакомстве с Ильей. Андрей рассказал о выставке в МГУ, о дискуссии, о молодых технарях: "они терпеть не могли соцреализма, их привлекала сугубо внешняя новизна — разные там фиолетовые деревья и зеленые облака — и вместе с тем они были всецело детьми соцреализма: терзали меня вопросами о том, какую идею я вложил в тот или иной образ; я отвечал, что мыслю не идеями и категориями, а образами, и этого они не могли понять".

— А Ильи?

— Он был главным и самым страстным апологетом логики, смысла... Но что меня поразило — он отметил две работы из трех, которые я и сам считал приличными. В нем странно сочетается природная чувствительность и убийственная аналитичность. Иногда после его анализа мне хочется разорвать работу, я ненавижу его, суждения кажутся топорными и позитивистски-варварскими. Он пропадает на месяц-два, приходят другие, все, конечно, высказываются и некоторые — очень профессионально, а мне не хватает Ильи — я не могу того, что он.

Андрей намазывал и подавал ей ломтики хлеба. Очередной повис в воздухе — она засмотрелась в окно, но тут же спохватилась:

— Хватит, другие будем поджаривать с сыром. Правда, удивительно, когда дружат совсем разные люди?..

— Значит, они где-то соприкасаются... Такие или потоньше?

— Так, хорошо. Но, это страшно, когда разные соприкасаются, как думаешь?

— Страшно, если в ы н у ж д е н ы соприкасаться, — улыбнулся Андрей и, взяв с подоконника сигарету, затянулся, — а если соприкосновение внутреннее, если тянет, то о чем же еще мечтать? Посмотри на нас — он собранный, аккуратный, организованный, целеустремленный, я — типичный шалопай, — Анжелика укоризненно взглянула на него, — я верующий, он атеист. Он фанатик прогресса, я — "старины: земли и лопаты"... а вот дружим уже пять лет.

Перетасив с кухни тарелки с бутербродами, поставив две бутылки сухого, бутылку полусладкого (для дам и Ильи) и бутылку водки, Андрей придвинул три стула, две табуретки, расставил чудесные, голубого хрусталя, рюмки и начал звать всех за стол. "Экскурсанты", однако, не шли, застряв у его последнего приобретения — большой иконы "Отец, сын и святой дух". Более того, к ним присоединились и Игорь с Ильей, которых удалось поднять. Икона была красивой, хорошо сохранилась, только глаза Отца и Сына зияли страшными провалами. Барбара заметила, что можно, наверное, реставрировать, Игорь

нервно дернул плечами: "Дичь, варварство!", а Илья сказал, что вырванные глаза эти очень символичны. При этом Андрей быстро взглянул на Анжелику и затем пояснил для всех:

— Девятнадцатый век. Плохое, светское письмо, эклектика: тени, полутени, с элементами канонического письма, рука Христа на книге не живая, не символическая... короче, художественной ценности не представляет. А вот п у с т ы е г л а з н и ц ы... тут чувствуется т а л а н т л и в а я рука соавтора.

— Пришел как-то пьяный Ваня домой, побил жену и детей под горячую руку, глядь, а боженька смотрит — ну и взял ножичек в сердцах... Вот тебе и соавтор, — красивым, обкатанным баритоном изложил свою версию Володя.

— Может быть, дети баловались? — спросила Анжелика.

— Какие там дети! — хмуро возразил Игорь. — Комсомольцы надругались над "суеверием".

— Не думаю, они бы скорее изрубили, сожгли, — сказал Илья.

— Да, уничтожить рука не поднялась — больно красива, — усмехнулся в бороду Андрей. — Принес кто-то из церкви, поставил у себя, а глаза мешают.

— Да, пьянствовать мешают, — подсказала Барбара.

— Пить что! Не сказано ведь: "Не пей!". К р а с т ь не могли! А как тут проживешь, ежели не красть? — продолжал Андрей. — Принесит домой ворованное... насчет власти совесть спокойна — "все наше", а по Господу — у к р а л! Украл, и все тут, как не крути. Ну, мучает совесть, душа болит. В один прекрасный день не выдерживает душа Ивана, и по пьянке...

— Думаешь, все-таки по пьянке? — перебил друга Илья. — Мне кажется, что Иван вообще никогда в Бога не верил.

— Почему же выколол, если не верил? — гнул свое Андрей.

— Не понимаю; потому и выколол, что не верил в его существование и не боялся... — Илья пожал плечами.

— Вот тут тебя и подвела твоя логика! — явно торжествуя, воскликнул Андрей. — Ежели Бога нет, ежели не смотрит, и бояться некого, так зачем глаза выковыривать?! Нет, старик, он б о и т с я! Они глядят на него из другого мира и травят душу!

Его внимательно слушали — человек явно развивал наболевшую тему.

— Не так себе, не с кандочка он решился. Годами копилось. Сколько греха на душу взял: поместий разграбил, церковей и храмов разгромил... Свою власть наконец построил, и у нее воровать пришлось! Такую бездну греха не замолишь. И тогда он решился на последний грех: мол, на том свете, я знаю, мне ничего не светит, так хоть на э т о м не мешай, не трави душу, дай погулять свободно.

Все-таки, если верил, — Анжелика подала голос, — должен был думать, что Господь может покарать на месте.

— Ну, хорошо, глаза можно в порыве, в ослеплении, — возражал Илья, — но церкви ломать! Ведь это работенка — сломать тысячи церквей! Планомерная, сознательная работа на многие годы с участием сотен тысяч людей. Короче, он никогда не нуждался в церквях и при первой возможности пустил их на кирпичи.

Вдруг горячо вмешалась Инна.

— Нет, Илья, ты невозможный человек! — воскликнула она. — "Кирпичи, необходимость..." Что за вульгарно-учительский подход ко всему! Шла беспрецедентная борьба и д е й! И д е и — движущая сила истории, а не практическая необходимость, или целесообразность. Идеям православия, царя и отечества противопоставили атеизм, республику и космополитизм. Идею монархии зачеркнули расстрелом царской семьи. Идею отечества подменили идеей мировой революции и интернационала. Но что было делать с верой, чем заменить? Н е ч е м! Вместо вечной жизни и вечного блаженства — короткое неверное счастье здесь? Но и оно, как скоро оказалось, — не для живущих, а для будущих поколений. Вместо великого и вечного предлагать н и ч т о! Очень скоро осознав свое банкротство, они принялись в ярости уничтожать атрибуты веры, иконы, храмы и само духовенство...

— Не атрибуты, Инночка, — с в я т ы н и! — перебил девушку Игорь. — Во всяком случае, у других народов это принято считать национальными святынями: изображения богов, храмы, в которых они обитают, и кладбища, где покоятся предки. Я спрашиваю: если у этого народа были святыни, как он мог позволить иноверцам и собственным проходимцам разрушить их?! Всего через несколько лет после революции! Спросите поляков, они за двадцать лет советской власти разрушили хотя бы один костел? А ведь у них, помимо прочего, еще и вñешний "стимул" был.

Насупленный, ни на кого не глядя, Игорь повернулся и пошел к столу, Инна возмущенно фыркнула, а Илья ревниво подумал, почему же она не взрывается, почему не спорит Андрей, ведь сказать т а к о е... ему, Илье, они бы не простили... Володя хохотнул: "Уел богоборцев!"

— Мне кажется, панове, — в неловкой тишине раздался голос поляка, — что вы все отчасти правы, что истина, как говорят, лежит посредине. Русский мужик все-таки верил, но верил не в высшую идею, не в Христа-спасителя, а в существование потусторонних сил, добрых и злых. Еще, возможно, он верил в рай и ад, но рай не для себя лично, а для святых. На себя он махнул рукой. Домовые, водяные, русалки, ведьмы, упыри... были реальным содержанием его жизни и подменяли настоящее религиозное сознание. И сам Христос воспринимался не как мученик и спаситель, а скорее как жандарм, вечный укор своей совести. Глаза Господа для него — не путь познания божественной благодати, не окно в божественный мир, а глазок в камеру его земной жизни. Но он все-таки боялся его до тех пор, пока ваша атеистическая

интеллигенция не научила его не бояться. И тогда он взял нож и... — все замерли, Анжелика впилась Илье в руку, — и заключил союз с "нечистой силой".

Первой отреагировала Анжелика: "Ты понимаешь, что говоришь: целый народ заключил союз?!" Карел усмехнулся: "Разве ты думаешь иначе?" Анжелика зашептала что-то сестре, и та, обращаясь к Андрею, сказала: "Пожалуйста, дайте мне кусочек хлеба, иначе не переживу очередного оратора". Лица посветлели. Володя бросился к столу, вернулся с бутербродом и подал его Барбаре со словами: "Подкрепляйтесь, сейчас выступит Инна". Инна фыркнула и рассмеялась, за ней другие.



За столом Володя всецело узурпировал власть. Шутя, балагурия, он заставил всех выпить по рюмке "столичной", произносил один за другим тосты на английский, русский и грузинский манер, рассказывал анекдоты и показывал сценки из вступительных экзаменов в театральное училище. Особенно позабавила всех сценка: бабка приехала в город, ходит по магазинам, а деньги у нее в чулке под ворохом юбок. Карел сыпал афоризмами Станислава Ежи Леца.

Илья, который, не без некоторого коварного вмешательства Провидения, оказался по правую руку Анжелики, касался ее руки и, наклоняясь, спрашивал, что ей подать или налить. Она улыбалась, делала страшное лицо и как великую тайну сообщала: "грибы, пожалуйста" или "еще капельку Хванчкары, если можно". Игра забавляла его. Он подкладывал на бутерброд еще один кружок колбасы и, накрыв салфеткой, "незаметно" подсовывал ей.

Инна прочла "Реквием" Ахматовой, Володя пел песни Окуджавы и Галича, потом танцевали. Барбара вызвалась учить Илью рок-н-роллу, и он оказался способным учеником — вскоре у них начало получаться. Илья смелел, все больше входил во вкус и решительно встречал скептическую улыбку Инны. Однако, когда Барбару сменила сестра, с ним что-то случилось — он начал сбиваться с ритма, куда-то исчезли ловкость и гибкость... Злясь и негодуя, он пытался заставить себя... и наконец сдался: остановился и, густо покраснев, сказал: "Извини меня, не могу — таким чурбаном себя чувствую, что самому противно." Она пыталась успокоить, предложила начать сначала и попробовала направлять его, но это лишь ухудшило дело — он окончательно смешался и предложил отдохнуть. Они смотрели блестящий, азартный рок Карела с Барбарой, и он мучительно завидовал поляку, потом таяли, томились под "livin' blues"...

Наконец, Анжелика взяла гитару, и Андрей выключил проигрыватель. "Я тебе ничего не скажу, — тихонько запела она, пересыпая слова грустными аккордами, — и тебя не встревожу ничуть..." Илья не знал слов романса, и они звучали для него трогательным полупризнанием. Как волновали его простые слова, ясные, хрупкие образы: "целый день спят ночные цветы, но лишь солнце за рошу зайдет, раскрываются тихо листья, и я слышу, как сердце цветет"! Его тянуло петь — отвечать, но вмешался Володя и, разумеется, все испортил. Он ревниво вслушивался в его самоуверенный, убийственный для нюансов голос, в попытки сестер смягчить, сгладить шероховатости и вдруг услышал еще один голос. Илья обернулся: в углу, закрыв лицо ладонью, пел Игорь! Он наострил на него ухо: какое искреннее страда-

ние в этой затянутой надорванной фразе: "ты будешь вечно... в душе измученной моей"! Ему вспомнилось и захотелось спеть "Не пробуждай воспоминаний". Он дождался паузы и начал без аккомпанимента, Анжелика тут же подобрала аккорды и даже стала подхватывать рефрен высоко и нежно...

Когда то ли умерли, то ли покинули этот мир последние звуки, стало невыносимо грустно, и тогда Володя встал, неверной походкой подошел к двери, одернул как-то вдруг нелепо перекосившийся пиджак и нажал воображаемую кнопку звонка. Во время небольшой паузы он широким жестом "стряхнул со штанов пыль" и коряво пригладил волосы. При этом его качнуло, но он устоял, вцепившись в косяк.

— Маш... пусти, это я, Коля, — сказал он, тщательно выговаривая слова.

Помолчал, прислушиваясь, и обиженно возразил:

— П-чему нал-кался? Ч-ток выпил с другом... детства... Имею право!

Это была его первая и последняя попытка спасти достоинство. Во время длительной паузы он на глазах сникал, сутулился и превращался в жалкого несчастного человека.

— Маш, а Ма-а-аш, пусти, честное слово... последний раз, — уговаривал он, широко расставив ноги и всем телом наваливаясь на дверь. После очередной паузы в голосе его послышалось всхлипывание:

— А я не шумлю... я тихо...

Внезапно какая-то мысль промелькнула в его голове: он подбочился и тверже произнес: "Позови Катю!", затем строго, назидательно спросил:

— Кать, а Кать, ты уроки сы-де-ла-ла?.. Молодец! Доцка, открой папке дверь... Мамка не велит?..

Он уже опять сник, съежился и, припав к двери, всхлипывая, невнятно забормотал:

— Кать, доцка, ты не слушай... открой папке дверь... открой дверь, он весь обосранный стоит...

Все взорвались хохотом. Барбара взвизгивала, всплескивала рукам и прижимала их к груди. Карел хохотал, откинувшись на спинку стула и задрвав мощный подбородок. Инна покусывала губы и прыскала смехом. Андрей посмеивался, глядя на гостей, только Игорь как-то странно и хмурился, и улыбался одновременно.

А как заразительно смеялась Анжелика: вздрагивая, захлебываясь; глаза ее блестили в слезах, а лицо умоляло: "ну разве можно так смешить!" Илье до боли, до крика захотелось стиснуть ее и целовать этот чудесный рот, белые камушки зубов... Увидев, как потемнело его лицо, она в безотчетном порыве стиснула его кисть, и он слепо, бездумно, повинуясь неведомой силе, прижался губами к ее запястью...

Анжелика вздрогнула. Оборванный, быстро замер смех. Растаяла улыбка, только в глазах остался удивленный и радостный блеск. Тихонько высвобождая руку, она едва удержалась от желания погладить его светлые вихры, в особенности — забавный хохолок там, где терялась тропинка пробора.

— Прошу тебя, — не сказала, в ы д о х н у л а она, — пожалуйста, контролируйся — все смотрят!

Где-то, что-то ослабло в груди его, сердце рванулось и застучало свободней. Ах, зачем она выдала себя! Сколько надежды в этой мольбе! Не в силах поднять голову, не смея взглянуть на нее, он подпер голову рукой и закрыл всю верхнюю часть лица.

Эта сценка не ускользнула от Барбары. Она улыбнулась и хотела поделиться с Карелом, но передумала — другая мысль завладела ею. В самом поцелуе не было ровным счетом ничего т а к о г о, но в том, как... Барбара различала десятки оттенков чувств — от восхищения и восторга до холодной учтивости и насмешки — в том, к а к целовали руку. В наклоне головы и спины, в касании губ и пальцев, в глазах открытых, полузакрытых, а особенно — закрытых, в улыбке и словах... она читала не только отношение к себе и к женщинам вообще, не только желание и намерение, но и характер кавалера и что из этого всего может получиться.

Насчет Ильи у нее не было сомнений — в его отрешенности, закрытых глазах и прильнувших губах были сломленность и обожание. Но что творится с сестрой? Как медленно она высвободила руку, с какой нежностью смотрела на склонившуюся голову "москаля и безбожника"! Неужели дело зашло столь далеко, что у нее не осталось времени позлорадствовать над сестрой, которая никогда не делилась своими тайнами, но не упускала случая пройтись на счет ее, Барбары, увлечений? Конечно, она знала про гимназическую любовь Анжелики к чудаковатому учителю польской литературы и про известного драматического актера на втором курсе... Странно, ведь ему, наверное, под сорок, и чтобы уж очень красивый... в конце концов, ум — не самое главное (вокруг папы столько умных кретинов!) ... ах, да — еще "сильная личность", если в актере может быть какая-нибудь личность вообще... А что, Илья — тоже сильная личность, этот смущающийся милашка? Ведь совсем еще мальчик, хоть и старше Карела на год. Да, он умища, сентиментальный, музыкальный... у него есть будущее, но... Эти огромные "но"! Она играет с огнем... а, может быть, у ж е д о и г р а л а с ь?

Сидя в любимом кресле Ильи и пуская дымные кольца, она забавлялась тем, что вставляла их головы в призрачную рамку, которая тут же рассеивалась. Вскоре она придумала гениальный по смелости и простоте план спасения сестры. Она увлечет Илью! Она даст ему все, что может дать сестра, и чуточку сверх того... Анжелика чересчур холодна,

чересчур нетерпима в своей навязчивой набожности... Всем должно пойти на пользу, особенно Анжелике. Она, конечно, позлится, но, когда узнает, на что сестра пошла ради нее... да и Карелу будет полезно — ему пора наконец решить, готов ли он принимать ее такой, какова она есть, или... Барбара загасила, сломав, почти целую сигарету и пошла в другую комнату, где Инна читала свои стихи и были все, кроме "этих двух".

Теперь, когда на них никто не смотрел, Илья теснее прижал Анжелику, она пружинилась, но сопротивление ее слабело. Он переводил, о чем поет Нэт Кин Колл, касаясь щекой ее волос, вдыхая их опиумный запах... Пластинка кончилась, но он не мог оставить ее руку и перевернуть или заменить ее. "Пойдем, я покажу свою любимую картину", — шепнул он и потянул ее вглубь мастерской. Она рассматривала "Блаженство", а он, стоя сзади, что-то говорил, повторяя как автомат обдуманное и сказанное прежде Андрею... Наконец, одурманенный, ослабевший от внутренней борьбы, он сжал ее плечи и коснулся губами шеи. Она встрепенулась, он сжал сильнее и прошептал: "Прости меня, я чувствую... я не смею... но теряю власть над собой...". Она сделала слабую попытку высвободиться, но он обнял, прижал к себе, снова поцеловал, пьяный от блаженства и тревоги... Затем она выскользнула, так ни слова и не сказав.

Он долго еще оставался в комнате, пытаясь понять, что произошло. Что она подумала, почему она ничего не сказала, как ему теперь держаться, как она будет смотреть на него, как ему смотреть ей в лицо и, наконец, не ушла ли она? Последний вопрос побудил Илью присоединиться ко всем. Нет, она не ушла, но головы не подняла и на него не взглянула.

Подвинувшись, Барбара освободила ему место возле себя.

— Ну, как твои антиномии, разрешаются? — спросила она, пахнув на него дымом и насмешкой.

— Н-да, разрешаются! — горько усмехнулся он. — Я их пока что даже понять не могу.

— Что так?

— Да... знаешь, мой шеф спросил меня на выпускном банкете, какую проблему я считаю самой сложной. Я что-то назвал из теоретической физики, а он покачал головой и говорит, что самое сложное — определить, что в любой заданный момент хочет женщина.

— Не огорчайся, дорогой, не ломай голову, — засмеялась Барбара, — мы сами не всегда знаем, что хотим. Да и скучно все знать! Если не остается загадки, женщина теряет свою привлекательность... Но хватит выбалтывать секреты! Пойдем лучше танцевать, пусть они ведут умные разговоры, мы будем веселыми и глупыми как дети, ладно? Ты всегда такой немножко скованный... Попробуй немного дурачиться, не контролируй себя так плотно.

Он улыбнулся: она советует ему прямо противоположное, и пошел за ней в другую комнату.

— Рок, конечно? — спросила она, снимая Нэт Кин Колла.

— Да, да — потяжелей! — сказал он, ощущая, как шальное настроение завладевает им.

И он дал себе волю: решительно и твердо управлял девушкой, заставляя ее кружиться, замирать, взметать светлое облако порывистыми переходами, застыть в ожидании новой команды...

Свобода и дисциплина, воображение и самообладание, страстность и сдержанность соперничали в каждом их движении, и только вдохновению удавалось укрощать, примирять их и удерживать на эфирной поверхности гармонии.

— Уф, как легко и приятно с тобой танцевать рок! — сказал, задыхаясь, Илья, когда они бухнулись на диван. — Почему с другими я чувствую себя таким неуклюжим, неотесанным болваном?

— Наверное, они не умеют танцевать?..

— Ну, что-о ты, прекрасно танцует, — обиделся Илья и тут же покраснел.

Она предпочла не заметить его оговорки.

— Видишь ли, я не пытаюсь влиять на танец — только угадываю твои желания и стараюсь исполнять, я подчиняюсь тебе во всем — даже в твоих ошибках. Я знаю, что каждый мужчина хочет властвовать.

— Н-да, но не каждая женщина, видимо, хочет подчиняться?

— Нет, каждая. Все хотят покориться сильной и доброй руке, но не всегда уверены, что как раз такая встретилась...

— Но есть же сильные натуры, которые сами хотят...

— Хочешь, открою тайну? Сильная женщина — это та, которая не может позволить себе быть слабой. Мы все мечтаем о безопасности, о надежной защите, когда можно ничего не бояться, быть слабой и нежной.

Она сидела боком, положив руку на спинку дивана и подобрав под себя ноги. Очаровательная, очаровательная копия... чуть ярче, небрежней... второе, з е м н о е издание, — думал Илья.

— Тогда зачем эти борьба, соперничество, — пожал он плечами, и горько усмехнулся: — Чтобы доказать свое право? Но я не хочу ничего доказывать! Я устал от борьбы и споров... и, вообще, не хочу властвовать!

— Но хочешь, чтобы кто-то понимал тебя, разделял твои взгляды, был твоим отражением?

— Отражением? — поморщился Илья. — Я не настолько люблю себя, чтобы мне хватило собственного отражения. — Он взял со стола зеркало, посмотрел в него, соорудил гримасу отвращения и, не выдержав, рассмеялся: — Нет, не хочу.

Барбара попросила грушу, и он, поднявшись, поставил возле нее

ту самую, на высокой ножке, вазу с фруктами. Она взяла самую большую и желтую, откусила, а затем спросила:

— Чего же ты, дорогой, хочешь?

— Да, чего же ты, черт возьми, хочешь?! — откликнулось внутри.

Чего он хочет, чего он хочет! Илья примерил несколько самых ласковых слов к мерцающему в глубине образу — словно забросил крупно-ячейчатую сетку — результат был отвратителен и жалок... Разве можно распинать на словах нежное облако ощущений?! Он растерянно пожал плечами.

— Нет, не могу сказать; я хочу невозможного: чтобы это был иной мир, своеобразный, богаче моего там, где мой беден, и в то же время родственный, созвучный...

Илья поставил пластинку Бетховена, несколько минут они слушали молча, вдруг он повернулся к ней и в упор сказал:

— Я хочу, чтобы она была подобна этой музыке: сильной и нежной, слабой и гордой, постоянной и неожиданной, изысканно тонкой и... — он грустно улыбнулся: — Ты видишь, я хочу невозможного...

Она внимательно смотрела на него, не переставая жевать, и, только прикончив грушу, сказала:

— Ты хороший мальчик и удивительный идеалист. Ты действительно хочешь почти невозможного, и все-таки я верю: когда-нибудь ты обязательно встретишь свой идеал...

Лицо его потемнело. Жесткие черточки, как первые нити льда, проступили на нем, и оно быстро сделалось холодным и твердым.

— Вряд ли, — сказал он наконец, основательно рассмотрев свои пальцы.

В эту минуту он ненавидел ее, она видела это, но испытывала странное удовольствие. Народ собирался расходиться по домам.



В начале декабря пришла зима. Игровые площадки превратились в каток, и Снегин через день ходил, как он сам говорил, "эмоционально разряжаться" с помощью хоккея. В игре он был горяч, иногда несдержан, всегда жаждал только победы и не щадил ради нее ни своих сил, ни сил партнеров. С пятнадцатиградусного мороза он приходил потный, разгоряченный, в приятнейшей усталости валился на диван, ощущая, как затихает в нем молодой, здоровый пес, игривый и сильный забияка. Потом он принимал душ, заваривал кофе, и такие свежие, пахнущие морозом мысли приходили, так хорошо думалось, что ничего больше не хотелось, никуда не тянуло, ничего не томило.

Жизнь его была размеренной, однако до крайности насыщенной: он давал уроки десятиклассникам (с некоторых пор бюджет его стал невыносимо тесным и пришлось взять еще одного ученика по математике), по часу в день занимался английским, читал научную периодику, посещал семинары, играл в хоккей, слушал музыку и радио... — он нарочно загонял себя в жесткие временные рамки, тщательно заполняя "полезным и нужным" те опасные вечерние пустоты, которые умели так быстро втягивать в себя ядовитые пары тоски по несбыточному.

Теперь он почти ежедневно просиживал в "ленинке" по пять-шесть часов, научился не замечать шарканья ног и покашливаний. Другая разительная перемена произошла в его читательской карточке: длинный список немецких фамилий оборвался на коротком "Э. Мах", далее пошли — Аксаковы, Соловьев, Хомяков, Чаадаев, Киреевские, Ключевский... О, это был другой мир — другие мысли, другие страсти... То есть, у немцев вообще не было страсти по сравнению с тем, что кипело на страницах русских изданий, не считая, разумеется, Ф. Ницше. И сам предмет был гораздо более человеческий, с л и ш к о м человеческий, и борьба шла стенка на стенку. Если у немцев каждый из титанов был центром и партией, то у русских бились коллективно, соборно, до оскорблений и ненависти, причем, личные убеждения нередко приносились в жертву партийным целям. Эта борьба захватывала тем сильнее, что не ею он должен был заниматься: папка с аккуратной надписью "New conception" продолжала пылиться на полке. Шеф уже намекал насчет встречи, подгонял со статьями, он отделялся обещаниями, которые все больше тяготили, нависали над ним, омрачали совесть... Наконец, когда отступать стало некуда (не бросать же всю затею с диссертацией), он засадил себя за статью — за вступительную и заключительные части ее. И тут обнаружилось, что он безнадежно расколот на "свое" и "колхозное". Он гнал свои мысли на колхозное поле, они понуро шли и даже делали вид, что работают; стоило, однако, на

минуту ослабить контроль, как они исчезали, чтобы вновь объявиться на собственном, милom участке.

В эти дни — вскоре после вечеринки у Андрея — Барбара незаметно вошла в его жизнь. Она пригласила его на концерт, она удивительно легко схватывала нюансы борьбы славянофилов с западниками, разделяла его возмущение славянофилами, признавала актуальность проблемы изоляции от Запада, соглашалась с тем, что община — зло, какую бы форму она не принимала... Одним словом, с ней было легко и просто, поэтому он согласился на своеобразную опеку, которую она над ним установила: ходил с ней не только на концерты, но даже в театр, в котором окончательно разочаровался еще на старших курсах. Она достала билеты и сводила его в театр на Таганке специально для того, чтобы развеять его предубеждение. Однако, "Десяти дням, которым удалось потрясти мир", не удалось, расшевелить его. Он с иронической усмешкой наблюдал за тем, как солдат накалывает на штык входные билеты, и тут же сказал, что было бы еще правдоподобнее, если бы зрителей загоняли в зал прикладами. Зато на "Мадригал" Волконского он пошел с удовольствием. Концерт был в актовом зале университета. Свечи, клавесин, очаровательное семейство Лисицыан, изысканная музыка и приятная манера исполнения разволновали его, и он предложил Барбаре зайти к нему, поскольку было еще совсем рано.

Они благополучно проскользнули мимо дремавшего цербера (время повышенной бдительности начиналось после десяти). Барбара пришла в восторг от его аскетической обители, похвалила коллекцию пластинок и, покопавшись, поставила пластинку блюзов. Пока он заваривал кофе, она изучила его книжные полки, повеселилась у "шедевра", на котором стояла и ее подпись, затем скovyрнула лодочки и забралась на диван, однако, не надолго: после первой же рюмки домашней наливки она потащила Илью танцевать и обучила его нескольким новым па рока.

Полночь застала их за беседой. Барбара рассказывала о своей семье, о чересчур строгом отце, о том, как он заставлял их удлинять юбки и как они пару раз сдавали друг за дружку экзамены и бегали на свидания... Мимоходом она вспомнила, что Анжелика два года назад была сильно увлечена почти пожилым актером, что она, Барбара, не уверена, прошло ли это бесследно: у нее все не как у людей. Зачем, например, она отказала красивому, элегантному стоматологу? Правда, он обещал ждать ее хоть всю жизнь — для нашего времени забавно, не так ли?

Она сидела, поджав под себя ноги и старалась поменьше курить: долго крутила в пальцах очередную сигарету, жестикулировала ею, а, когда он подносил огонь, не прикуривала. Он не знал, как тут быть, снова и снова зажигал спичку и был немного счастлив, когда она на-

конец принимала его услугу. Она рассказывала живо, образно, часто смеялась собственным шуткам, и глубоко ошибался Илья, полагая, что она нечаянно ранит его.

Илье было интересно, и вместе с тем странное, неприятное чувство непричастности росло в нем. Этот мир ничего не знал о нем, с о в е р ш е н н о не нуждался в нем, прекрасно существовал без него! А ведь он мог бы играть с четырнадцатилетним Артуром в футбол, в волейбол, помогать строить планеры, он мог бы говорить с Эстер Стешиńskiej по-английски, а Станиславу Стешиньскому — помогать ремонтировать яхту...

Во втором часу ночи Илья начал испытывать беспокойство: автобусы не ходили, отпускать ее одну нельзя, значит, ему предстоит прогулка на Ломоносовский проспект и обратно — добрый час... общежитие закроют... Предложить ей остаться? Бог знает, как она воспримет. Он мог бы пойти к соседу, но болгарин храпит уже второй час и будить его со странной просьбой... Ему сделалось жарко, и он, спросив разрешения, снял пиджак, открыл вентиляционную задвижку. Затем ему сделалось зябко, и он накинул на себя джемпер, а ей предложил свитер... Она, между тем, жаловалась на Карела: его мужественная внешность, оказывается, ничуть не отвечает характеру — чересчур покладистому и нерешительному, он всегда уступает ей, даже самым нелепым прихотям, а она нарочно придумывает все новые, чтобы воспитать в нем характер...

Наконец, когда складка беспокойства на лбу Ильи превратилась в морщину страдания, она спросила его, любит ли он болтать ночь напролет. Он покачал головой и добавил, что вскоре, как собеседник, он перестанет существовать. Тогда можно пойти погулять — до шести осталось только три часа. Нет, возражал Илья, через час они замерзнут и никуда не смогут попасть — хороши прогулки в ее туфельках!

— Вот видишь, какой ты! А Карел согласился бы гулять всю ночь на морозе и болтать, — сказала она, и он не понял, что это — упрек или комплимент.

— Просто я не хочу, чтобы окончательно пропал завтрашний день — у меня много работы, — сказал он, густо краснея.

— Разве день лучше ночи? Ты не думаешь, что пропадет ночь? Не будь таким несносным занудой! — рассмеялась она и вдруг ошарашила его: — Но как я буду спать без ночной рубашки? Я оказалась такой непредусмотрительной... У тебя не найдется чего-нибудь?

— Есть майка, которая мне самому до колен, — ответил Илья, открывая платяной встроенный шкаф.

— О, какой у тебя порядок! Замечательная майка! Ты сам стираешь себе белье? Удивительно, какой ты чистюля. Я иду в душевую...

Ах, полотенце!.. Ты можешь разделить постель? Какая паста твоя? Поморин? Не люблю...

Черт знает что, — размышлял Илья, оставшись один, — "Как я буду спать без ночной рубашки?"... Для нее — очередная выходка, чтобы доказать что-то Карелу, а он? Как ему вести себя? Очаровательная копия его мучительницы... нет, нет, другая, совсем другая. Провели вместе ночь! Разве докажешь? Плевать, он не будет никому ничего доказывать. А если она?.. Боже, зачем она все это затеяла?! Но, что, собственно, она затеяла? Подумаешь, осталась переночевать! Разве из этого что-нибудь обязательно вытекает? Как он безнадежно извращен — во всем видит только одну пошлую сторону!..

Илья положил на пол диванные подушки, достал второй комплект белья, но одеяло было только одно — он укроется покрывалом, а поверх — своим пальто, если она пожалуется на холод, он молча встанет и подаст ей ее шубку. Что она так долго делает? Вода уже не шумит. Дурак, надо было убрать сульсеновое мыло и жидкость для ног — подумает, что у него перхоть и потеют ноги... Вошла Барбара, забавно перехватив в талии оказавшуюся удивительно прозрачной майку. Она свалила на кресло одежду и, открыв дверцу шкафа, покрутилась у зеркала. Он деликатно отвернулся, но она позвала его: "Посмотри, ничего, правда?" "Во! — показал он пальцем вверх и как можно развязнее добавил: — Только вырез... маловат". Она засмеялась, протанцевала к дивану и юркнула под одеяло, он поспешил в душевую.

Да, комплексами она не страдает, — думал он, — черт бы ее забрал с ее непосредственностью — можно ждать чего угодно... Он почистил зубы, побрился, чего никогда не делал на ночь и, стоя под душем, пытался сбить предательскую дрожь резкой сменой воды. Ничего не помогало. Он выглянул в коридор — может быть, она уже спит? — нет, стеклянная дверь светилась. Она ждет! Как же он должен поступить, если она?.. Однако, сколько можно мыться! — она подумает, что он боится ее. С этой мыслью он начал вытираться и вскоре отважно вошел в комнату. Нет, она не спала — лежала, закинув руки; в пепельнице догорала вторая сигарета.

— Нельзя сказать, что ты очень торопился, — улыбнулась она и указала на край своей постели: — Садись. Вот... Прости меня за беспокойство и поцелуй на ночь.

Они поцеловались не по-братски, но и не любовным поцелуем.

— Спокойной ночи, дорогой! Ты очень, очень милый! — сказала она мягко, погладив его по щеке.

Спал он удивительно хорошо.

А через несколько дней она позвонила по телефону.

— Czesch, дорогой! — раздался ее возбужденный голос. — Как поживаешь?

— Ничего, спасибо, — неуверенно ответил он.

— Опять ты в подполье ушел? Нет, ты просто дикарь, или... как это... бирюк!

— О, какие ты слова знаешь, — рассмеялся Илья.

— Еще хуже знаю... но пока не заслужил. Я хочу тебя по-хорошему предупредить, чтобы ты не делал глупостей и на двадцать четвертое ничего не назначал, иначе у тебя будут серьезные осложнения с Ватиканом...

— Подчиняюсь, подчиняюсь... Это что, Рождество? Ведь это семейный праздник...

— Ах, ты, кокетка! — рассмеялась Барбара так, что у него защеко- тало в ухе. — Ладно, скажу: именно поэтому приглашаем тебя. Будет только пять человек.

— Не понимаю, кто пятый?

— Разве я еще не сказала? Только что звонил папа, он приезжает...

Он едва не выронил трубку и несколько секунд ничего не слы- шал. Итак, собственной персоной, "второй бог на земле", аристократ и русофоб, "я вас, мерзавцев, насквозь вижу"...

— Что ты замолк? Не страшно, он говорит по-немецки, по-англий- ски и по-польски в совершенстве, любит Гегеля, Шопена и политику... если не расходится с его взглядами...

"В конце концов пусть убедится, что мы не какие-то монстры..."

— А ты уверена, что он захочет видеть москаля в семейном кругу?

— Он сам сказал...

Как, он знает? Ч т о он знает?

Ну, конечно, он придет; что в таких случаях принято дарить? Ну, хорошо, хорошо...

Новость была такой важной, что Илья уже не смог вернуться к своим бумагам — предстоящая встреча всецело завладела им.



Пан директор едет в Москву! Новость была поразительной, хотя в сущности, если разобраться... — этого давно требовали деловые связи с родственным московским НИИ, к тому же, ни для кого не секрет, что дочери пана директора... в конце концов никто не слышал от него, что он принципиально не едет в Россию, а все-таки удивительно: не ездил, не ездил и вдруг собрался.

Даже Эстер Стешиньской дистанция от гневного: "пусть убираются ко всем чертям" до почти просительного: "знаешь, дорогая, мне придется, по-видимому, съездить в Москву", показалась на удивление короткой, столь короткой, что она сомневалась, можно ли этот успех отнести на свой счет. Из шуток, намеков, которыми дочери пересыпали свои письма, мать чувствовала, что обе они увлечены. Особенно беспокоила ее не Барбара, открытая и ласковая хохотунья, хотя именно от нее приходилось всегда ждать сюрпризов, а — тихая, скрытная Анжелика, с детства тяготевшая к отцу. Поехать бы самой, все разведать, посмотреть на кавалеров... но, как бросишь дом и оставишь одного Артура! Пускать мужа одного тоже опасно — он так прямолинеен и крут, что... Впрочем, кто знает; отрезвляющий душ отцовской критики может оказаться весьма кстати...

Россия не возбуждала в нем особого любопытства. Впервые, никому не высказанная, мысль о поездке в СССР возникла после ггаринского витка. С тех пор она превратилась в затаенное желание с привкусом порока — так иногда мучительно хочется присоединиться к толпе, смакующей последствия уличного инцидента, взглянуть со сладострастным ужасом на кровь и обломки, пережить с замираниями сердца сон катастрофы и радость мгновенного исцеления. Оказалось, что с американскими успехами оно притупилось, но не исчезло совсем: когда девчонки сговорились с матерью, он кричал на них, а гневался на себя. Теперь за три месяца разлуки решение созрело само собой. Пусто, неуютно было дома, и тревога его росла с каждым днем, несмотря на бодрый тон их писем, а может быть, как раз поэтому. Конечно, "скушаем, тоскуем", однако же — "много интересных знакомств", поют, выступают на концертах, приглашены на съемки, а главное, какие-то намеки на увлечения...

Граница поразила его сверх всех ожиданий: казалось, на протяжении одного километра изменился даже климат. Он напряженно всматривался в жалкие слепые домишки, в грязные дороги, вернее, в отсутствие таковых, в лица затурканных, плохо одетых людей на маленьких станциях, и радость скорой встречи уже не грела его; тревожное, ноющее чувство овладевало им.

Но сердце его оттаяло, когда они бросились к нему с двух сторон на шею и целовали, и шептали какие-то глупости, и плакала Барбара, и блестели глаза его любимицы... Понравилась ему их комната — в ней чувствовался стиль, стремление воссоздать привычную обстановку; при этом он, правда, забыл, как возмущался всегда журнальными вырезками и прочим "дешевым модернизмом". Понравился ему и Карел — серьезный молодой человек с волевым лицом, но, когда речь зашла о знакомстве с молодым русским философом, он внутренне подобрался и стал вопросительно поглядывать на Анжелику. Впрочем, в данный момент (он открыл чемодан с подарками) на лице ее светилось стандартное женское счастье. Он хотел выждать, пока уляжется их "тряпичный восторг", но затем решил отложить разговор.

Два дня Илья говорил сам с собой по-английски о Шопене и Гегеле, старался взглянуть на себя глазами придиричивого иностранца и ничего хорошего не видел.

На редкость бездарно прошло двадцать четвертое. Кто-то взял зарю, закат и полдень, перемешал, взболтал, поднапустил туману и вылил на землю самые длинные сумерки года. Илья пытался взбодрить себя и отвлечь от навязчивых мыслей о вечере. Читал самые будоражающие выписки из Чаадаева — не будоражило, пытался разозлить себя Киреевским — не злило. Взялся зачем-то промывать свою бежевую с золотым ромбиком ручку, промыл, положил божественно чистый лист бумаги и после получаса раздумий начертал: Илья Николаевич Снегин, украсил надпись завитушками, изрисовал лист виньетками... На этом его вдохновение исчерпалось. Он глянул на часы, потом в окно. Темень надвигалась громадой, легко оттесняя болезненные сумерки. Можно было собираться.

Сыграв костяшками пальцев легкое тремоло и услышав знакомое "войдите", Илья переступил порог и прикрыл за собой дверь. Пахло елкой и кофе, метались потревоженные язычки свечей и дрожали, почуяв морозный воздух, иглы маленькой елочки, откуда-то сочилась печально-умиротворяющая музыка. Анжелика в черном платье, с пышными цветами вокруг кистей рук и на груди, приняла из его рук пальто, шапку и цветы. Серебряный, чеканный обруч перехватывал на лбу ее распущенные волосы. "Вот папа, — прошептала она, — познакомьтесь".

Илья хотел поймать ее взгляд, но она унесла его быстрым поворотом тела. Он шагнул вслед за ней, едва кивнув Барбаре с Карелом, весь сосредоточившись на поднимавшемся с кресла господине.

Все во внешности пана Стешиньского было чрезвычайно добротным: костюм из толстой серой шерсти, и старомодный шерстяной галстук, и тупорылые с узорами туфли, и то, как он поднялся и подал руку, и как посмотрел на Илью — без готовности, разве что с легким любопытством. Анжелика что-то сказала по-польски, из чего Илья с

неудовольствием уловил "пришитель", и мужчины обменялись рукопожатием. Илья сел рядом с Барбарой на "диван". Звучала "Stabat Mater" Перголези. Слушали торжественно, молча, что вполне устраивало Илью. Он смотрел на твердый профиль пана Стешиньского, вспоминал его крепкую руку и сравнивал себя с Джованни: все сходилось с мистической пугающей точностью. Не хватало только нескольких фрагментов — там, где кончалось настоящее, и предательское изображение уже подсовывало осколки мрачной судьбы Джованни, наспех подкрашенные под двадцатый век... Но взмыло жизнерадостное "Аминь!", лязгнул отсекающий механизм двадцатого века, и грустная, но чем-то прекрасная картина рассыпалась на бессмысленные осколки.

Барбара с Анжеликой принялись разливать по чашкам кофе и угощать пирожными, а пан Стешиньский спросил по-английски Илью:

— Вы говорите по-английски, не так ли?

— Да, немного... во всяком случае, пытаюсь, — неуверенно пошутил Илья.

Был ли он за границей, где он учился английскому языку, какие другие языки знает, где живут его родители? — последовал вполне стандартный набор вопросов. Илья отвечал и быстро успокаивался, с некоторых пор его не удивляло и не шокировало невежество иностранцев. Нет, за границей он не был (в детстве, два года жил с родителями в Венгрии, но это не в счет), у нас не принято ездить, английский учил, как все — в школе, в университете и самостоятельно, других языков не знает (слава Богу один! — сколько трудов ему стоило!), отца нет, мама учительница, живет в ...

— А чем, простите, вы занимаетесь? — допрашивал пан Стешиньский, не догадываясь о том, что наткнулся наконец на большое место Илья.

— Видите ли, я закончил кафедру теоретической физики — я занимался квантовой механикой — но затем увлекся философией и сейчас занимаюсь философскими проблемами естествознания.

— И как вы теперь себя чувствуете? — почти участливо спросил директор Института прикладной механики.

— Как всякий утопающий, — рискнул отшутиться Илья, но, не встретив отклика, продолжил: — Вы знаете, там трудно в том отношении, что, по сути дела, отсутствует исходная система постулатов... Вернее, их слишком много, и начинать приходится с отброса, с нуля, так сказать.

— Вы должны были все взвесить (you had to look round) прежде, чем порывать с физикой, — холодно сказал пан Стешиньский.

— I did but over — not round (я предвидел, но сквозь пальцы) — склеил каламбур Илья, но тут же решив, что наврал, покраснел.

Пан Стешиньский вежливо улыбнулся.

— Но, если говорить серьезно, — продолжил Илья, — меня больше привлекали проблемы, чем отпугивали. Тогда я только чувствовал, а сейчас знаю, что за проблемами теоретической физики стоят более сложные и существенные философские проблемы.

Что-то сковывало Илью. Безукоризненный английский собеседника? Холодный тон его? Или собственные сомнения последнего месяца? Он взглянул на Анжелику — она делала вид, будто поглощена журналом.

— Я чувствовал, что нельзя заниматься частными проблемами, если сами основания нуждаются в пересмотре.

— Это похвальное, но и опасное стремление — пересматривать основания знания. Необходимо обладать колоссальной эрудицией и культурой мышления, чтобы не впасть в бесплодное умствование. Не лучше ли было начать с более ограниченной задачи?..

А ведь он прав, прав, — больно кольнуло Илью.

— Необходимо воспитать в себе культуру мышления, то есть умение концентрироваться на одной единственной проблеме и разрешать ее. Надо научиться удерживать мысль на одном предмете, ибо она склонна блуждать с одной частности на другую и наоборот — впадать в неправомерные обобщения, опирающиеся на поверхностное сходство.

Он прав, прав... но этот противный менторский тон, сухой, не терпящий возражений...

— Но, чтобы создать нечто существенное, помимо дисциплины ума необходима душевная умиротворенность, то есть исследователя не должны мучить вопросы типа: зачем мы живем на свете, он не должен сомневаться в важности и значении своей работы...

Подавленный, Илья молчал. Пан Стешинский тоже на секунду умолк, рассчитывая решающий удар.

— Кроме того, в а ш е й ситуации плодотворно работать можно только в очень узкой, специальной области, — спокойно продолжал он. — Наше положение несколько лучше — мы сохранили (в значительной мере) наше культурное наследство и, в частности, — свои религиозные чувства.

— Я ощущаю себя наследником русской интеллигенции XIX века, а она не была очень религиозной, — покраснел Илья.

— Да, вы начали рубить сук еще в конце прошлого века. И хотя в начале века наметилось довольно мощное религиозное возрождение, ваша интеллигенция успела подрубить свои творческие корни. Я думаю, что вы никогда больше не родите ни Достоевского, ни Толстого.

Кто-то поставил Шопена, и серебристые россыпи его на время отвлекли пана Стешинского — лицо его смягчилось. Казалось, вот-вот оно разродится улыбкой и зачеркнет весь ужас сказанных слов. Но улыбка не состоялась, лишь едва заметно шевелились пальцы, равнодушные к страшному пророчеству.

— Если бы Чаадаев не сказал этого сто тридцать лет назад, — вспыхнул Илья, — если бы мы после этого не создали существенный кусочек мировой культуры, ваше предсказание... после него... надо было бы повеситься. Но я не такой пессимист. Мы переживаем тяжелое время, когда отказавшись от безусловной веры во внешнюю силу, мы не нашли еще (а, может быть, уже растеряли) достойной замены внутри себя. Однако, я глубоко убежден, что мы уже не слепые щенки и можем выработать на основе разума общечеловеческие принципы этики. Они будут иметь много общего с христианской моралью, но в основании их будет лежать разум, а не шаткая вера.

— Шаткая вера?! — покачал головой пан Стешиньский. — Вы поклоняетесь разуму, логике, науке и не замечаете, что в основании последней лежит все та же вера. Разве ваш разум доказал всеобщность тех же законов сохранения? Разве они не покоятся на той слабой опоре, что п о к а еще не наблюдалось их нарушения? Разве не доказал великий логик бессилие разума?

— Я преклоняюсь перед ним, но он, увы, многого не знал. Законы сохранения, например, являются следствием более очевидных принципов симметрии пространства-времени.

Анжелика, которая не столько вслушивалась в предмет спора, сколько следила за тоном его, уловила нетерпеливо-раздраженные нотки в голосах мужчин, что, насколько она знала обоих, не предвещало ничего хорошего. Она подошла к столу и что-то сказала ему по-польски. Он рассеянно кивнул и снова обратился к Илье:

— Оставьте разуму его сферу — науку. Как только он покидает ее, он превращается в проститутку, продающуюся то страсти к славе, то жажде власти, а то и просто — инстинкту выживания. Заметьте, ни один человек не строил своей этической системы на желании причинить людям зло, все исходило из пользы, то есть из одинаковых предпосылок. Однако, дальше — когда речь заходила о практических рецептах — они расходились и зачастую — в противоположных направлениях. Одни предлагали исправлять его тюрьмами, а третьи — просто ампутировать худшую часть человечества газовыми камерами и атомными бомбами, и надо сказать, весьма в этом преуспели. Вот он ваш логический, скептический великий разум!

Илья хотел возразить, что тут были виновны скорее чувства, чем разум, однако встретил умоляющий взгляд Анжелики... Барбара за спиной отца тоже подавала ему знаки, и он, сделав над собой усилие, промолчал. Поле боя осталось за паном Стешиньским, и он с удовлетворением прошелся по комнате. Сестры готовились петь. Карел придвинулся к Илье: "Ну как тебе отец святого семейства? " Илья неопределенно покачал головой.

Когда девушки спели что-то из польской старины, а затем отрывок из грегорианской мессы, пан Стешиньский обратился к молодым

людям по-английски: "Не плохо, правда? Не хватает только мужского голоса... Почему бы вам не поддержать их?" Последнее относилось к Илье. Он немедленно вспыхнул и, проклиная пана, ответил:

— К сожалению, я не знаю ни мессы, ни латыни...

— Но играете на чем-нибудь?

— Нет, — ответил Илья, кусая губы. — У меня не было возможности. Мы часто переезжали с места на место, так как папа был военным, вообще, после его смерти жилось очень тяжело...

— Простите, а что случилось с вашим отцом?

— В Венгрии, в пятьдесят шестом...

— Да? Любопытно... — на мгновение оживился пан Стешиньский, но тут же принял прежний тон: — Печально, печально...

Извинившись и сославшись на позднее время, Илья начал собираться, и Анжелика, видя его мрачное, почти несчастное лицо, пошла проводить его.



— Мне кажется, — сказала она, улыбаясь, едва они закрыли за собой дверь, — что вы с ним очень похожи. Смешно, как вы спорили и старались контролироваться. Хорошо видела, как трудно — оба нетерпимые и горячие...

— Да, уж он горячий! — усмехнулся Илья, вспоминая до противного правильный английский пана Стешиньского.

— Правда, очень горячий — как ты, — возразила она, беря его под руку, и со смехом добавила: — Боялась, что будете спорить о национальностях или политике...

Илья молча застегивал пуговицы пальто. И зачем она делает вид, что ничего не произошло? Хочет утешить? Он все время старался поставить его в неловкое положение...

— Что еще хотела сказать. Послезавтра мы все идем в Большой. Конечно, не оригинально: и Де Голль, и Вильсон, все обязательно ходят в вашу Ла Скалу... Для тебя тоже есть билет... Будет Иван Сусанин.

— Спасибо, но... я вынужден... отказаться, — ответил он холодно.

— Что, почему? — встревожилась она. — Это папа доставал билеты и поручил пригласить тебя.

Однако, не удосужился сам сказать об этом, — подумал Илья.

— Спасибо, но я... сегодня, нет — завтра улетаю домой.

Прекрасная идея! И как он только придумал!

— Почему?! Зачем так спешно? Не можешь подождать?

— Не могу... не х о ч у, — сердито ответил он. — Я так скверно чувствовал себя — ничего не умеющим, ничего не знающим болваном: за границей не был, других языков не знаю, ни на чем не играю, латынь не понимаю и, что еще хуже, занимаюсь бесплодным умствованием... Неужели мои недостатки затмевают достоинства? Или у меня их вовсе нет? — он попытался улыбнуться, получилось что-то горько-кислое.

Она почувствовала, что он подошел к самому краю — еще чуть-чуть, и его страстное, обжигающее признание обрушится на нее, и, желая удержать его, она с мягким укором сказала:

— Зачем так говоришь! Знаешь, что неправда.

Бросив на подоконник перчатки и шапку, он полустоял, полусидел, глядя в сторону и покусывая губы.

— Он все время пытался "поставить меня на место", доказать, что вы это вы, а я это я.

— Не огорчайся, Илюша! Ты очень милый, — сказала она, погладив его по руке.

Эта ласка с привкусом жалости была той горстью соли, от которой раньше времени вскипает жидкость.

— Ах, Анжелика! — он схватил ее руку и до боли стиснул. — Это игра! Я ненавижу! Это игра!

— Какая игра? — обмерла она.

— Бог ты мой, ты лукавишь, ты не хочешь быть искренней! Ничего не может быть хуже!

— Почему, почему я лукавлю?

— Ну, хорошо, Анжелика!.. — он правой рукой перехватил ее талию и без труда привлек к себе. — Ты знаешь, что я... мое отношение к тебе, и ты... я уверен... я не могу ошибаться! — иначе... о! Нет, я не ошибаюсь! Но почему ты такая разная? Что стоит между нами? Неужели это серьезнее и важнее наших чувств?!

Она молчала, опустив голову, свободной рукой сдерживая его, и чем больше он пытался привлечь ее, тем сильнее она откидывалась, изгибаясь в талии.

— Я знаю — религия... национальные предрассудки... все это такая, если вдуматься, чушь!..

— Чушь!? — прервала она его дрожащим голосом. — Может быть, но т о л ь к о для тебя! Для других очень важно — даже не можешь представить как, и тоже очень болит.

— Пойми, Анжелика, ты в плену, ты опутана условностями и предрассудками... в наше время...

— Пожалуйста... мне больно, — высвободила она руку.

На мгновение острый, парализующий стыд пронзил его. Он отпустил ее, но тут же прижался губами к алым пятнам на запястье, бормоча: "Прости меня, ради Бога...". "Неважно". Он снова обнял ее и притянул за плечи. Головы их сблизились.

— Послушай, Джи! Мир пустой и холодный... люди блуждают в нем как обломки планет... и вдруг, когда встречаются две столь родственные... души... что-то внешнее, постороннее мешает...

— Ильюша, — произнесла она очень мягко и, словно устав сопротивляться, склонила голову ему на грудь, — я боюсь, что тебе только кажется, что родственные, потому что очень хочется, чтобы так было. Нас разъединяет очень многое и очень важное: отношение к религии, к Богу...

— Ах, Бог... отношение к Богу... — забормотал он, глупея от ее близости, — нечто внешнее, постороннее... как оно может вторгаться? Посмотри на нас — мы с тобой сами боги, мы созданы друг для друга... Мы так чудесно дополняем один другого — как две половинки целого мира, богатейшего, необъятного...

— Вот, ты настоящий язычник. Ты смеешь себя, нас сравнивать с Богом и подменять любовь к Нему любовью к себе, к... вообще, вот. В тебе слишком много гордыни...

— Ну да — "придите жалкие, нищие духом". Не понимаю, почему жалкие, опустившиеся, спившиеся грешники достойны большей любви? В то время как мы... я... Я тоже не вырос в раю, но всю жизнь стремился к совершенству, к — если уж на то пошло — к подобию

Христа. Я закалял свое тело, совершенствовал дух, держал себя в жестокой узде... В то время, как они развратничали и прожигали жизнь. Уверен, что ты тоже, как я... И что же? Теперь о н и любимые дети Его?!

Илья незаметно для себя ослаблял объятия и только, когда она высвободилась и отступила, спохватился:

— Впрочем, к чему я все это?..

— Нет, пожалуйста, продолжай. Очень интересно. Теперь вижу, что нищенский человек уже существует.

— Ради Бога, не издевайся! Ведь я не хвастался, не пускал пыль в глаза. Просто, ты задела меня, упрекнув в гордыне. Я прекрасно сознаю свои недостатки — я не сверхчеловек и даже не половина, однако, э т и, — он показал на проходивших парней, — не составляют даже десятой части его. Разве я не могу взвешивать и сравнивать себя с другими?

Они поднялись на второй этаж и устроились в темном, пустом холле.

— Не то страшно, что чувствуешь себя выше этих, а что не хочешь смириться перед Господом, бросаешь вызов Ему. И меня хочешь вовлечь... Скажи открыто, зачем я тебе? Хочешь... — голос ее дрогнул, не выдержав иронического тона, — хочешь создать сверхчеловека?

— Ах, Анжелика! Оставим все это — нищенство, религию, — с новым пылом заговорил он. — Ты мне нужна, — он поднес ее руку к губам и склонился над ней, — потому, что без тебя мой мир сух и бесцветен, в нем нет красоты и гармонии — одни идеи. Я просыпаюсь иногда и спрашиваю себя, зачем все это, кому это нужно, кому нужен я. Я хочу видеть тебя, слушать твой голос, растворяться вместе в музыке и песнях... Я хочу дарить тебе свои успехи... Если ты захочешь, я сделаюсь чемпионом мира по волейболу или по шахматам, хочешь — стану лауреатом Нобелевской премии по философии...

— Matka Boska, какой ты фантазер! Какой нереальный человек! Какой самоуверенный безбожник. Ты живешь иллюзиями, не знаешь, какие проблемы есть и могут возникать...

— Боже, проблемы! Все чепуха! Проблема одна — тут, между нами. Все остальное мы преодолеем с радостью.

— Большой ребенок, идеалист, — шептала Анжелика, в то время, как он касался поочередно всех ее пальцев губами. — Обещай, что придешь попрощаться с папой.

Уходя, он не чуял под собой ног. На следующий день забежал проститься, возбужденный и немного отсутствующий. Ему показалось, что пан Стешиньский не был по-вчерашнему холодно-натянутым, а прощальный жест Анжелики содержал какой-то тайный обнадеживающий смысл.

* * *

Илья Снегин по-своему боролся с парадоксами века авиации. Вместо того, чтобы, как требовала инструкция на билете, ехать за два часа до отлета на площадь Революции, он приезжал прямо во Внуково, за пятнадцать минут, когда посадка уже заканчивалась. Его принимали как долгожданного гостя, формальности сокращались до нескольких секунд, ему не приходилось стоять ни в одной очереди... Но время от времени Аэрофлот жестоко наказывал своего строптивого клиента весьма простым и безотказным приемом: по три, четыре, а то и пять раз задерживая вылет самолета. Именно так он поступил со Снегиным и в этот раз. Толпы измученных, отчаявшихся людей, из которых некоторые провели в аэропорту уже несколько суток, производили удручающее впечатление, но приподнятое настроение Снегина помогло ему стойко перенести шесть часов ожидания — он забился в самый темный угол зала ожидания и там предался безудержным мечтам, окрашенным в розовый цвет, с Анжеликой в главной роли. Однако, схватка возле самолета и перспектива скорой встречи с матерью изменили ход его мысли. Вопли, ругань и потасовки возле трапа навели его на размышления о диких и жестоких инстинктах, таящихся в душах этих "простых" людей вокруг него. Он мысленно представил, что творилось бы в случае пожара... Но вскоре после взлета его мыслями целиком завладела мама. Еще несколько лет назад он рассказал бы ей все и даже просил бы совета. В сущности, его интересовало только одно: чем должна закончиться подобная борьба в душе женщины, и как ему вести себя, чтобы способствовать желанному исходу... "Ах, нет, — ничего конкретного, только в общем, исподволь... Мама тоже хороший орешек — не хуже пана Стешиньского", — решил он.



Он позвонил не как полагалось членам семьи.

— И не пытайся меня обманывать, я все равно знала, что это ты, — говорила Елена Павловна, открывая дверь и целуя сына. Потом, когда вихрь, поднятый младшим братом, улегся, она добавила, — Ты будешь смеяться, но я чувствовала, что ты приедешь сегодня, хоть это и раньше обычного. Боже, какой ты худой! Но цвет лица ничего, впрочем, нет — слишком бледный. Как ты добрался?..

Неизбежная пресс-конференция, во время которой Елена Павловна успешно справлялась с ролью целой толпы корреспондентов, продолжалась на кухне. Насчет диссертации Илье пришлось покривить душой, ибо он уже не считал, что тут все в порядке. Правда, он сказал для очистки совести, что шеф стремится ограничить его слишком узкими рамками, но Елена Павловна, разминая картошку, мимоходом заметила, что в этом, видимо, и состоит смысл научного руководства. Ильяс мрачно улыбнулся за спиной матери, но спорить не стал. Отвечая на вопрос о его увлечениях, он опять испытал внутреннее смущение, умолчав о главном. Рассказывая о хоккее, театре на Таганке, музыке, он убеждал себя, что говорить о Чаадаеве, Соловьеве и Бердяеве не только не стоит, но даже опасно, так как мама воспримет их как угрозу его диссертации и "всему будущему". Не стоит сеять сомнения в ее представлении о его будущем... "Ложь во спасение?" — поинтересовалось Я, и, не раздумывая, он сказал, стараясь, впрочем, придать голосу интонацию легкого скептицизма:

— Между прочим, я открыл для себя русскую философию... Ты слышала что-нибудь о Хомякове, Леонтьеве, Соловьеве, Чаадаеве или Бердяеве?

— А, ну эти... славянофилы и западники? — наудачу спросила Елена Павловна, накладывая сыну пюре и котлеты. Из всех имен только Чаадаев вызывал у нее какие-то ассоциации с эпохой Пушкина и Грибоедова, далекой и прекрасной как Возрождение.

— И что?

— Ты знаешь, такие баталии, такая страстность...

— Еще бы... Ну, как тебе котлеты? — задала мать риторический вопрос, ибо не помнила случая, чтобы у сына не было аппетита.

Он дал котлетам высшую оценку, поставив их гораздо выше котлет "по-полтавски", которые он всегда берет в университетской столовой. Их разговор еще поплавал в тихом море житейских тем, как вдруг, подхваченный тайной силой, устремился к желанной цели. Началось с того, что Илью повели на балкон показывать елку. Он похвалил ее и сказал, что с этого года передает право наряжать ее брату.

Конечно, он поделится своим опытом, который, кстати, ему недавно очень даже пригодился, когда пришлось наряжать очаровательную девушку. "То есть?" — коротко спросила Елена Павловна, чтобы не выдать волнения, охватившего ее. Сын рассказал, как он подбирал украшения для Анжелики и рассмеялся:

— Представляешь, ситуация? Четыре девушки, на столе куча чего-то вроде елочных игрушек, и одну из них я должен украшать...

— Что я слышу, мой сын начал интересоваться девушками! А я, грешным делом, думала...

— Начал интересоваться! Плохо ты меня знаешь, я всю жизнь ими интересуюсь. Первая моя любовь... знаешь, кто была?

— Танечка Щетинина из восьмого "вэ"?

— Ну, это уже потом. А про первую я тебе рассказывал?

— Как ты влюбился в свою первую учительницу и на перемене уселся к ней на колени? Молоденькая, хорошенькая, она говорит мне: "Понимаете, Елена Павловна, ведь он обнял меня за шею — не могла же я на него сердиться, и как объяснить, не знаю. Поговорите с ним, пожалуйста." А потом она тебе "изменила" с каким-то офицером — шла с ним по улице и даже не заметила тебя. Каким несчастным ты был, когда жаловался мне.

— Ах так. Я и забыл про эту историю. В таком случае, я хочу рассказать тебе про вторую свою несчастную любовь.

Они всегда для поздних ночных разговоров выбирали кухню. Крошечная, чистая и теплая, она была самым уютным местом их двухкомнатной "малогабаритной" квартиры, которую Хрущев широким жестом дал семье "геройски погибшего при подавлении контрреволюционного мятежа подполковника танковых войск Николая Александровича Снегина". Квартирка не шла, разумеется, ни в какое сравнение с их апартаментами в Дебрецене, но и ей они были до смерти рады, познав за неполный год все радости коммунальной жизни. Уже после первого курса Илья доставал пальцами потолок, едва помещался в "совмещенной" ванной, негодовал на забитые автобусы и унылый вид своих "черемушек", но умел ценить порядок и покой их квартиры.

Елена Павловна медленно чистила и делала вид, что ест апельсины — она уже прикинула, сколько из них оставит себе на Новый Год, с кем поделится и кого угостит, — а сын, лениво пощипывая домашнее печенье и попивая давно остывший чай, рассказывал, как он в четырнадцать лет влюбился в Анну Каренину и невзлюбил за что-то Вронского.

— Был уже второй час ночи, когда это случилось, — говорил Илья, — случилось неожиданно, несмотря на все мои тревожные предчувствия. Что, собственно, произошло, я сейчас толком не помню. Кажется, Анна упала перед ним на колени, обнимала его ноги... не

помню. Но твердо знаю, что мой ангел был в один миг повергнут на землю — под ноги этому ничтожеству и проходимцу. Я был вне себя от горя, отчаяния и ненависти, схватил книгу, швырнул и разрыдался. Помню, ты приходила в два часа ночи успокаивать меня...

— Да, ты отличался излишней впечатлительностью... И почему ты избрал физику?

— Я хотел знать мир, и физика казалась мне той наукой, которая может раскрыть самую суть его.

Через пару дней мать с сыном отправились, как у них давно повелось, в оперный театр. Выехали они задолго до начала, чтобы побродить в старой части города, которая, собственно, и была и х городом. Тут у них хранились сокровища — какая-нибудь решетка, балюстрада, портик, портал или целое здание, которые они тайно присвоили и несколько раз в году приходили проводить. Изредка они делали новые открытия и пополняли свою коллекцию. Только в этот раз Илья слишком часто обращал внимание матери на запущенные и убогие места, за что даже удостоился упрека в критиканстве.

В антракте Елена Павловна сказала:

— Я смотрю, девушки не обходят вниманием моего сына... Раньше я все опасалась, что ты со своей влюбчивостью рано женишься, а теперь — ведь тебе уже почти двадцать пять — начинаю тревожиться...

— Будешь торопить меня, — усмехнулся Илья, — привезу тебе негрятяночку или вьетнамку, у меня есть на примете...

— Ах, какая прелесть — шоколадный внучек, или раскосая внучка! Мне надоели мои белобрысы сыновья — никакого колорита, — оживилась она.

— А как насчет других? У нас там учится потрясающая шведка...

— Но уж нет! Если жениться на иностранке, так на черненькой, иначе — никакого интереса, одни хлопоты.

— Какие хлопоты?

— Ты с ума сошел — "какие хлопоты"! Тут хлопот полон рот, — воскликнула Елена Павловна.

— А наши — из соц. стран?

— Да все равно. Если говорить серьезно, я никогда не дала бы своего согласия на такой брак, что, к счастью, сейчас необходимо. Не дала бы, несмотря на все ваши чувства, так как наверняка знаю, что брак на иностранке обречен на неудачу, что он может принести только несчастье всем — и супругам, и родителям. Причем, я не говорю про твою карьеру — закрытых тем в философии, наверное, нет — а именно — про семейную жизнь.

— Ты как всегда категорична, и это не так уж плохо... Но на чем основана твоя уверенность?

— На жизненном опыте. Но я могу, если хочешь, дать тебе и теоретическое объяснение. Видишь ли, когда молодые люди влюблены,

они не знают трудностей, а собственные силы преувеличивают...

— Вероятно, — согласился Илья, ни на секунду, впрочем, не допуская, что это может относиться и к нему, — только при чем тут национальность?

— А при том, что, когда женятся люди разных стран, обычаев, убеждений, привычек, тогда помимо обычных проблем возникают такие... Да что там! Когда первая жажда утолена, когда молодые супруги, если можно так сказать, насытились друг другом, они впервые начинают смотреть на предмет своей любви в реальном свете, то есть — замечать слабости, недостатки и даже пороки, на которые не обращали да и не могли обращать внимание — в особенности при сильном чувстве...

Звонок заставил их возвратиться в зал. Тут они вполне насладились муками несчастного отца несчастной дочери и отправились пешком домой. Вначале, выйдя из театра, Елена Павловна прошлась по адресу полноты и возраста Джильды, хотя сама вполне могла бы поспорить с ней в этом вопросе, затем сказала:

— О чем, бишь, я говорила в антракте?

— Ты развивала мысль о том, как смешанный брак усугубляет неисчислимые проблемы молодой семьи.

— И напрасно, вы, юный философ, иронизируете...

— Ну, ну, прости меня, мне очень даже интересно...

— Быть замужем, потерять мужа, вырастить двух сыновей, прожить несколько лет за границей — поверь, это немалый опыт, к которому стоит прислушаться. Ты даже теоретически не можешь себе представить, какая это трудная задача — построить настоящую семью, способную выдержать все прихоти судьбы. Знаешь, даже самые любящие люди иногда просто ненавидят друг друга. За что? За совершенно ничтожную слабость, привычку... А когда разные национальности, жизненные уклады... Ты был еще маленьким, да и прожил с нами в Венгрии всего два года, поэтому не помнишь, как все наши понятия отличаются от европейских... Пойми, женщины там не привыкли таскать после работы сетки с провизией, жить в одной комнате семьей, стоять в очередях... Оторванная от семьи, родственников, от языка... — нет, нет, это невозможно...

Центр города походил на один большой и запутанный пассаж. Люди, нагруженные сумками и сетками, выходили из дверей магазинов, чтобы под носом тяжелого, перегруженного транспорта перебежать на другую сторону, в другой магазин — вдруг попадется ветчина рубленая или хороший торт. Едва не от самых дверей, вцепившись в хвост очереди, они спрашивали, что дают и, толкаясь, изредка извиняясь, спешили занять очередь в кассу. Нервничая и разрываясь меж двух очередей, прикидывали с точностью до ста грамм, сколько взять и чего, проталкивались к прилавку, доказывая свое право, и, урвав добычу,

торопились дальше. Эта предпраздничная лихорадка грозила вовлечь в свой круговорот и Снегиных, но слишком важную тему развивала Елена Павловна и настойчиво тянул мимо сын. Ладно, этим они займутся завтра, решила мать и продолжала.

— Любящие так же склонны не замечать недостатков, как, став супругами, через некоторое время — преувеличивать их. И как тут кстати окажутся национальные легенды, чтобы объяснить собственное раздражение! Шотландцы скупы, англичане спесивы, поляки — тряпичники, немцы — зануды и педанты, русские — лодыри и пьяницы... Предрассудки? Согласна. Но они существуют и выползают на свет Божий в "нужный момент".

— Мне кажется, достаточно знать об этих предрассудках, чтобы...

— Видишь ли, можно все знать, понимать, но, когда речь идет о чувствах, обо всем забываешь. Посмотри, посмотри, какая милашка... — зашептала Елена Павловна, — и зачем тебе какие-то иностранные?..

— Ты говоришь об одуревших от чувств людях, пристрастных, почти ненормальных, — предпочел не заметить последнего замечания матери Илья, — все преувеличивают, цепляются за идиотские формулы... Какие-то мнительные психопаты, а не нормальные, разумные люди.

— Нет, именно о нормальных людях я говорю! О людях, которые страстно увлекаются, ревнуют, сомневаются и живут нормальной человеческой жизнью. Кстати, и ты к ним принадлежишь, твоя теоретическая жилка — так себе, налет, появившийся за многие годы учебы. Тебя если поскрести, обнаружится мальчонка, который влюбился в свою учительницу... Просто, ты жизни не знаешь...

Они шли уже темными, безлюдными улицами своих "черемушек", когда Илья попросил мать рассказать подробности гибели отца. Она удивилась его вопросу и без видимой охоты поведала о страшных днях, когда они сидели в осаде и "даже не имели права отвечать на огонь", о том, как отец вышел на встречу с "этими бандитами" для переговоров, и его в упор застрелили, как потом, когда пришел приказ, "им дали жару"...

— Да уж представляю — регулярные части против гражданского населения, — хмуро заметил Илья.

— Не волнуйся, не такие они овечки — страшно вспомнить, сколько наших полегло, — горячо возразила Елена Павловна, и вдруг сын оgoroшил:

— А зачем вообще надо было вмешиваться!

— Ну, знаешь! Как это зачем! — вскипела Елена Павловна. — Что же, надо было сложа руки смотреть, как их прибирают к рукам недобитые фашисты?

— Ты знаешь, мама, я испытываю стыд, когда думаю о венгерских

событиях. Неужели у нас не нашлось никаких аргументов, кроме грубой силы, чтобы переубедить их, если они заблуждались? Раньше я испытывал гордость за отца, а теперь думаю, что он был, видимо, таким же ограниченным догматиком, как многие — эдаким нерассуждающим военным...

— Он был профессиональным военным и коммунистом, и кому другому, а тебе стыдиться нечего. Он, конечно, был строг, но ты должен благодарить его за то, что он воспитывал в тебе дисциплину, чистоплотность и любовь к порядку.

— Н-да, я помню, как он муштровал меня... — сказал задумчиво Илья и неожиданно добавил: — сейчас была бы проблема "отцов и детей"...



Гости, разумеется, опаздывали. На этот счет существовала негласная договоренность: вы приглашаете на восемь, мы придем к девяти — все равно ведь вы к восьми не управитесь. Илья, в рубашке с галстуком и, по-домашнему, без пиджака, принимал на себя первые эмоции, восклицания, пальто, шубы, сапоги, шапки, сумки, коробки и бутылки шампанского. Первые — они же самые сердобольные — отправлялись на кухню предлагать свои услуги хозяйке, которая в это самое мгновение восклицала: "Боже, гости! А у меня еще ничего не готово!". В числе последних приехали Дроновы: простоватый с виду архитектор, его миниатюрная черноволосая жена и огромноглазая, с детски округлым лицом, дочь их — студентка консерватории. Илья их не знал, а между тем, именно с ними были связаны некоторые тайные надежды Елены Павловны. Поэтому, сбросив передник, она сама вышла их встречать.

— Так вот он, старший Снегин, — улыбаясь, говорила Аурика Мирчевна, отдавая Илье каракулеву шубку, — и вовсе он не заморенный, на спортсмена похож...

— Это признаки вырождения философии, — смеясь ответил Илья, сразу же почувствовав расположение к еще молодой женщине со странным именем.

Зато с Дроновым он очень скоро столкнулся на почве архитектуры. Начался спор с вполне невинного вопроса. Зачем, спрашивал молодой философ, надо было ломать красивое четырехэтажное здание с богиней Никой в нише второго этажа и строить вместо него пятиэтажную казарму. Архитектор отвечал, что в городе есть еще одно такое здание. А таких барачков, вспылил Илья, понастроили уже тысячи. Однако, заметил архитектор, вы вряд ли променяете свой барак на коммунальную квартиру с высокими потолками...

Неизвестно, чем закончился бы этот спор, если бы их не позвали к столу. Задиристый молодой человек, впрочем, понравился Дронову, и позже — во время "всеобщего разброда и шатаний", уже в 1968 году — он вполне примирительно и толково, несмотря на затрудненную речь, доказал ему, что строить высотные здания нам нет никакого резона — пока построишь его, сколько жилья будет простаивать, за это время десяток пятиэтажных заселить можно. Земля, слава Богу, ничего не стоит. Снегин и тут пытался возражать, говоря об эстетике и растянутой безликости городов, но архитектор только улыбался и уговаривал с ним выпить, нисколько не сомневаясь, что молодой философ возражает из упрямства.

За столом по левую руку от Ильи оказалась Маша Дронова, по

правую — занятная старушка, которая "знала его еще в-о-т таким", не имела права ни есть, ни пить, но "плевать хотела на всех врачей-дураков". Он принялся помогать ей сводить счеты с диетой и так увлекся, что на время совсем забыл о своей милой соседке слева. Маша, с ее тугой черной косой и невероятно тонкой талией, показалась ему чересчур застенчивой провинциалочкой, и он сразу принял с ней шутливо-покровительственный тон.

— Хочу предложить вам вот этот паштет, но заранее предупредить, — серьезно говорил он.

— О чем?

— Человек, однажды попробовавший его, уже не может остановиться.

— Ну и что? — спрашивала она со сдерживаемой улыбкой.

— Как что! Разве вы не знаете? — он заговорщически наклонился к ней и доверительно зашептал. — Посмотрите на мою маму. До сорока лет она была стройной, изящной женщиной, пока не эта злополучная страсть...

— А я все-таки попробую, — смеялась Маша, — ваша мама такая чудесная!

— Что ж, дело ваше, — вздохнул он, — только, когда будете менять скрипку на виолончель, вспомните, что я предупреждал вас.

Было тесно, изобильно и шумно. Произносили немудреные тосты, предлагали грибочки, рыбку, помидорчики, просили передать горчицу и хрен, советовали запастись хлебом, так как хлебные тарелки не помещались на столе, подливали вино, коньяк и водку, хвалили заливное, восхищались кроликом, хлопали шампанским и заливали им холодец... Безраздельно господствовали "старики". Они шумно подымались, просили тишины, требовали, чтобы у всех было налито и после долгой подготовки произносили тост за здоровье хозяйки, затем начиналось чоканье... наконец, стыдили всех, кто не допил, и на время сосредотачивались на закусках...

Настал момент, когда кто-то из них затянул "На позиции девушка провожала бойца..." Тогда молодежь, снисходительная и сдержанная, начала потихоньку собираться в другой комнате возле радиолы. Столичные новинки Ильи вызывали любопытство, но начать танцы никто не решался. Однако и "старички" еще не созрели для смачного пения, поэтому хор их быстро выродился в женский дуэт, а затем и вовсе умер вместе с ямщиком. Они перешли в комнату к молодежи и заполнили ее своими телами и темпераментом.

Кремлевские куранты сменились выстрелами шампанского, криками молодецкого "ура" и визгом, которые напрочь заглушили звон хрусталя. Это был апогей, но и начало настоящего веселья. Опять посыпались бесхитростные тосты, и вдруг кто-то из дам предложил выпить за то, чтобы не было войны. Призрак "желтой опасности" загля-

нул в комнату, но его тут же изгнали дружным хором: "не посмеют, наших старых винтовок на всех не хватает, а водородная бомба зачем!.." Он пытался еще раз — с чьим-то замечанием: "а все-таки, ведь, почти миллиард", но не выдержал едкого: "а для нее все равно сколько", и больше не показывался.

Никто не умел танцевать рок-н-ролл, но чуткая гибкая Маша, преодолев смущение, подчинилась Илье, и он был вполне счастлив. Когда же она по настоянию всех исполнила пару пьес на скрипке, он едва не расплакался, то ли от усталости, то ли от выпитого, и жаловался Маше, что не умеет играть ни на одном инструменте. "Но если меня посадят в тюрьму, — добавил он неожиданно, — и там будет пианино, я обязательно научусь". Девушка звонко смеялась, забавно обнажая голубоватые зубки, — Илья уже не казался ей слишком взрослым и серьезным. Тут к ним подошел ее отец, без пиджака, с расстегнутым воротом рубашки и сбившимся галстуком; она сделала недовольное лицо и не на шутку разобиделась, когда он увел Илью "на разговор". Молодой философ нехотя поднялся и, желая одним ударом разделиться с хмельным оппонентом, сказал:

— Ну, о чем тут говорить! По-моему, у нас вообще нет архитекторов — одни домостроители... Я, например, могу назвать полдюжины западных архитекторов: Ле Корбюзье, Ван дер Роэ, Райт, Джонсон... а советских ни одного не знаю. Даже кто строил МГУ, не известно.

— То-то и оно, что вы перед Западом преклоняетесь, — рассеянно отвечал Дронов, подводя тем временем Илью к столу и наливая две рюмки коньяка.

— Вот она, проклятая и вечная русская формула! — вспыхнул Илья и от коньяка отказался. — Как можно поклоняться западу, северу или северо-востоку? Поклоняются красоте и разуму! Мне тошно смотреть на свой город, на его серую барачную безликость. Я до боли хочу видеть здесь оригинальные, стройные, светлые здания, я хочу видеть г о р о д, а не пятиэтажную деревню. Посмотрите на этот солдатский строй — здесь всякое разнообразие, всякая индивидуальность задушены... Более того, ваши дома внушают людям ежедневно, ежедневно, что они такие же одинаковые, серые пчелки, как эти соты. Страшная, преступная мысль!

Дронов прикончил бутерброд с ветчиной, вытер платком губы и вполне дружелюбно, что даже поразило молодого человека, сказал:

— А вы взгляните на дело с другой стороны. В таком районе живет десять тысяч семей, и у каждой семьи есть своя ванна, кухня, туалет — пардон — а скоро и телефон будет. Тысячи семей, живущих в подвалах, в коммунальных квартирах и просто по нескольку в одной комнате — а, для вас это открытие — мечтают о таких сотах! Где уж тут дворцы строить.

— Ну хорошо, но зачем строить так бездарно? Почему не постро-

ить вместо десятка этих коробок один небоскреб в сорок этажей, а вокруг не развести сад, не оборудовать спортплощадки, бассейны?..

— Объясню, охотно объясню, — улыбался Дронов. — Если задаться целью построить во что бы то ни стало, как, скажем, МГУ построили...

И архитектор весьма точно и исчерпывающе изложил молодому человеку, каких затрат, какой перестройки всей промышленности потребовало бы нетиповое высотное строительство...

— И прекрасно, должна же она перестраиваться, — пожал плечами Илья.

— Вы не поняли меня, молодой человек, — все, все: и стройматериалы, и лифты, и система снабжения, и подъемные средства, и методы строительства... — буквально все должно измениться. Такая перестройка длилась бы не меньше десяти лет, так как понадобилось бы развить целые новые отрасли промышленности, а нас и так жилищный вопрос поджигает — дальше некуда...

Илью уже не тянуло назад к Маше. Этот мужиковатый, изрядно захмелевший человек, без сомнения, знал свой предмет — от деталей до самых общих аспектов.

— А как же у них ТАМ?

— Э-э! У них земля дорогая! Он купил себе клочок земли и хочет выжать из нее максимум выгоды, да побыстрее. А у нас что — у нас земля ничего не стоит, да и хватает ее... — Дронов рассмеялся, отчего Илье сделалось как-то не по себе. Он извинился и вышел на балкон.

Направо была стройка: забор, развороченная земля, блоки, кучи кирпича, песка — все небрежно припорошено снегом и освещено блятающим светом. Слева из пятиэтажки доносилось крикливо-пьяное "на простор речной волны". Дальше чернели и разрозненно мигали домишки "частников". "Ужасно, как это ужасно — "ничего не стоит"! — думал Илья, — "...пала, пала жертвой своей необъятности".

Седьмого — в воскресенье — Дроновы приехали на своей "победе", чтобы вместе со Снегиными идти кататься на лыжах. Рождественский день был морозным и солнечным. Родители отправились в лесок, а Маша, Женька и Илья затеяли катанье на склонах большого оврага. Тут тон задавали местные мальчишки — невозмутимые и дерзкие, они спускались самыми немыслимыми трассами, заражая пришельцев из города. Эти последние с поразительной изобретательностью падали: на бок, плашмя, предварительно сев... и, перепачканные белым, снова лезли наверх. Илья с Машей постояли недолго наверху, смеясь вместе со всеми над неудачниками, затем он несколько раз успешно съехал и, осмелев, отправился искать спуски посложнее. Она следовала за ним как Санчо-Панса и была идеальным болельщиком, ибо успехи его воспринимала как достижения, а неудачи — как случайности. Ему нравились ее глаза: то тревожные, то восторженные, и он искал все более

рискованные спуски, чтобы услышать взволнованный шепот: "не надо, прошу вас, тут невозможно". Наконец случилось то, что неизбежно должно было случиться: на пути его попался небольшой трамплин, правая лыжа ящерицей скользнула вбок, его подбросило и на полном ходу швырнуло на склон... Все перевернулось, смешалось, полетело куда-то и исчезло. Казалось, бесконечно долго он ничего не чувствовал, кроме блаженного покоя. Не хотелось открывать глаза, чтобы не видеть обломков, рваного, не чувствовать боли. Когда он их все-таки открыл, он увидел спешившую к нему Машу.

— Что с вами? Вам больно? — разом выдохнула она свой страх, свою тревогу и опустилась в снег возле него.

Илья слабо улыбнулся и покачал головой.

— Но вы можете подняться? — испуганно прошептала она, низко наклоняясь к нему разгоряченным от бега лицом.

И тогда, не соображая, в неудержимом порыве он чуть-чуть пригнул ее голову и поцеловал эти наивные теплые губы.

— Мне хорошо, как на небесах, — сказал он, блаженно улыбаясь.

— Ох! — вздохнула она, и чего только не было в этом вздохе, — я так напугалась...

— Ну, чего там! Представляю, как это забавно выглядело, — говорил он, высвобождая из-под себя правую ногу, — а, черт! — кажется, недельку мне не придется танцевать, — криво улыбнулся, как поморщился, он. Правая нога болела в колене.

— Болит?! — опять всполошилась она. Давайте, я помогу вам.

В один лишь миг столь многое изменилось для девушки, что тайное желание сделать для него что-нибудь приятное превратилось вдруг в долг, неизвестно кем на нее возложенный. Она словно обрела право заботиться о нем. Собрав палки и обломки лыж, она решительно предложила:

— Опирайтесь на мое плечо, пожалуйста.

— Спасибо, но я, кажется, могу еще сам, и потом, — он взглянул на нее с любопытством, — наверху глазят на нас...

Но ее даже не коснулся смысл его слов.

— Я понесу лыжи, а вы опирайтесь...

— Хорошо, только дайте мне этот обломок — так будет еще романтичнее...

Она недоверчиво взглянула на него — право же, лучше было, когда он лежал неподвижный и беспомощный...

Надо признаться, что это маленькое событие вскоре выветрилось из головы Снегина, оставив лишь ощущение чего-то мимолетно-приятного, ибо мысли его все чаще посещали Москву и с каждым посещением становились тревожнее. В сущности, это были даже не визиты,

а бесконечные диалоги: его — с паном Стешиньским, его — с Анжеликой, отца — с дочерью и его — с собственным Я. Последние, по причине несносного характера Я, были самыми изнурительными. Это продолжалось неделю, десять дней... у него оставалась еще неделя — до начала экзаменов у студентов, которые он должен был помочь принимать шефу — и вдруг, неожиданная, как побег, бледно-зеленый и крошечный, но столь же реальная мысль возникла на вспаханном и взрыхленном поле его сознания: "она уехала". Противная, дрянная мыслишка — ничего не стоило бы задавить ее тяжелым бронированным кулаком логики, но он странно спадал в унижительном бессилии, и росток креп, впивался в землю, захватывал пространство. Через два дня растеньице превратилось в монстра, и, спасаясь, Снегин за два часа собрался и уехал в Москву.



Выйдя из Большого, польский отряд распался на две равных половины. Одна — в составе Карела и Барбары — направилась на юг, в сторону университета, другая — средних лет господин и тоненькая девушка — повернули на восток. Похвалив декорации и хор, ругнув казенно-патриотического Сусанина и бросив уважительное замечание в адрес русского мороза, отец с дочерью достигли гостинцы Берлин. Тут им пришлось перенести собеседование относительно правил внутреннего распорядка гостиницы, показать паспорта и выдержать укоризненно-косые взгляды поверх очков. Дочери это далось легче; что касается пана Стешиньского, он впервые в жизни пожалел, что не говорит по-русски: неуклюжий институт переводов лишил его единственного оружия.

В старомодно-роскошном и одновременно убогом номере он дал выход своему раздражению:

— Никогда к этому не привыкну — люди, которые по роду своей деятельности должны угождать, ухаживать, предупреждать желания, эти люди тиранят и глумятся... Все вверх ногами! Лакеи стали господами, а господа превратились в униженных просителей...

— Кто угодно, только не ты, — улынулась Анжелика, — они чувствуют в тебе господина за двадцать шагов.

— Ты бессовестно льстишь мне, — нахмурился он, но голос его смягчился. — Не знаю, что они чувствуют, но я себя — весьма неудобно.

Пан Стешиньский открыл форточку, закурил и совсем мягко сказал:

— Джи, я хотел поговорить с тобой о... так сказать..., скоро я уеду, а ты, по-видимому, останешься... Мне хочется надеяться, что то доверие, которое всегда между нами было, осталось...

— Да, папа, я уверена, но боюсь, что...

— Я постараюсь понять тебя, — поспешно вставил он, — кроме того, что бы я ни сказал, будет продиктовано любовью... ты не сомневайся?

— Нет, конечно, но мне кажется, я знаю, что ты хочешь сказать.

— Ты всегда была умницей, но сейчас... боюсь, можешь недооценивать многие вещи, видеть их не так ясно. В этой интернациональной среде — ты уже четыре месяца — у тебя могли притупиться национальное и религиозное чувства, а также то, что так архаично звучит, но, тем не менее, существует — чувство крови. Здесь настоящий Вавилон, все перемешалось, и, естественно, может возникнуть чувство, что и во всем мире так...

Пан Стешиньский поискал глазами пепельницу и, не найдя, вы-

бросил сигарету в форточку. Анжелика, лежа на кровати, листала технические проспекты.

— Это похоже на карнавал: музыка, все в масках и кажутся необыкновенными. Но карнавал когда-то кончается, и приходится разъезжаться по домам — кому в бунгало под пальмой, кому в юрту... А Вавилон остается. Только сувениры и знания можно взять с собой, ничего больше...

Его красноречие заставило Анжелику отодвинуть в сторону проспекты. Она лежала теперь на животе, подперев голову, и с улыбкой следила за отцом. Он же продолжал воздвигать из трюизмов, цементируя логикой, внушительное сооружение, пока вдруг не почувствовал, что одна ее фраза может разрушить все его построения. Он растерялся — тут кончалась всякая власть логики. Не мог же он сказать ей: "не надо, не люби этого парня", да и против него самого не находил убедительных возражений. Надо было косвенно, исподволь повлиять на ее сердце, но как? И он пустился в воспоминания. Напомнил, как они всей семьей ходили в незаметный костел на окраине, как отмечали праздники, рассказал несколько подробностей из жизни своего отца, о поместьи под Львовом... Воспоминания воспламенили его, и наконец он решился:

— Ты спросишь, какое отношение... Отвечу — прямое. Это призывает нас, нашу жизнь... А он... конечно, он производит довольно приятное впечатление, можно даже сказать, что он похож на джентльмена... Но если снять эту европейскую оболочку, что рано или поздно должно случиться, ты обнаружишь под ней москаля, грубого и хитрого азиата, коварного и опасного врага Польши, католичества, самого духа европейской цивилизации, демократии.

— Прости меня, папа, — сказала Анжелика, садясь, — но мне кажется, что времена быстро меняются... Теперь все становятся терпимее, стараются понять друг друга. Мы все европейцы, мы так похожи, у нас общая культура...

— Вы все тут ходите в масках, живете одинаковой и не своей жизнью. Поэтому и кажется, что все одинаковы, похожи. Но стоит попасть болгарской девушке в Германию... Можешь поверить опыту моему и твоей матери... Да, Джи, есть такая теория о сближении наций, стирании национальных различий, но разве на практике она не означает, что шотландцам, ирландцам и валлийцам следует побыстрее стать англичанами, австрийцам — немцами, полякам, болгарам, прибалтам и другим — русскими, а в более отдаленной перспективе всем — американцами? Ты думаешь эта теория — новость двадцатого века? Ей столько же лет, сколько существуют на свете империи. Когда Рим стал империей, точно такая же теория превратилась в государственную идеологию. И знаешь, кто был ее самым ревностным сторонником? Да, именно вчерашние колонии, управляемые территории, то

есть те, кому по этой теории надлежало исчезнуть и превратиться в римлян. Появились римские императоры испанского, германского происхождения, и они вдохнули в империю новую жизнь, но они же и скрывали в себе ее гибель. Когда она стала слишком рыхлой, пестрой, потеряла единое национальное начало, она стала разваливаться на куски — сперва на два, а потом...

— Ты не хочешь чего-нибудь выпить? — осторожно спросила Анжелика.

— Да, там есть пиво. В самом деле у меня пересохло во рту.

Он присел к столу и, побарабанив пальцами, негромко сказал:

— Рано или поздно, но эта империя тоже разлетится, и мы — поляки... боюсь, нам еще предстоит схватиться с ними. Ты видишь, "Сусанин" не сходит со сцены, а "Дядя" не постеснялся запретить...

Анжелика молча наливала в стаканы пиво. Казалось, она знала все, что он говорил, и кое-что очень важное — сверх того.

— Ты, может быть, думаешь, что я занимаюсь не совсем уместным теоретизированием? Нисколько! Я говорю о насущных проблемах, с которыми предстоит столкнуться в ближайшие пять, семь лет.

— Эту страну не ждет ничего хорошего, — сказал пан Стешинский, выпив пиво и вытерев платком губы, — когда ее экономика окончательно зайдет в тупик, они опять начнут пожирать друг друга и мечтать о новом Сталине. Все, что мы можем сделать для нее — это помочь ей как можно быстрее распасться. Самое же разумное — держаться от нее подальше, как от падающего колосса...

Он говорил, она слушала. Она понимала его, но в ушах ее не переставали звучать и другие слова: "я хочу видеть тебя, впитывать твой голос, растворяться вместе с тобой в музыке и песнях, дарить тебе твои успехи... хочешь, я стану чемпионом мира по шахматам или лауреатом нобелевской премии?.." Наивные и смешные слова, но как приятно вслушиваться в них!

Наконец пан Стешинский заметил ее отсутствующий взгляд и затененную улыбку. Ему стало страшно, как если бы дочь на его глазах сходила с ума. Вопрос "ты любишь этого парня?" подкатил к самому горлу, но вытолкнуть его Станислав Стешинский не смог и, досадуя на себя за малодушие, сердито спросил:

— Ты хочешь что-то возразить мне?

— Нет... да, видишь ли, папа, — неуверенно начала Анжелика, — я согласна с тобой: они принесли нам много зла — руками немцев разрушили Варшаву, расстреляли наших офицеров и многое другое, — но это было так давно! Когда-то надо наконец забывать старые обиды...

— Если бы они покаялись и просили о прощении, наш христианский долг был бы простить, но они упорствуют в творимом зле, они изворачиваются и нагло врут — пишут сотни книг, пишут параллельную историю... Но, что еще хуже, они навязывают нам — одному из са-

мых свободолюбивых народов — варварскую тоталитарную систему! Зачем они держат не меньше восьми дивизий? Против "империалистов"? Нет, они знают, как мы любим их...

Отец снова ходил по комнате, скупно жестикулируя, не глядя на дочь. Но последние слова произвели — он заметил краем глаза — какую-то перемену в ее позе. Пан Стешиньский круто развернулся: дочь сидела, скрестив на столе руки и уронив на них голову. Он закурил седьмую за день сигарету — вторую сверх нормы — дважды выпустил в форточку дым и мягко спросил:

— Что с тобой, Джи? Ты устала?

Она медленно подняла голову, убрала с лица волосы.

— Как тяжело! Какая мучительная ситуация! Я думала о своих русских друзьях и знакомых... они такие милые и приятные... — "любит, — подумал пан Стешиньский, — она его любит!" — но в целом, я согласна, страшная опасность... И я не понимаю, не понимаю, как это может быть! Как можно много, кучу милых людей превратить в... чудовище?! Мне кажется, что они сами — первые жертвы.

— Каждый народ достоин своего правительства, и не все они такие милые, как твои друзья, — проворчал пан Стешиньский.

— Мы тоже достойны Гомулки?

— Нет, нас это не касается. Если бы не русские, он не продержался бы и одного дня... Впрочем, с нами все ясно — психологически нам, вероятно, легче, чем какому-нибудь порядочному русскому. У нас внешний враг и есть опора...

— Значит, все-таки, признаешь возможность существования "порядочного" русского? — улыбнулась Анжелика.

— Только теоретически, только теоретически. На практике — если честен, то дурак, если умен, то подлец, а если умен и честен, то мертв, или — скоро будет, — рассмеялся пан Стешиньский, но тут же спохватился, заметив, как дрогнуло и исказилось лицо дочери.

— Ужасно... Мне очень тяжело тебя слушать, — чуть слышно сказала она.

Наступившая тишина делалась невыносимее с каждой секундой. Пан Стешиньский побледнел и глухо, растягивая слова, сказал:

— Если дело зашло столь далеко... тогда... я думаю, будет лучше, если ты уедешь...

Она ждала любой вспышки гнева, любой резкости, но только не этого. Увезти ее как нашкодившего ребенка... Однако возражать ему значит только укрепить его решимость. Сказать, что ей самой хочется, что будет скандал, что потеряет преимущества иностранного диплома? Первое будет очевидной ложью, остальное не произведет на него впечатления...

— Конечно, самый простой выход — уехать, правильнее — убе-

жать... Но мне уже не семнадцать, — покраснела она, — и у меня есть гордость...

— Да, понимаю... понимаю, — вполне спокойно начал он и вдруг почти закричал, — но ты женщина! Уж я-то знаю, что это значит! — Это было одно из самых счастливых и глубоких заблуждений пана Стешиньского. — И вы не в состоянии контролировать свои чувства, попросту — теряете рассудок, которого и так мало...

Анжелика подошла к отцу и обняла его за шею.

— У всех женщин — конечно, но ведь я — дочь Станислава Стешиньского...

Он поднял тяжелую голову, взял ее за подбородок и в упор сказал:

— Да, и поэтому я убью тебя, если...

В канун Нового Года пан Стешиньский вылетел в Краков. Помимо всего прочего он сообщил Эстер, что Анжелика увлечена одним русским, но он имел с ней основательную беседу и рассеял ее иллюзии. Как ни странно, эта реляция не успокоила пани Стешиньскую. Она начала обдумывать новые варианты и остановилась вскоре на стоматологе. Пусть Анджей съездит в Москву, они так давно не виделись, может быть...



В поезде он почти не спал — было тесно, душно; скрипело, бросало, толкало; в мозгу заело какой-то механизм, и он ни за что не хотел отключаться. Бледный, с тяжелыми, воспаленными веками дрожал он в телефонной будке, пока какая-то добрая душа не снизошла поднять трубку и позвать Анжелику из тридцать первой.

— Аллоу, Анжелики нет, кто ее спрашивает? — услышал наконец он голос Барбары. — Аллоу, аллоу, вы слышите меня?

— Барбара, это я, где Анжелика? — выдавил он из себя.

— Илюша, дорогой, ты в Москве? Она пошла на консультацию...

Он закрыл глаза и прислонился к стеклянной стенке. Барбара говорила про экзамены, про Новый Год — ничего не задевало его сознания. И только, когда она сказала, что вечером они ждут его, он начал понимать смысл. Однако, в болтовне девушки содержалось и нечто важное, и не пропусти он это мимо ушей, не случилось бы... Впрочем, можно ли осуждать человека в его состоянии, сдавшего за свою жизнь не меньше пятидесяти экзаменов, за то, что он не обратил внимания на подтрунивания Барбары над сестрой. Сдохнет, видите ли, над книгами, перед каждым экзаменом молится и ничего не ест, спит по четыре часа, раздражительна как ведьма...

— Я пролистаю за ночь и получу ту же пятерку...

Это не совсем соответствовало истине. У Барбары случались срывы в образе троек и даже пересдач, но относилась она к ним легче, чем сестра к четверкам. Анжелика владела странным даром подводить преподавателя к тем местам, относительно которых она испытывала неуверенность.

Добравшись до своей комнаты, Илья не раздеваясь лег на диван и проспал молодецким сном три часа. Встал бодрый, полный радостного предчувствия и стал собираться.

Вначале действительность превзошла его ожидания. Анжелика, закутавшись в плед, сидела в полутемной комнате за столом, заваленным книгами, конспектами и листками бумаги, исписанными простым, тонким почерком. Он взглянул на девчоночьи косички, на зябкие клетчатые плечи, и ноги его подкосились. Сделай она малейшее движение ему навстречу, он или рухнул бы на колени, или схватил бы ее на руки... Но она протянула ему холодные, невесомые пальцы и задержала, когда его качнуло к ним.

— Здравствуй, Анжелика! Я так рад... видеть тебя, — говорил он, пытаясь заглянуть за опущенные ресницы. — Знаешь, мне пришла в голову идиотская идея — что ты уехала в Польшу.

— Уехала? Да, надо было, пока не сошла с ума, — она больнич-

но улыбнулась и кивнула в сторону стола. — Вот видишь, завтра экзамен, а я не знаю даже половины этой кучи.

— Значит, — Илья разрезал взмахом руки ворох книг пополам, — вот столько ты знаешь? Я думаю, этого вполне достаточно. Вторую половину мы заменим вином...

Он достал из сумки и водрузил поверх книг пузатую бутылку, а бумаги засыпал мандаринами.

— Но где же Карел с Барбарой? — спросил, бросая на постель пальто.

— Я прогнала их...

— Сейчас найду.

— Ах, нет, не надо... подожди!

Но было поздно. Он выскочил и пошел на третий этаж к Карелу. Только теперь Анжелика поняла, что он в самом деле хочет организовать вечеринку. Она в отчаянии опустилась на стул. Нет, так невозможно жить; то сестра, то Карел, другие бездельники... и даже Илья — бесчувственный как чурбан! Ведь сказала же, что завтра экзамен...

Барбару с Карелом не пришлось долго искать: они сидели в его комнате, грязной, прокуренной и полной пришлого народа. Толстый лохматый венгр Золтан терзал волосатыми руками гитару и ревел что-то нечленораздельное "под Армстронга". В выхлопной табачной дымке плавали лица, подернутые кайфом. Несколько голосов приветствовали Снегина. Он пошел на радостно вздернутые руки Барбары и втиснул себя в крошечную щель между спинкой кровати и ее бедром.

— Давай, драгош, эту: там, ла-ла-ла, т-а-а-м, — напела она венгру мелодию.

Золтан без слов и без перехода начал что-то очень знакомое. Он ласкал и мучил гитару. Наклонялся, прислушиваясь и шевеля губами, откидывался, словно собираясь отшвырнуть свою жертву. Лицо его, серьезное, почти сердитое, странно контрастировало с музыкой, то нежной, то зажигательной.

— Давай споем Боба Дилана, — шепнул Илья Барбаре, которая, как и он, едва сидела на месте.

Она взяла у Золтана гитару и, мерно покачиваясь, стала нанизывать завораживающие аккорды на шелковую нить мелодии. Потом, выдержав паузу, запела:

— O... oh, mister tumborine — man, play a song for me...*

— I am not sleepy, and there is no place I am going to...* — сменил ее Илья.

Барбара повторяла свой призыв, а Илья голосом усталого, удрученного человека отвечал ей. Вскоре он так увлекся, что слова, простые

* О, господин барабанщик, сыграй для меня песню.

* Мне не спится, да и пойти мне некуда. (англ.)

и забавные, сами стали приходить в голову — получалась импровизация в стиле негритянских spirituals. Время от времени на губной гармошке вступал Золтан, и Барбара прихлопывала в ладоши...

Никто не оставался безучастным: все улыбались, покачивались, топали ногами и хлопали в ладоши. Илья блаженствовал, закрыв глаза и запрокинув голову, но отсутствие Анжелики становилось все нестерпимее. Ну, почему она там, не поет вместе с ним, не смотрит на него, не касается быстрыми вкрадчивыми пальцами?.. Он нагнулся к Барбаре и шепнул:

— Пойдем туда, развеселим, растормошим ее... есть вино...

Идея привела Барбару в восторг: позлить сестру, с помощью Ильи! — прекрасно!! Она передала гитару венгру и, не одевая туфель, выбежала в коридор. Через минуту трое парней и босая девушка, не переставая "импровизировать", ввалились в комнату №431.

Анжелика, которая совсем было успокоилась, решив, что до него все-таки дошло, машинально поднялась со стула и прижалась спиной к фотографии Вестминстера — две колючих башенки увенчали ее шотландские плечи. А в комнате разыгрывался спектакль. Карел с Ильей отодвинули стол, раскупорили бутылку и, не переставая приплясывать, чистили мандарины, Золтан играл верхом на тумбочке, Барбара металась...

Забавное, в общем-то, зрелище казалось почему-то Анжелике до такой степени нелепым и диким, что в первое мгновение она не могла произнести ни слова, только глаза ее расширились и сужались зрачки.

Огромное, лохматое чудовище рычало, ревело и рвало гитару, ее милейшая сестрица кривлялась в немыслимом наряде, Илья с лакейской лощеностью и глупейшей улыбкой скользил по комнате, угощая всех вином из единственного стакана, который непрерывно пополнял из бутылки в другой руке. Карел, с мрачным, тяжелым лицом инквизитора, собирал в охапку и сваливал зачем-то посреди комнаты книги, затем зажег спичку и сделал вид, что поджигает. Подхватив его мысль, Илья приблизился к Анжелике и, отвратительно гримасничая, стал жестом приглашать ее "на костер".

Опьяненный, охваченный неистовой жадной жаждой веселья, он смотрел на нее и не видел, как бледнеет лицо, сжимаются губы и темнеют в ярости глаза. Бешенство наполняло ее, а их веселили и заражали собственные выходки...

В то мгновение, когда Илья грубо, как показалось ей, схватил ее за руку и потащил в центр дьявольского вертепа, она с искаженным, обезображенным лицом выдернула руку и коротким, но сильным взмахом огрела его по лицу, крикнув яростно и властно: "Przee, bydło!!" и еще — по-русски: "Убирайтесь прочь! Все!!"

* Прочь, было!

”Уе-е-е...” — пел Золтан, но, подняв голову, смолк. Секунду, вторую, третью стоял Илья, оцепенело закрыв лицо руками, потом оторвал левую, подхватил пальто и, волоча его по полу, вышел. За ним почти сразу же потянулись трое. Анжелика заперла на ключ дверь, села к столу, взяла машинально недочищенный мандарин, очистила, отслоила дольку, укусила... тут что-то надломилось в ней: ее встряхнуло, и первые слезы покатались на бумагу...

Илья брел скрипучими аллеями бесцельно, бездумно. На душе была тоскливая безмятежность, лишь временами волны обиды затапливали мозг и смывали слабые побег мысли.

На другой день пришла Барбара и принесла забытые им вещи. Она говорила, как напугала их ”эта сумасшедшая”, что она, Барбара, во всем виновата, хотя ничего страшного... Илья смотрел в окно. Она подошла и заглянула сбоку ему в лицо: оно было ужасно. Ей хотелось сказать, что сестра, видимо, плакала, оставшись одна, что экзамен сдавать не пошла, и напрасно — принимал милейший Иван Федорович, а их изверг заболел, все получили прекрасные оценки — даже такие отъявленные тунеядцы как она... Ей хотелось утешить его, погладить светлый завиток на шее... но как подступиться? Эта окаменелость, болезненная гримаса... В конце концов, можно понять ее выходку и не судить слишком строго — она буквально помешана на экзаменах, да и они слегка пересолили — нельзя так играть с огнем...

Барбара коснулась робкими пальцами его затылка, он вздрогнул судорожно, как засыпающий, и, повернувшись, сказал:

— Ты иди, Барбара... Извини меня и уходи... Спасибо... за это, но, пожалуйста, уходи.

Она растерянно глядела на него, несколько не обидевшись, скорее досадуя на себя за причиненную ему боль и лихорадочно соображая, что еще не поздно предпринять. Но он не дал ей ничего придумать — взял за плечи, развернул к двери и стал мягко подталкивать, приговаривая:

— Ты чудесная, милая, Барбара... но иди и прости меня...

— Только не будь таким решительным... легче смотри... — бормотала она, нехотя повинувшись.

Не было, пожалуй, случая, чтобы он не проводил гостя хотя бы до лифта, а выставить... да еще девушку!.. Он торопился к себе, туда, где в небольшом куске пространства все было пропитано мыслями и мукой, где ждали новые свидетели его позора и ужаса. Записка? Какой-нибудь знак, вещичка?..

Он с суеверным трепетом открыл сумку. Ничего: перчатки, шарф... — безжалостная пустота! Ничего! Н и ч е г о! Конеч!.. Вышвырнут, отрезан...

Пустота в груди стала быстро заполняться теплой, соленой жалостью к себе. ”Почему, по-че-му, п-о-ч-е-м-у?” — противно стучало

в висках. Ответ не приходил. Тогда вопрос изменился: "почему такое презрение, почти ненависть?" Непонятно. Невинные дурачества... Он заставил себя вспомнить подробности и, выхватывая одну за другой — то бледное лицо, то потемневшие от ярости глаза, то гримасу отвращения, рвал и растаптывал собственную душу. Идиот! Комедиант! Дикарь!.. Но не было ничего страшнее слова "быдло!" : оно жгло, от него темнело в глазах... Боль делалась невыносимой, и тогда из каких-то темных тайников поползла злость — холодная и беспощадная. Эти разные потоки, сталкиваясь, производили странную смесь из щемящей жалости и крепнущей злости. И если первая, тесня грудь, прорывалась наружу рыданиями и всхлипываниями, вторая — сжимала челюсти, не давая вырваться ни единому звуку.

Илья метался, падал на диван, лежал, вскакивал, подброшенный чудовищной силой... и наконец устал, расслабился. Постепенно к нему начала возвращаться способность анализировать, и почти сразу же стало чуточку легче. Конечно, он вел себя как фигляр, как идиот, но не заслужил т а к о г о оскорбления. Это спесь, про которую говорил Карел... В сущности, он только помог ей прорваться... Нет, это просто трагическое недоразумение... А отец? Ах, да — отец! Надутый сноб, слепой догматик, это его влияние. Впрочем, такого не случилось бы, испытывай она к нему хотя бы... Боже, а он, идиот, возомнил было... потерял всякую ориентацию!.. Она сносила его приставания, его мужицкие ухватки, пока наконец не выдержала. Боже, какое ослепление, какая мука!..



Илья заболел. Кусок ледящей пустоты давил на сердце, теснил дыхание, туманил голову. Он сидел за двумя замками и прислушивался к боли в груди. Время от времени Я делало попытки "вытряхнуть дурь" едкими замечаниями, призывами взглянуть на себя со стороны. "Дурь" отступала на мгновение, чтобы тут же с новой силой навалиться опять — парализуя и обессиливая. Становилось совсем тошно — ему хотелось реветь, дергать волосы, биться головой... и, может быть, помогло бы, но он лежал ничком и вслушивался в то, как пустота разъедает душу.

На третий день он вышел из комнаты, позавтракал, побродил университетскими закоулками и вдруг почувствовал, что не может идти в свою душегубку... До экзаменов оставалось два дня... Он быстро собрался и уехал во Владимир-Суздаль.

Ему давно хотелось посмотреть на древне-русские заповедники, никогда не было времени удовлетворить свое любопытство. Но теперь не любопытство влекло его вперед — он бежал из опостылевшей Москвы, смутно надеясь почерпнуть в развалинах и храмах их вековой мудрости и спокойствия.

Первое чувство шевельнулось в нем, когда поезд вырвался из урбанизированного Подмоскovie в незамкнутое снежное пространство. Оно на глазах раздвигалось, расширялось и поглощало все следы человеческой деятельности. Дома становились мельче и невзрачней, зато величественней выступали сосны в боярских соболях и все великолепней делались зимние пейзажи в раме окна. Когда встречались испуганно сбившиеся в кучу домики, Илья с жадностью набрасывался на них, выхватывая колодцы, поленницы дров, задубелое на морозе тряпье, дряхлые пристройки и заборчики... и отступала, притуплялась его боль, чтобы уступить место другой... Дурак он был, дурак — какая тут, к черту, "тесная связь с мировой экономикой"! Плевали эти хибары на все поколения компьютеров сразу, на курс доллара и цены на нефть, на лазеры, на композиционные материалы и зеленую революцию, на кабельное телевидение и видеоманитофоны, на супертанкеры и поверхность Луны... Дожливо будет или сухо, тепло или холодно, а в конечном счете — урожай или неурожай, вот подлинная проблема... Неужели Игорь прав — та же дикость, патриархальная лень, крепостное право?.. Но ведь — дороги, электричество, телевизоры?.. Ну и что! А корова, колодец, дрова, печка остались. Ведь можно строить дома с большими окнами, с отоплением и ванной, продукты покупать в магазине? Нет, не хотят, не шевелятся...

Илья отвернулся от окна и оглядел вагон. Современный — с

откидными, как в самолете, креслами, а лица все те же — бездумные, некрасивые, сонные, и неизменные сетки, сумки, мешки, узелки... Сосед — веснучатый парень лет девятнадцати, два часа уже снедаемый любопытством, — шевельнулся и спросил, указывая на детектив Агаты Кристи на коленях Ильи:

— Это по-какому, по-немецки?

— Нет, по-английски. — покачал головой Илья, присматриваясь к парню, в котором нежность еще не тронутых бритвой щек сочеталась с крепкой шеей и вязкими мышцами.

— А... а; можно посмотреть? — с достоинством спросил сосед и после разрешающего кивка осторожно взял книгу. Бегло осмотрев картинки на обложке, перелистав и не обнаружив — других, он вернул, не выразив на лице никаких эмоций. Затем спросил, нисколько, впрочем, не сомневаясь, — учишься?

Илья ощутил легкую неуверенность: что он, учится или работает? И уклончиво ответил:

— Да... можно сказать...

— На кого?

— На физика, — ответил Снегин после нескольких секунд колебаний.

— А... а; учителем будешь?

Разговор явно не налаживался, и было не понятно, почему. Что мешало ему сказать все как есть? Боязнь, что парень не поймет его? Пожалуй, но было и другое: какое-то непонятное преимущество на стороне парня. Какзалось, он твердо знает, как жить, что делать, что нужно ему да и вообще — людям. Негодуя на себя за невольную ложь, из которой теперь не выпутаться, Снегин сказал, что будет научным работником — из тех, кто разрабатывают разные там штучки... "бомбу" — подсказал сосед, "ну, и это тоже..." — окончательно смутился Илья. Но именно тут его мучения кончились, ибо кто же у нас не знает про бомбу, в частности, — что о ней нельзя спрашивать: Анатолий, как он солидно представился, прекратил дальнейшие расспросы, молча встал и удалился. Вернулся он довольно быстро с бутылкой портвейна в одной и с бумажными стаканчиками в другой руке. Мало того, карман его пиджака оттопыривал кулек с конфетами "Школьные". Илье даже в голову не пришло отказаться от угощения. Он выпил два стаканчика, не задерживаясь на вкусе и запахе, и был вполне вознагражден за свою смелость: неловкость его бесследно прошла. Теперь рассказывал Анатолий.

Он возвращался с артелью домой с архангельских лесозаготовок. В кармане у него было несколько десятков рублей, на сотню он вез столичных покупок — главным образом, продуктов: колбасы, ветчины, сарделек, крупы, сушек, конфет, апельсин... Но главный капитал — пятьсот рублей — был тщательно вшит за подкладку полушуб-

ка и согревал сердце своей приятной округлостью. Из его слов выходило, что в деревне теперь стало "можно жить — были бы руки на месте". А на заработки ездят, так как справному мужику в колхозе, если не механизатор, делать нечего. Три месяца они погуляют, отдохнут, а потом опять; только вот ему в армию весной...

Илья с жадностью выпрашивал подробности про снабжение, телевидение, связь с райцентром... вслушивался в чуть странную речь и нежился в тонком дурмане похвал, исходящих самому себе — как естественно и просто нашел общий язык с работягой, преодолел казавшуюся бездонной пропасть... Из нежных летних впечатлений, осевших в памяти после походов по подмосковью, тянувшихся из детства, когда по месяцу-два жил "для поправки" в деревне, подыскивал он плоть для слов Анатолия, а не найдя, задавал уточняющие вопросы. Тот охотно отвечал, дивясь такому интересу к своей скромной персоне: корову надо пасти, а на зиму — запастись сеном, хорошо, если есть лес — можно накопить; зерно скармливают курам да свиньям, хлеб нынче не пекут, покупают в сельпо, а белый — в райцентре...

Из всего потока слов одни: сено, лес, косить, зерно и даже корова... легко проникали в душу, другие, корявые как шлак, — трудодень, райцентр, сельпо, телевизор... застревали. И вот сперва померещилась, а затем — когда солнце наклонилось и бросило скользкие лучи на заносы бешеных вьюг — отчетливо обозначилась дорожка, ведущая в прошлое. В сумеречных глубинах Ильи зашевелились, заволновались похожие на тени растения, которые неизвестно зачем там живут. Так же шевелились они, когда он слушал Шаляпина и так же нашептывали сквозь толщу, а скорее — телепатически внушали, что и он русский, и его прадед косил траву, валил деревья, пас лошадей...

— Слушай, поехали с нами! А что, погостишь недельку... — неожиданно предложил Анатолий, — батя у нас хороший мужик, с братьями познакомлю...

А что? — как эхо откликнулось в Илье, — поезжай! Такой случай увидеть все, как есть. Плевать на экзамены — справится Галин и без тебя. Зато настоящая деревня — квашеная капуста, русская печь и песни под сагоном...

Илья, не отвечая, зажмурился. Какие-то посконно-сермяжные образы из книг и забытых фильмов, как крепким запахом, обдали его, и он едва не кивнул. Но раздался властный окрик "ты что?!", и, еще не понимая, почему, он уже покачал головой. Краснея и сбиваясь, извинился за отказ, ссылаясь на экзамены — нет, не сдавать, принимать — по философии, — зарделся вдвое, проговорившись, проклиная себя за неспособность на русское "была не была!", за рабское почитание "долга", который, противно брюзжа, подсчитывал его прогуланные дни, недели, месяцы и казенным голосом звал к "полезной деятельности"...

Владимир ему решительно не понравился. Один только раз сладко екнуло сердце: когда от поезда взглянул он на князьминские кручи, на соборы и мелковатую кремлевскую стену. Тут же была и гостиница, лучшая, как оказалось потом. Оставив сумку, он немедленно отправился к соборам. Приятное волнение несколько даже усилилось, когда он подошел к Дмитриевскому. Изумительные пропорции и чистота линий, не нарушаемая первобытной лепкой вверху, складывались в витязя — в плаще и шлеме. Подойдя к самим стенам, Илья задрал голову, желая рассмотреть строй ватных фигурок, похожий на древнеегипетскую письменность, как вдруг золотой полукупол оторвался и поплыл над соснами перевернутым кубком. С торжественно кружащейся головой Илья обошел витязя и, не найдя возможности проникнуть в недра, двинулся к Успенскому собору. Тут его поджидало первое крупное разочарование: в пяти метрах от красавца бесстыдно и нагло расположилась индустрия утробных развлечений — забегаловка-пивнушка, качели и народный тир. В храм доступа не было. С этого момента настроение его покатилося вниз, несмотря на редкие всплески радости возле какой-нибудь забытой церквушки. Заброшенные, ни на что не пригодные, они мешали грязноватому, хамоватому новому Владимиру. Однажды упустив удобный случай, он теперь не мог ни отодвинуть их, ни обойти и, проклиная ненужное старье, расползался по окрестностям пятиэтажными танками.

Еще раз на мгновение явился Илье мираж древне-русского города, когда автобус выбрался из ложбины и показались очертания Суздаля, с его колокольнями, куполами и башенками...

Поездка подействовала на Илью как укол новокаина: чувствуешь, что боль не ушла совсем, а затаилась где-то поблизости и вот-вот выскочит. Он одурманивал себя работой: за два с половиной месяца написал работу, которая вполне удовлетворила Галина и не очень жгла его собственную совесть. Мастерски проведя анализ всех аспектов проблемы, затронутой Слитой, он подводил читателя к выводу, однако сам его не формулировал.

Физика утверждает, что с понижением температуры вещества его молекулы все меньше мечутся и охотнее ориентируются. Так и мысли Илья теперь легко и послушно выстраивались в длинные, стройные цепочки. Состояние, в котором он работал, имело мало общего с той лихорадкой, когда руки дрожат от боязни упустить мысль, когда мозг упивается своим могуществом и беззвучно хохочет на всю Вселенную. Илья работал холодно и много, неделями не выходя дальше спортгородка. Правда, вскоре после поездки во Владимир он, не в силах нести бремя впечатлений, посетил Андрея и, разумеется, имел с ним и Игорем дискуссию.



Андрей что-то лениво чертил в громадном альбоме и слушал Игоря, который говорил об экономических реформах в Чехословакии и Венгрии. Странно, но они почти никогда не спорили друг с другом — кажется, долгие годы дружбы настолько притерли их, что столкновения не высекали огня.

По тому, как Илья с нечуткостью одержимого идеей человека вторгся в их беседу и обратился к Игорю, едва удостоив взглядом хозяина, видно было, что у него накопело.

— Был я недавно во Владимире-Суздале и, должен признаться, вспоминал ваши слова на каждом шагу. Великолепные, величественные пейзажи, а жизни нет, не чувствуется. Она попряталась по избам, и сразу же стало ясно, какая непрочная, наносная человеческая деятельность, как бессильна она перед этой бесконечной снежной пустыней.

— Как т-тебя занесло? — поинтересовался Андрей.

— Да так... экскурсия... — как-то скомканно ответил Илья, и Андрей подозрительно взглянул на него.

Игорь что-то искал на книжных полках, нашел и начал читать: "Вот уже почти полтора века лет протекло с тех пор... И до сих пор остаются так же пустынные, грустные и безлюдны наши пространства, так же бесприютно и неприветливо все вокруг нас, точно как будто мы до сих пор еще не у себя дома, не под родной нашей крышей, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге..."

— Поздравляю, вы доросли до Гоголя! — добавил он без тени улыбки на лице. — И не обижайтесь, у него была гениальная художественная интуиция. Вы почувствовали? — эти рожи, эти тупые, оболваненные рожи! Прошло сто пятьдесят лет от Петра до Гоголя, еще сто двадцать — от Гоголя до нас — со всеми паровозами, самолетами, телевизорами и поголовной грамотностью, а канонические черты русского пейзажа и, что еще существенней, русской физиономии, подмеченные Гоголем, как каинова печать отличают и еще через двести лет будут отличать русского от всех других народов. Вот послушайте Герцена: "Есть нечто в русской жизни, что выше общины и государственного могущества: это н е ч т о трудно уловить словами и еще труднее указать пальцем. Я говорю о той внутренней, не вполне сознательной силе, которая так ч у д е с н о сохранила русский народ под игом монгольских орд и немецкой бюрократии, под восточным татарским кнутом и западными капральскими палками..." — Что же ты! Читай дальше, не стесняйся, — спокойно сказал Андрей.

— Я не стесняюсь, я стыжусь! — Александр Иванович изволил далее шутить, да так неуклюже... а ведь я его уважаю. И тебя не хочется

ставить в неловкое положение, но, если ты настаиваешь, пожалуйста: "...о той внутренней силе, которая сохранила прекрасные и открытые черты и живой ум русского крестьянина...". Что, погладил по шерстке?

— Скалишься?! Да ведь ты сам Орлов!

— Да, а ты Покровский, он Снегин... Ну и что? Европейский налет, сыпь на азиатском теле... знаешь, в бочке с солеными помидорами всегда слой плесени наверху. Продукт в рассоле отлично сохраняется, но процесс брожения никогда полностью не прекращается — проникают микробы сквозь поры, воздухом заносятся... Полезное вещество — пенициллин содержит, одначе не нужно. Вот его и стирают время от времени, чтобы продукт не портился...

Игорь быстро сбился с мягко-насмешливого тона, в котором начал, а тут и вовсе замолк. Затем, странно улыбаясь, с ядовитой вкрадчивостью сказал:

— Попомните мое слово — никто из нас не кончит добром. Все до единого будем в лепрозории! Этот народ органически не терпит исключений!..

— А какой народ терпит? Вспомните доктора Штокмана у Ибсена, — поспешно, чтобы заглушить неприятный холодок, вставил Илья.

— Э-э, доктор Штокман! Бросил открытый вызов, поставил свой городок на край банкротства, и что ему? — побили стекла! Его не только не убили, ему позволили остаться в городе и готовить себе из мальчишек собственную гвардию! Вы лучше вспомните, что сделали с четырьмя тысячами интеллигентов, отправившихся "в народ" в 1874 году. Любопытно, что многие объясняют тем, что, мол, не понимали друг друга, явились как иностранцы... Смешно, дико! Во-первых, никакими они иностранцами не были — нищие недоучившиеся студенты, половина которых уже тогда была из третьего сословия... А если даже иностранцы?! — можно грабить, избивать, издеваться и выдавать полиции?! Патологическая ненависть к "немцу" настолько органично присуща данному народу, что никто даже не отметил жуткого оттенка в этом объяснении! — почти выкрикнул Игорь и спокойней продолжал. — Язык, манеры, одежда отличались, пусть, но ведь пришли-то они с добром! — уж это-то мог почувствовать "идеал красоты человеческой"?!..

— Перебарщиваешь, старик! — буркнул Андрей.

— Я перебарщиваю?! — взвинтил интонацию Игорь, выхватил книгу и трясущимися руками начал листать. — Это твой разлюбленный Федор Михайлович, а не я... Вот — "Из записной книжки": "Идеал красоты человеческой — русский народ. Непременно выставить эту красоту, аристократический тип..." Хочешь еще? Прошу: "О, он не оскорбит его, — человека других воззрений, не прибьет, не ограбит и даже слова ему не скажет. Он широк, вынослив и в верованиях своих

терпим...". Знать надо своих кумиров, все их глупости! Это начертано в 1883-м, любопытно, что бы он воскликнул в 1920, или в 1937 годах?! Слава великому советскому народу!!

Игорь в изнеможении сел, выставив костистый лоб с мохнатыми бровями. Ему никто не возражал, и, отпив вина, он тише продолжил:

— Мужички не доверяли пришлому интеллигенту (это все признают), т. е. не верили в его добрые намерения. Но почему? Да потому, что сами всегда норовили обмануть ближнего и никогда ничего не делали из филантропических побуждений. Со временем они все-таки убеждались в его бескорыстии и тогда не могли не вспылать к нему ненавистью низшего к высшему. Это так психологически просто: честный человек и других считает честными, а негодяй во всех предполагает негодяев. Русская интеллигенция прошлого века по общему признанию — и Достоевского в том числе — была благородна, честна, склонна к самопожертвованию... и, естественно, переносила эти качества на народ. Зато, если почитать тех, кто писал народ с натуры — Успенского, Тургенева, Бунина, Чехова... — иллюзий насчет мужика при всем желании не останется...

Игорь замолк, потирая виски, и Андрей успел скороговоркой заметить:

— Стоило огород городить, чтобы доказать банальнейшую из истин!

— Да-а-а?! Ба-наль-ней-шую?! — взвился Игорь. Голос его напоминал свист приближающегося снаряда. — Отчего же, простите дурака стоеросового, десять тысяч образованных русских думало наоборот?! Нет, Андрей Платонович, это великая истина, и я поздравляю вас: одной славянофильской болезнью вы переболели! Впрочем, не мудрено... — при современных антибиотиках-то... Сколько инъекций твоей фамилии сделано, а? Скажи, где твой дед и что с отцом?

Илья перехватил и по-своему расшифровал телепатический обмен репликами: "вот это уж совсем ни к чему!" — "дурацкая скромность!" Ему стало жаль Андрея, и он поспешил вмешаться.

— В самом деле, Игорь, такое ощущение, что вы не договариваете. Ведь то, что вы доказали, в сущности тривиально: образование облагораживает, смягчает нравы...

— У меня сводит скулы от этих слов! — поморщился Игорь — Я назову вам полудикие народы, которые мягки, добры, доверчивы, которые почитают своих священников, врачей и ученых, и — другой, "просвещенный", учащий прочих уму-разуму, который пуще всего на свете ненавидит все инородное, непохожее и в первую очередь — свою творческую интеллигенцию. У Гарина-Михайловского есть рассказ, как односельчане затравили своего же мужика за то, что у него не лежали к сельской работе ни сердце, ни руки. Он не походил на всех, он хотел уехать из деревни в город, но требовалось разрешение общины, а

она, пользуясь своей безграничной властью, всласть над ним поизмывалась. Вот она — русская национальная неповторимость! Вот он, и корень зла! Из него растут все наши бунты, погромы и революции.

— Не понимаю, откуда могла взяться такая нетерпимость и почему она играет решающую роль в нашей истории, — пожал плечами Илья. — Когда-то вы упрекнули меня, и я принял к сведению, а теперь сами, по-моему, грешите тем, что ищете одну — простую и универсальную — формулу: борьба классов наизнанку!

— Ха-ха! Сподобился! — хохотнул Андрей.

— Не классов, не классов, — поморщился Игорь, — Европы с Азией. На средне-русской равнине никогда не прекращалась схватка Европы с Азией. Две различных, антагонистических культуры сталкивались здесь и попеременно одерживали верх. В киевский период преобладало европейское начало, затем торжествует Азия, с Петром верх берет Европа, но Азия подспудно крепнет — в массе закрепощенного крестьянства — и наконец опрокидывает европейскую надстройку. Мне думается, что в рамках существующей системы борьба закончилась. Никогда еще общество не было столь однородным, никогда инородные элементы не выпалывались с такой тщательностью, а потому и система прочна, как ни одна из предыдущих. Знаете, в связи с пересадкой сердца мне не дает покоя одно сравнение: Петр и его последователи пытались пересадить на азиатское тело России европейскую голову; болезненная операция прошла, казалось, успешно, и голова прижилась; на самом деле организм не переставал сопротивляться — часто болел; наконец, наступил кризис, и тело отторгло инородную голову; на ее месте остался некий рудиментарный орган, отдаленно напоминающий голову и исполняющий ее физиологические функции.

— Все это так странно, хотя и производит впечатление, — сказал Илья, словно размышляя вслух. — Вы оперируете образами и понятиями, которые не поддаются не только оценке, но даже определению. Что такое Европа? Что такое столкновение двух культур?..

— Это философские категории, и мне они говорят больше, чем какая-нибудь "рыночная стоимость товара".

— Ну почему! Если речь, скажем, идет о рыночной стоимости автомобиля, то очень низкая, доступная каждому цена приведет к массовой автомобилизации населения, перестройке всего быта и в конечном счете — к ощутимой перемене мировоззрения.

— Бытие определяет сознание? — чуть слышно процедил Игорь.

— Вне всякого сомнения, на девяносто с чем-нибудь процентов. Скажите, кем будет сын русских родителей, выросший, скажем, в Англии?

— Я отвечу вам словами Гитлера: "Лошадь останется лошадью, даже если она родилась в свинарнике".

— Хм, эффектно, но столь же мало приближает нас к истине, как

и ваш "рудиментарный орган"... Вы явно преувеличиваете значение наследственности и недооцениваете влияния быстрых перемен в мире. Примеров бесчисленное множество — возьмите только Японию, которая сто лет назад...

Илья замолк, так как Игорь отчаянно замахал руками.

— Ну, хорошо, оставим наш спор, мы говорим на разных языках... Но вот о чем я хочу давно вас, Игорь, спросить. Вы участвовали в демонстрации, значит, вы хотели что-то сказать людям? Предположим, вам дали бы сейчас микрофон и вся страна замерла, приготовившись слушать, что бы вы сказали людям?

— Во-первых, должен вас огорчить — я не трибун и шел на демонстрацию не ради народа. Я шел из сугубо эгоистических целей, зная, что народ меня будет бить, надеясь на это... Удивительно?

— Да... непонятно... — кивнул Илья.

— А между тем все очень просто. Я ходил в десткий садик и пел песни про Сталина, был пионером и клялся в верности делу Ленина, был комсомольцем и писал сочинения про Павку Корчагина... пока однажды мне убедительно не доказали, что я не мыслю, а слагаю кубики готовых стереотипов. Я ужаснулся, меня потрясло ощущение собственной запрограммированности, принадлежности к массе — в этот момент была зачата моя личность. Это случилось в десятом классе. В университете эмбрион созрел, но он мог и не родиться... Когда нас запикивали в машины, втихаря мяли бока... я кричал, и это было рождение. А что бы я сказал?... Да что там говорить, бесполезно! Впрочем... — Игорь встал, положил руки на спинку стула и отдельно произнес, — я бы им сказал: "Люди, требуйте, чтобы вам вернули ваши головы!"

— Сердца, лучше... — негромко сказал Андрей, и веское молчание завладело всеми. — По-моему, головы у них есть, сердец нет. Строят дома, делают машины, пишут романы и оперы... а все от рождения мертво, засыхает на корню, разваливается. Души нет, не одухотворено — как депульпированный зуб. Кажется, зачем ему мягкая ткань, пульпа; сделай его из цельной кости, прочнее будет. Ан нет, зуб без пульпы крошится и в несколько лет разрушается, как этот дом напротив — ему десяти лет нет, а он рассыпается. Пришлось цеплять сетки, чтобы не убило кого...

— Бог ты мой, какими категориями вы мыслите! Что за афоризмы! — нетерпеливо перебил друга Илья. — В дом, видите ли, не вкладывается душа! Борьба идей! — говорит Инна. Я начинаю думать, что эта расплывчатость суждений, это доброжелательно-расплывчатое видение мира является нашим национальным пороком, точнее — неистребимой недостаточностью нашей интеллигенции. Как и сто лет назад нам, кроме общих весьма благородных принципов, нечего предложить народу, ибо мы отвергаем чужое и не можем придумать ничего своего... Нам не хватает позитивистской прививки, чтобы разработать из общих

принципов систему конкретных рекомендаций... В результате нам нечего противопоставить тем паршивым полутора процентам, которые все-таки дает существующая система народу...

— Ты бы хотел, чтобы мы предложили ему три?

— И по две акции? Вы хотели бы полуголодное хамье превратить во вполне довольных мещан? Не знаю, что хуже.

— А вы что, мечтаете, что он вдруг покается, оденет белые одежды и выстроится в очередь у райской двери? — отяжелевшим от волнения языком говорил Илья, фокусируя серые зеркала зрачков то на Андрея, то на Игоре. — Я предлагаю ему не три процента, а подлинную жизнь с риском, страстью, свободой созидания... Если же он когда-нибудь погрязнет в довольстве, я первый стану тормозить его, злить и подталкивать вперед...

— Куда же, Ильюша?

— Куда?! К овладению природой, к совершенствованию! — выпалил Илья и, устыдившись собственной наготы, встал, отвернулся, но тут же поспешил набросить на себя словесное покрывало. — А вы, Игорь, что вы можете им предложить, посоветовать?

— Я не знахарь и не шарлатан-аптекарь, чтобы торговать сомнительными рецептами. Я историк, и я наблюдаю с доступной мне невозмутимостью, как в тысячный раз начинается, достигает апогея и кончается роман честолюбивых героев с капризной и грязноватой девкой по имени масса. Фабула давно известна, но некоторые детали весьма любопытны. Герой, например, является то суровым воином, то неумытым бродягой, то высокомерным аристократом, то своим в доску парнем, но всегда ей бесстыдно льстит, всегда сулит рай и презирует в глубине души. А она кокетничает, ломается, делает вид, что верит и мечтает поскорей отдаться... Ну, апофеоз их романа банален до неприличного: она поклоняется ему, а он тем временем торопится взнудать. Она любит твердую руку — чем тверже рука, тем слаще измена... В финале герою рубят голову, а иногда...

— Это ужасно! Черт те что, — проворчал Илья и обернулся к Андрею. Тот улыбался, пощипывая бороду.

— Впрочем, у каждой нации роман протекает в своем темпе, со своими ритуальными танцами... Английская мисс, к примеру...

Снегин решительно поднялся, и Игорь смолк с быстро таявшей улыбкой на губах.

— Это ужасно! Какой скверный душок у ваших глумлений... Ничего святого. Отвратительная смесь пессимизма с цинизмом... Не понимаю!.. Я пойду, пожалуй, — сказал он, обращаясь к Андрею, зная, что вот-вот наговорит, или уже наговорил, грубостей. Покровский подошел к нему и мягко попытался успокоить, упрекая в том, что он понимает все слишком буквально. Но Илья уже шел к двери. Вдруг

он остановился, словно заметив в последний момент стеклянную стенку.

— Я далек от того, чтобы поклоняться народу, — сказал он, держа за ручку, как бы предупреждая, что не потерпит возражений, — но мне мучительно больно видеть его состояние, а вас оно забавляет. Ваш цинизм не только бесплоден, он разрушает все человеческие ценности.

Он суетливо прикрыл за собой дверь, но реплика: "Ложные ценности, ложные!" настигла-таки его и передернула ему плечи.

В коридоре, помогая Снегину одеться, Андрей спросил про Стешиньских, тут же понял, что допустил оплошность, попробовал исправить ее библейской мудростью: "ничего, перемелется, мука будет" — опять невпопад и, только закрыв за другом дверь, спохватился, хотел вернуть его, но было поздно.



В начале февраля совершенно неожиданно Илья получил открытку с приглашением на новоселье. Он долго не мог понять, кто ждет его на Малой Грузинской, строил самые хитроумные предположения, которые непонятными путями неизменно приводили его мысль к Стешиньским. Наконец с некоторым облегчением и разочарованием он догадался, что приглашает Маша.

Ну конечно, мама писала, что Дронова собирается переводиться в московскую консерваторию и даже о чем-то просила... Он нашел материно письмо: "Она совсем еще девочка и никогда не жила без родителей... помоги ей освоиться". Хм, как она себе это представляет?

Он побывал на новосельи, подарил электроплитку, выпил сухого вина, послушал небольшой концерт и с приятным ощущением выполненного долга вернулся к папке "New conception", которая как раз в это время намеревалась размножиться методом деления. Вскоре выяснилось, что поручение матери скорее приятно, чем тягостно. Маша звонила ему и сообщала про концерты, которые ему было бы интересно или полезно послушать (она решила постепенно примирить его с Шенбергом и Веберном), и ему ничего не оставалось, кроме заботы о собственном туалете. Возникла, правда, проблема компенсации стоимости билетов, которые покупала Маша, но он нашел остроумный выход; время от времени покупал торты. Всю жизнь питая отвращение к тортам, Маша умело скрывала этот свой недостаток, скармливая их единственной соседке по комнате. Они же служили и поводом для чаепитий, длившихся, как правило, до полуночи. Илья подтрунивал над собой, над девушками и дерзкими замечаниями в адрес "великих" инспирировал споры о музыке. Его главным оппонентом была Люда — здоровенная деваха, виолончелистка, которую природа готовила в доярки, да по ошибке наделила незаурядной музыкальностью. Она заканчивала четвертый курс и во всех искусствах была законченной экстремисткой, что выражалось в неумеренной любви ко всему смутному и непонятному. Однажды, послушав ее игру, Илья сказал Маше, что, по его мнению, талант Люды заключен в ее комплекции, позволяющей обращаться с виолончелью как со скрипкой; Маша обиделась за подругу и упрекнула его за злой язык. Впрочем, с ней ему было покойно и просто, можно было расслабиться и ничего не опасаться. Иногда ему начинало даже казаться, что это и есть тот идеальный уровень отношений с женщиной, на котором ему никогда не удавалось удержаться прежде; но тотчас — в отместку — проклятый осколок поворачивался в сердце, как баба в толпе горожан, и оказывал тело тягучей болью...

Эта дружба, в которой с одной стороны горело ровное пламя, а с другой был негорючий материал, имела все задатки долгожителя, но продлилась она не долго — до конца апреля, когда "после непродолжительной болезни скоропостижно..." и "трагически оборвалась".

Весна 1968 года зародилась в Праге совершенно так же, как грипп 19... года зародился в Гонконге. Из Праги бациллы весны, подхваченные эфиром, распространились по всей Европе, неся с собой малоизученное возбуждение. Не избежал его и Снегин. Он неожиданно сошелся с чехом Янеком, которого знал еще по первому курсу, которого за скромные манеры и тихую речь звали Ваней, который, как и все прочие дети Чехословакии, внезапно расцвел и ходил по университету именинником. Ваня, остановленный Ильей, тут же возле лифта, газетного киоска или прямо на улице начинал рассказывать про амнистию и реабилитации, про реформы и массовые дискуссии, про несравненного Дубчека и (о, чудо!) отмену цензуры... В университетских киосках мгновенно раскупалась "Руде право", в магазинах — учебники чешского и словацкого языков, чехословацкие туристы сделались популярнее американских...

В последних числах апреля Илья позвонил Маше и пригласил ее посетить вместе пасхальную службу в церквушке возле университета. Она согласилась не задумываясь: он так редко звонил, что в ней успевало зародиться и вызреть согласие на любое его предложение; ему стоило протянуть руки, и плод падал, походя разрывая паутину кокетства. Положив трубку, она, правда, спохватилась: он может подумать, что ей нечего делать, что она всегда готова гулять... но тут же проблема: "как одеться" целиком завладела ею. Он сказал, что до службы они погуляют, потом церковь, а ночью может быть очень холодно... Значит, что-то простенькое и теплое. Кажется, он как-то одобрил эту кофточку... Впрочем, его не поймешь, он все время шутит, иногда дурачится просто по-детски, как ребенок, но бывает и невыносимо серьезным, почти грубым...

Именно такое с ним случилось пасхальной ночью. Вначале все было чудесно. Он встретил ее у метро. На нем был черный свитер с узким разрезом для головы и белая рубашка без галстука. Он чем-то походил на пастора, если бы не джинсы и босоножки. Она давно не видела его таким дурашливым и резвым — с Нового Года, наверное. Он прыгал через ручеек, залезал на деревья, все время спрашивал, допрыгнет ли он в-о-н до той ветки, она качала головой: "не знаю, наверное, нет", он весь напружинивался, прыгал (действительно невероятно высоко), хватался за ветку сперва одной, потом и другой рукой, подтягивался, раскачивался и спрыгивал на прошлогодний ковер листьев. Она ахала, а он ликовал. Они набрали на поляну, где жили коричневатые мыши с забавными острыми мордочками и долго ловили их ладошкой-лодочкой, пока он не схватил один живой пискучий комочек. Она потрогала его пальцем и попросила выпустить. Карабкаясь по скло-

нам, он "буксировал" ее, подавая сильную и теплую руку, а в церковном дворике, ожидая начала крестного хода, обнял за плечи. Пока они покупали свечи-соломинки, крестный ход, сделав только один круг, вернулся, и лавина старух во главе с батюшкой оттеснила их к самому алтарю. Она неловко чувствовала себя в окружении одинаковых старушек и немногих стариков, под испытующими взглядами, невольно в центре, невольно выделяясь... А он... вначале, правда, улыбался ей краешком рта, потом сосредоточился, вслушиваясь в молитву, и стал даже подпевать: "Христос воскрес из мертвых..." Батюшка окуривал все усердней, взгляды теплели, и ей начинало казаться, что они венчаются. Но к часу стало душно, трудно дышать... он же как ни в чем не бывало выводил почти в полный голос: "смертию смерть поправ..." и голос его заметно перекрывал жидкий женский хор. Пение, сперва развлекавшее ее, стало надоедать — кто-то сзади упорно врал... Она поглядывала на него, но он так вошел в роль... Позже, перебирая все случившееся, она заключила, что все началось еще в церкви, но что именно на него так резко подействовало?.. Она сказала в начале второго, что уже поздно, что ей нехорошо... Он как-то странно холодно посмотрел на нее и начал пробираться к выходу. Церковь со всех сторон была окружена молодежью, все хотели попасть или хотя бы заглянуть во внутрь, но двойной кордон милиции и дружинников перекрывал все доступы. Илья шел молча, положив руку ей на плечо, и вдруг, когда они уже выбрались из толпы на аллею...

Непостижимо, что на него нашло... Неужели транзисторы и гитары?.. Их никто не толкнул, не задел... Напротив, они встретили его знакомых и о чем-то пошутили... Он вдруг страшно заторопился, казалось, он куда-то опаздывает, она перестала для него существовать... Что она такого сказала? Предложила только идти до Пресни пешком — ночь была чудесной, теплой, а транспорта все равно никакого... Он ответил что-то несуразное: у него есть дело, ему надо подумать (как будто ему кто-то мешал) и, выйдя на дорогу, начал останавливать все машины подряд. Он простился, не отпуская такси, небрежно и холодно до слез... Как теперь быть? Через несколько дней Первое Мая... Она позвонит как будто ничего не было...

Бедная Маша, откуда ей было знать, что увидит она теперь Илью через много-много месяцев и будет он совсем другим...

В тот день Илья выпустил себя на природу, как хороший хозяин заскучавшего пса.

Уже неделю было по-настоящему тепло. Зашевелилось все, что могло шевелиться — травинки, букашки, почки. Вдоль тропинок досыхал коричневый пепел листьев и первые бабочки разыгрывали летнюю пантомиму. Сквозь березовую вуаль с зелеными мушками романтической казалась университетская глыба, о верхний уступ которой ранились зазевавшиеся тучи.

Раньше обычного открылись волейбольные площадки, и Снегин

добросовестно отдавал им избыток своей энергии. Но, чем усерднее он отдавал, тем больше ее скапливалось...

В пасхальный вечер им положительно везло. Природа, добродушно настроенная, позволяла ласкать себя и тискать. Помахивая теплым ветерком, она снисходительно шурилась на свое разыгравшееся дитя. Ему нравилось наблюдать, как испуг сменяется восторгом в темных молдавских очах, нравилось ощущать рядом с собой ее миниатюрную хрупкость. Как удачно попали они на службу! Как хорошо было видно и слышно! Илья добросовестно пытался проникнуться духом литургии — вслушивался в слова, в мелодию и даже стал подпевать, но пытливо-скептический глаз его Я никак не желал закрываться.

Эти старики, старухи — жалкие, маленькие, убогие... — думал он, — истинная паства Его: "придите страждущие, плачущие, нищие духом..." Обиженные от рождения, обиженные жизнью (не Им ли самим?), былины человечества, вас несло по жизни пока не замаячил скорый конец, и тут вы заволновались... жили как семя, а умереть как трава не можете. Не можете согласиться с тем, что на этом кончилась ваша жизнь, кончилась безвозвратно, навсегда. Будут жить новые, молодые, будут радоваться, любить, пить водку, а вас не будет. И совершится много ужасно интересного, а вы даже знать не будете. И вас знать не будут — ваш внук, шевельнув тугими мозгами, вспомнит, что вы были слесарем, а, сделав страшное усилие (если хорошо попросят), выжмет из серого вещества своего последний "бит" информации: любил, мол, рыбачить и поддать. Теперь — на краю, за которым начинается за-б-ы-т-и-е, — вам вдруг до разрывного ужаса захотелось бессмертия, и вы потянулись к Тому, Кто раздает его только за веру. Ни дел праведных, ни благочестия не надо, нарушить можно все десять заповедей, только покаяться во-время: "не праведников, а грешников пришел я призвать к покаянию..." Слабые, жалкие люди...

Но ТЕ, отец с дочерью?.. Если вера — от слабости, от поисков внешней опоры, разве ТЕ слабы?.. Н-да, тогда, что такое сила? Стоять на своем во что бы то ни стало? Чушь какая-то...

Маша тронула Илью за рукав и, запрокинув порозовевшее лицо, зашептала: — Я устала, мне душно... этот воздух... Может быть, пойдём?

"Слабая, эта слабая, — машинально подумал он, глядя на голубоватую кромку зубов, — и мила своей беззащитностью".

Выбравшись из шикающей чащи платочков и свеч, они остановились на мгновение, пораженные прохладной и чистой реальностью ночи. Десять шагов по каменным плитам дворика, преследуемые слабым светом церкви, поредевшие кордоны и кучки ребят, и они вышли на главную университетскую аллею. Илья обнял податливые плечи Маши и думал о ее доверчивой доступности... Как вдруг, в пятнадцати шагах он увидел бредших навстречу Карела с Анжеликой.

Судорога прокатилась до подошв и обратно. Не отдавая отчета, он резко свернул в боковую аллею, изо всех сил сдерживая ошалевшие ноги. Щекой, виском и краешком глаза он видел и чувствовал, что те тоже свернули, ускоряют шаг, почти бегут, обгоняют, разворачиваются и — о, ужас! — идут навстречу. Лицо Ильи инфракрасно светилось, рука немела от противоречивых усилий, ноги вязли в асфальте...

— Привет, Илья! — беззаботно воскликнула Анжелика, оставаясь.

— Привет, — глухо ответил он.

— Были на службе? — поинтересовался Карел.

— Да... вот, нам повезло...

— Это правда говорят, что весной антиномии разрешаются легче, чем зимой? — веселым голосом с едва заметной трещиной спросила Анжелика.

— Да... пожалуй, — ответил обреченно Илья, испытывая одно мучительное желание — убраться руку. Вместо этого он с ужасом ощутил, как Маша прислонилась щекой к его плечу.

— Без них, наверное, легче жить? — допытывалась Анжелика.

— Да, легче, — отрезал Илья из последних сил.

— Значит, правильно говорят, "что ни делается, все к лучшему".

Анжелика помахала рукой и увлекла за собой Карела.

Если бы он мог: упасть на асфальт, забиться в истерику, орать до изнеможения и хрипов, чтобы кто-нибудь утешал и уговаривал выпить воды — он был бы, наверное, счастлив.

— Кто они? Поляки? Какая красивая пара! Недаром полячек считают...

Как малодушно он вел себя! Бежал и был схвачен за руку, мальчишка в чужом саду... Не нашелся даже, что ответить. В конце концов он мог бы сказать... В чем он, собственно, провинился? Разве они не расстались, не вольны встретиться с кем захотят?..

— ...в принципе, не так уж далеко, за час наверно дойдем...

Дойдем? За час? Н е т, быстрее, туда, пока они дойдут, пока не легли спать, пока не закрыли общежитие...

Было двадцать минут второго, а уже без двадцати два Илья проскочил мимо вахтерши, оглушив ее загадочным "свои", и скрылся в коридоре. Они не должны были лечь, думал Илья, он скажет ей только, что ирония ее неуместна, что он вправе встречаться с кем захочет... Она воображала, что будет всю жизнь... тяготеть над ним? Нет, нет и нет! Они расстались, они свободны... все! Конец! Однако, как поздно, какая темень!



Настольная лампа, уткнув в стол забинтованную газетой голову, почти не давала света, какая-то нечеловеческая фигура темнела в кресле. В несколько секунд она приняла очертания Карела и Анжелики на коле... нет, на подлокотнике... Воздух хранил еще в себе следы неловкого движения. "Любовники?! Боже! Вон отсюда! Идиот!" — он отшатнулся, чтобы исчезнуть, но женская тень поманила его и голосом Барбары прошептала: "chesch, иди к нам, дорогой!".

Дурацкая ситуация: вломился в два часа ночи, она уже спит, и этим помешал, — думал Илья, осторожно переставляя стул и усаживаясь.

— Она только что легла, хочешь, подыму? — кивнула в сторону занавески Барбара, болтая ногами и не выпуская шеи Карела.

Как будто вчера только виделись, как будто знала, что приду, — отметил про себя Илья. — Ах, да — с объяснениями, покаяниями...

— Да, нет, я, собственно... мимоходом... — между тем шептали его губы, — пусть спит...

Но Анжелика, конечно же, не спала, не надеялась уснуть и хотела только одного — избежать подлых полунамеков сестры.

Как быстро он, однако, утешился! А ведь не она — он — клялся всего лишь три месяца назад, и вот уже другая планета, хорошенькая и доверчивая. Доверчивая до того, что потакает всем его выходкам и желаниям, готовая пожертвовать чем угодно...

Впрочем, что-то подсказывало Анжелике, что это не конец. Поэтому, когда в дверь постучали, а затем вошли, она не сомневалась, что это он.

Пришел, через три месяца пришел! С нечистой совестью... Оправдываться? А, может быть, настолько охладел, что?..

Она решила не одеваться — пусть видит ее в ночной сорочке, пусть мучается...

Занавеска дрогнула, скомкалась и в коротких муках родила светлую тень Анжелики.

— Привет, хорошо, что ты пришел, — шепнула она. — А то я напилась чаю и никак не могу уснуть. Да еще э т и не дают.

Анжелика забралась с ногами на "диван", устроилась и закурила сигарету — обстоятельство, на которое в этот момент никто, даже Илья, не обратил внимания. Позже, когда он все-таки заметил, он подумал с каким-то нечистым удовлетворением, что она опустила, стала развязней — совсем как сестра.

— Ну, как твои дела, диссертация? Скоро защита? — спросила она. Он ответил, что все в порядке, защита будет через полгода.

— Мы очень за тебя рады и уверены, что ты внес существенный вклад в марксистско-ленинскую философию, — сказала Анжелика.

Его больно кольнуло, но он тут же упрекнул себя в том, что не поделился в свое время с Анжеликой своей раздвоенностью и борьбой за собственную концепцию.

— Все это не так просто, как, может быть, кажется, — ответил он. — Мне душно в рамках марксизма, но сейчас я не могу сделать решительного шага.

— Всем душно, — философски заметил Карел.

— А где очаровательная итальянка, ведь ты не бросил ее среди ночи? — спросила вдруг Анжелика.

— Илья не способен бросить девушку, — категорически заявила Барбара и, сменив тон на детски-капризный, попросила, глядя его рукав, — расскажи про итальянку, расскажи.

— Она не итальянка, — буркнул Илья. Все молчали. — Она наполовину русская, наполовину молдаванка. — Все молчали. — Папа — типичный русский, донской казак, да и она, в сущности... ее зовут Маша. — Все молчали. — Наши семьи дружат очень давно.

Илья замолк окончательно, как мотор, долго мучившийся переборами.

— Случай для романиста совершенно не интересный, — проронил Карел.

— Так давно дружат, что решили породиться? — спросила Анжелика, и Карел автоматически поправил: "породниться".

— Возможно, — пожал плечами Илья, — не исключено.

— А как нобелевская премия? Скоро получишь? — не унималась Анжелика.

— Получу, я получу... — ответил Илья, вращая в пальцах спичечный коробок и не столько маскируя, сколько выдавая этим дрожание рук.

— И чемпионом мира по баскетболу сделаешься?

Ему показалось, что в подмене волейбола баскетболом заключалась самая утонченная издевка из всех; во всяком случае именно о нее споткнулось, зашаталось и судорожно замахало руками его самообладание. Он поднялся со словами: "Анжелика, я пришел, чтобы поговорить с тобой". Это была штыковая атака, решительная и беспощадная.

— Да... пожалуйста, как хочешь? Здесь?.. — дрогнула Анжелика.

— Оставайтесь, оставайтесь! — засуетилась Барбара и, увлекая за собой Карела, озабоченно совавшего в карман сигареты, вышла.

Все переменялось так быстро, что Илья стоял как солдат, добравший до вражеских окопов и обнаруживший, что колоть некого. На "диване" на боку полулежала Анжелика в агрессивнейшей из мирных поз: крутой излом в талии, полукружье бедра, сопряженное с

касательной, ловкий поворот в колене и прямая линия голени; ступни терялись в оборках.

— Что же ты не садишься? Садись, я слушаю.

Он сел неестественно прямо, вполоборота к ней. Левая нога мерзко дрожала под коленом, пришлось положить ее на правую и хорошенько прижать.

— Я пришел так поздно, — наконец начал он, — потому что там — при встрече — возникло что-то... какое-то недопонимание, требующее, как мне кажется, разъяснений. Эти двусмысленности... мне кажется, им надо положить конец...

— И ты знаешь к а к? — прошептала она.

— Я знаю один универсальный метод, — ответил он, впиваясь пальцами в колено, — я с н о с т ь, полная ясность!

— Не думаешь, какой жестокой бывает я с н о с т ь?

Он предпочел не слышать и поменял ногу.

— Я не знаю ничего отвратительнее и невыносимее лжи, я предпочитаю жестокую ясность.

— Ты думаешь только о себе, а я?..

— Ты нуждаешься во лжи?! Мне жаль тебя.

— Jezus Magia, какой нетерпимый, какой страшный ты сейчас! Неужели не понимаешь? — мир не делится на светлую правду и темную ложь, все так сложно, так перепутано...

— Я полагаю, что два разумных человека в состоянии распутать... Для этого я и пришел...

— Ты пришел как... я не узнаю тебя... ты похож на... убийцу. "Распутать" тождественно "убить".

Его передернуло.

— Мне кажется, наоборот — распутать, значит отделить мертвое от живого и дать живому жить...

— И ты не сомневаешься, что мертвое мертво?

Илья вспыхнул.

— Оно мертво, Анжелика! Я не понимаю тебя, зачем ты хочешь возродить боль? Все кончено, я встретил другую, и кто знает... может быть... впрочем, это не имеет значения.

Наконец он это сделал, но — странно — не почувствовал ни облегчения, ни торжества. Как часто он думал об этом моменте, сколько готовился, и как вяло, скомканно, почти фальшиво получилось... фальшиво? Нет!

Глядя по-прежнему в сторону, он оттолкнул себя от постели, но задержался для последнего усилия, последних слов.

— погоди! — коснулась Анжелика его запястья, — я давно хотела просить прощенья... мне страшно больно за ту несправедливость... Кажется, я тогда сошла с ума...

Паводок теплой, соленой нежности затопил его.

— Это настоящая ложь — ”быдло” и совсем тебе не соответствует, я не знаю, как вырвалось...

С ужасом ощущая, что его шатает, что он сейчас рухнет, что все сейчас рухнет, он положил ее руку на кровать, пробормотал: ”Ничего, это забудется, забудется... прощай” и вышел.

Ему не встретился засохший дуб, потому что все деревья — липы, березы, яблони — на огромном университетском пространстве были ровесниками здания, а дубов не было вообще. Но румянец на северной щеке московского неба в самом деле имел болезненный оттенок и как будто сулил долгий чахоточный день. Со ступеней центрального входа наблюдал Илья, как за Кремлем выползает обвисший кровавый пузырь, минует колючие звезды и, уменьшаясь и разгораясь, превращается в средней руки светило. Ничто не могло изменить заведенный порядок.



Он ни секунды не был доволен собой, напротив, мерзкое ощущение вины и бегства преследовало его с того мгновения, как он прикрыл за собой дверь комнаты №431. Темный коридор с посеребрившим окном, ворчливая старуха на диване и брошенный, холодный город гнали его как преступника.

Утром он соорудил себе хлипкую теорию, что "не может же все так кончиться", и целый день сидел в ожидании звонка. К вечеру теория обветшала и рассыпалась; в полночь потянуло ледяным скептицизмом — "как раз теперь все кончилось"; подсознание простудилось и металось в лихорадке; утром он не выпускал себя, чтобы не побегать к ней; днем мечтал униженно валяться у нее в ногах; вечером презирал себя; ночью ненавидел...

Второго мая он повел свое тело на волейбольную площадку. Оно не слушалось, он понукал его, злился; ребята не узнавали его; их выбили раз, другой, давние соперники ликовали, пора было бросить, а он не мог и занял очередь на третью игру. Парни разминались в кружочке, он досуживал партию, когда его негромко окликнули. Обернувшись, он увидел Барбару. Невероятно, непостижимо, но это была она и, без сомнения, не случайно. Он сбился со счета, неправильно указал подачу, отдал свисток и подошел к ней.

"Почему, почему ты здесь?", "Я искала тебя, сосед сказал, где ты", "Что-нибудь случилось?!", "А разве нет?", "Что?! Говори же!", "По-моему, вы оба сошли с ума. Ты смотрел на себя в зеркало?". Он механически взялся за небритый подбородок. "Вот, вот, и глаза провалились. Короче, я пришла за тобой". Его позвали на площадку, он замялся, он она решительно сказала: "Иди, иди, я поболею за тебя".

Никогда в жизни он не играл так хорошо; ему удавалось буквально все — и удары с любого паса, и блок, и обманы, и точный пас... Он не чувствовал предела своих возможностей и с удивлением и радостью продолжал испытывать их. После каждой удачи он поворачивал к Барбаре лицо, говорившее: "Посмотри! Что делается!", и получал от нее новый заряд. Выиграв две партии подряд, он отвел ее в сторонку, майкой вытирая на ходу влажное, грязное лицо.

— Что все-таки случилось? — спросил он, фальшивым равнодушием придавливая взбухавшую как тесто надежду.

— Я не знаю, что там у вас произошло, — говорила она, сосредоточенно копая носком туфли ямку, — но так продолжаться не может, иди к ней...

Розовый туман перед глазами быстро рассеивался.

— Опять, опять ты, Барбара, вмешиваешься, — проворчал он, — как я могу пойти туда после всего... Если бы ты только знала...

— О, Jezus Maria! — вдруг вспыхнула она. — Что я не знаю?! Что мне надо еще знать?! Какие-то глупые разговоры двух ненормальных, упрямых гордецов? Всякие глупости! Нет, я лучше вижу собственными глазами. Если она всю ночь молилась и ревела, третий день лежит в постели и ни черта не ест... Я просто не могу видеть это, ведь она содохнет! И ты... — неожиданно понизила голос Барбара, — ты не должен быть таким безжалостным... Она умрет без тебя!..

Ему словно выстрелили перед лицом; все провалилось, рухнуло, он ничего не видел, не слышал... Она встряхнула его за руку: "Ну, чего ты еще ждешь?". Он открыл глаза, развел руками: "В таком виде? Мне надо помыться..."

— Дурак, какой милый дурак! — облегченно рассмеялась она. — Беги так, только не забудь про штаны...

Через несколько секунд товарищи по команде увидели, как их капитан сорвался с места и, размахивая зажатой в руке курткой, понеся через поле к отверстию в заборе.

Это был великолепный бег. Так могут бегать только сумасшедшие: не замечая пространства, не распределяя сил, одержимые маячащей впереди целью, они бегут, бегут, пока разом, вдруг, не падают в полном изнеможении. Илье было тесно на тротуарах и, перепрыгивая через заборчики и кусты, он выскочил на проезжую часть и помчался рядом с машинами...

Почему он не воспользовался автобусом, до сих пор остается загадкой и предметом двусмысленных толков. Понятнее, почему его не задержала милиция — какой милиционер отважится остановить спортсмена в майке с номером 12, бегущего во весь опор и несущего, быть может, послание сталеваров Липецка или Кузбасса...

Он не грохнулся замертво от разрыва сердца, так как мы предусмотрительно наделили его здоровым сердцем, однако уже на третьем этаже поджилки его предательски тряслись. С трудом преодолев четвертый этаж, он остановился возле окна и прижал к стеклу раскаленный лоб, потом одел куртку и осторожно постучался. Не дождавшись разрешения, он крадучись вошел. В комнате никого не было; тогда, ступая на носки, он подошел к сдвинутой в одну сторону занавеске и скомкал ее. Бледная, невыразимо прекрасная, разметав по подушке волосы, спала Анжелика. Ноги его подкосились, и он, потный, грязный, большой, медленно сполз на колени. Бесконечно долго он всматривался в полуоткрытые губы, в изящные завитки ноздрей, в веки с тенями страданий... умирая, растворяясь в теплых потоках нежности, потом взял ее руку и прижал к своему лицу, шершавому от щетины и соли. Тонкие, прозрачные пальцы ее, надломленные в суставах, шевельнулись как бабочка, согретая дыханием, и скользнули по лицу. Он перехватил их губами, и они задерживались на мгновение, благодарно подрагивая. Наконец, могущественный импульс толкнул его вперед, и он прильнул к губам ее, не дыша, теряя сознание... Они от-

ветили ему, а слабая рука обвила шею, теребя завитки на затылке... Мир провалился; последние искры сознания гасли в одном бесконечном поцелуе, как вдруг она притянула за волосы его голову и зашептала ему в самое ухо: "Потом, потом, уходи... Я сама приду к тебе..."

Он молча воздвиг свое тело на ноги, понукая, подхлестывая последними ругательствами, и приказал себе идти вперед. Сжимая неверную ручку двери, Илья обернулся: все было как прежде, лишь занавеска слегка волновалась. Сознание возвращалось медленно, и Карел, с которым он столкнулся на лестнице, из деликатности не стал задавать слишком сложных вопросов, спросил только, собирается ли он завтра куда-то на какой-то бал. Илья пожал плечами, покачал головой, помахал рукой и двинулся дальше.

Первая отчетливая мысль пробилась сквозь флер видений часа через два, и была она ужасной: в любую секунду может постучаться Анжелика, а он... а у него... Он побежал в душ, на ходу стягивая с себя пропотевшую майку с "МГУ" на груди и номером 12 на спине...

Илья суетился и нервничал до десяти, потом вдруг успокоился и сел писать матери письмо.

Дорогая моя!

Я должен сообщить тебе очень важную новость и просить твоего благословения. Дело в том, что на днях я буду просить одну девушку стать моей женой и надеюсь получить ее согласие. Мы знакомы уже восемь месяцев, но говорю я тебе о ней только сейчас потому, что отношения наши развивались очень сложно, и только сейчас стало очевидно, что наши чувства превыше всех соображений и расчетов. Слово "влюблен" мне кажется чересчур легковесным, чтобы передать мое состояние и перелом в моей жизни. Прежний Илья умер, исчез. Теперь существует только часть системы "Анжелика — Илья".

Я не в состоянии описать тебе ее, поверь мне на слово, она прекрасна, ослепительна, и будет настоящее чудо, если она согласится... У нас были месяцы разрыва — мы пытались из разных идиотских соображений преодолеть наши чувства — и все напрасно! В этом есть нечто неотвратимое, этому не может сопротивляться ни ум, ни воля!

Целую. Твой любящий сын.

P.S. Ей 22 года, мать англичанка, отец поляк, выросла в Кракове, через два месяца уезжает в Польшу, заканчивает университет по спец. "русский язык и литература".

Она не пришла вечером, впрочем, как он мог думать о таком! — следовательно, придет утром... Часиков в девять... чтобы вместе позавтракать. Нет, девять слишком рано, в девять она только встанет, а будет в десять. Впрочем, почему он думает, что у нее нет никаких дел? Двенадцать — идеальное время... Но почему она вообще должна приходить сегодня? Нет, нет, конечно, сегодня, днем или вечером перед ба... каким балом? Что за чушь?

В два часа, когда он окончательно извелся, позвонила Анжелика и сказала, что придет завтра утром. Сегодня на Мосфильме вечер для участников съемок... как, разве он не знал, что она стала кинозвездой? Пока что документального... но к тому времени, как он станет лауреатом Нобелевской премии, она постарается...

Итак, завтра. Признаться, Илья почувствовал известное облегчение и, собрав остатки изрядно потрепанных мыслей, он отправился в магазин Москва, чтобы истратить двадцать шесть рублей — всю свою наличность — на вино, цветы, конфеты, пирожные, кофе и апельсины. Создав таким образом материальную базу для начинающейся утром сладкой жизни и тщательно прибрав в комнате, Илья неожиданно вспомнил про дневник, к которому не притрагивался уже с полгода. "Странно, — подумал он, — ни одной записи, касающейся Анжелики..." Десять лет он вел дневник, все мало-мальски интересные события, встречи, разговоры и размышления оставили свой след, и вдруг... ни одного упоминания! Сейчас, немедленно он все опишет — от сентябрьского вечера до фантастического "yesterday"; нельзя упустить ни одной детали, ни одной перепетии их отношений...

"Это случилось в первых числах сентября. Я возвращался из "Ленинки", обдумывая нетривиальную идею насчет возникновения качественно новых понятий, — начал он бодро, — зашел на танцы в гостиную восьмого этажа и вдруг увидел двух обалденных девушек..."

Следовало описать их, но мешали юбки, брюки, кофточки... — за ними было не рассмотреть самое существенное: чем отличались сестры друг от друга и от наших девушек. Свободные, раскованные, без всякого кокетства, со вкусом одетые, — попробовал он обойти кофточки и юбки, — они были просты и изящны в каждом своем движении; и танцевали не как все, — в стиле рок-н-ролл..." Но почему он подошел? Ему хотелось написать, как внутри у него что-то оборвалось и сердце остановилось... "Клиническая смерть?" — подсказало Я, и, поморщившись, он написал: "Я с удовольствием понаблюдал за ними, а затем пригласил одну из них на медленный танец". Перечитал, пришел в ужас и вырвал страницу — впервые за десять лет существования дневника. Переписал вырванную часть предыдущей записи — это был октябрьский спор у Андрея — и, положив ручку, задумался.

В самом деле — как будто две разных руки: одна создавала минеральный мир — расточительно, грубо, однообразно, почти не пользу-

ясь правильными линиями, другая — органический: филигранно, изысканно, с бесконечной фантазией, роскошно, не жалея сил и времени на эксперименты, на импровизации... А третья — человека, творческое существо? Отец, сын и внук? "Святая троица" — великое прозрение?.. А вдруг минутная слабость? или еще хуже — прихоть?! Конечно, элементарная женская ревность! Сегодня она остынет... киношники... они вскружат ей голову, и завтра — телефонный звонок: "Прости меня за минутную слабость, я не должна была так легкомысленно обещать", он солжет: "Я так и думал"... Почему-то ведь не пришла в тот же вечер; значит, хотела еще раз все обдумать, а тут еще этот прием — вино, музыка, актеры...

Однако, надо записать эту мысль насчет триединого Бога. Похоже, что Господь сам эволюционировал: сперва создал невероятные мертвые миры, а затем избрал ничтожнейшую пылинку и начал скрупулезно ее возделывать, экспериментировать с самоорганизующейся материей и в конце концов отдал ей часть собственного творческого потенциала. Нет, рука слишком отличается; скорее всего — отец, сын и внук... Впрочем, может быть, и не прихоть: время отсеяло всю чепуху, все наносное... А если так... О, Боже, сплошная пелена невысказанного счастья! Музыка! Она будет играть для него, они будут петь... Он будет предугадывать ее желания, намеки на желания, он предусмотрит и устранил все возможные поводы для огорчений... Он подарит ей свои бесчисленные успехи, а она вдохновит его на новые. Уже сейчас он чувствует невероятный подъем. В сущности, он еще не знает предела своих способностей, никогда по-настоящему не ощущал его... Может быть, он даже научится играть?..



Он почти спал, положив голову на скрещенные руки, когда дверь тихонько пискнула и из окна потянуло свежестью. Вздвогнув, он резко обернулся: в дверях стояла она. Он вскочил, перехватил ее за талию и гибкую, кружевную целовал в смеющиеся, ускользающие губы, шепча и задыхаясь:

— Ты! О, Боже, ты! Ты пришла!!

— Я убежала. Просто вышла и — в такси. Мне не терпелось увидеть тебя и тоже хотела застать врасплох с твоими силлогизмами...

— Какие силлогизмы! Впрочем... знаешь, о чем я думал? Я изводил себя сомнениями. А все чушь! Ты пришла, ты здесь!

— Нет, скажи, скажи, о чем ты думал.

Она откинулась, отстранив лукавые губы.

— Скажи, я очень любопытная.

— Я — болван, я думал, что тогда, у постели... у тебя была минутная слабость, или прихоть, которая пройдет, и ты снова станешь недоступной и чужой...

— Ты такой умный и такой глупый! Совсем не понимаешь нас — женщин. Правда, мы переменчивые, но иногда бываем решительнее и тверже вас, и преданнее и терпеливее... Ты не понял, что я решилась совсем, окончательно?

— Ах, Анжелика, я не смел мечтать... нет, конечно, я мечтал, но не смел надеяться...

— Ну, хватит разговоров. Давай устроим наш бал! Я хочу пить, пить, танцевать... Там не могла ничего — так скучно было... У тебя есть что-нибудь?

— О, конечно! Мы устроим фантастический пир! Сейчас я все организую...

Анжелика забралась на диван и взидала оттуда на мечущегося Илью с ласковой насмешливостью: за суетливой тщательностью его приготовлений проглядывала застенчивая и угловатая боязнь чего-то. Она спрыгнула с дивана и, обвинив ему шею, зашептала: "Представляешь, как удивится Барбара, когда я не приду ночевать?" Он тихонько застонал, обнял ее и стиснул до судорожной боли в мышцах: "Ты останешься?"

— Ну, конечно! Господи, какой глупый... с-а-т-у-ш-и-шь, сумасшедший!

Он поднял ее, одним движением положил на диван, опустился на колени и спрятал лицо в шелковистой пене.

— Это много, это слишком много... Мне надо привыкнуть к такому изобилию. Несколько дней назад от тебя оставался только

маленький кусочек в самом интимном уголке моего подсознания, а теперь ты здесь... вся, отдаешь в с ю себя мне! Я даже в мечтах не позволял себе...

— Да? А там, у Андрея?.. — усмехнулась Анжелика, посыпая Илью шелком волос. Их волосы смешивались — его были тоньше, ее — светлее.

— О, злопамятная, не забыла?!

— Конечно, ведь я чуть не упала в обморок.

— Как я терзал себя! У меня помутился разум... как со скалы прыгнул.

— А я! Только одно прикосновение, и не понимаю, как не умерла...

Рука ее скользнула за воротник, и мурашки рассыпались у него по спине. Только что пальцы ее излучали флюиды блаженства и неги, и вот уже тревога поползла из-под них мелкой нервной дрожью. "Ну же! Она ждет..." — сказал какой-то мерзавец, пошляк внутри. "Как! Немедленно?!" — смутилось желание. "Хм, настоящий мужчина..." — снисходительно начал мерзавец. "Заткнись!" — истерично взвизгнул кто-то, и голоса смолкли, но с дрожью нельзя было справиться... Сладкая материнская жалость проснулась в Анжелике. Она гладила его вздрагивающие плечи, прижимала к груди голову и шептала с блаженной улыбкой:

— Что с тобой! Что с тобой, успокойся!.. Не думай глупости...

Дрожь становилась тише, мельче, и Анжелика, потянув его за мочку, весело сказала:

— Э-эй, проснись! Ты проспишь наш бал. Думаешь, наконец, угощать меня?

Он живо встал, потер виски, лоб, налил в рюмки коньяк, зажег свечи и поставил пластинку.

— На брудершафт? — спросил он, подавая ей рюмку.

— О, конечно, пора перейти наконец на "ты", — рассмеялась она.

Они скрестили руки, выпили и захлебнулись в одном из тех поцелуев, которых выпадает, если повезет, два-три на целую жизнь, от которых подгибаются коленки и останавливается сердце...

Рюмка тускло звякнула, но не разбилась. Илья поднял тяжелые веки и обморочно сказал: "Немыслимо, невыносимо, какое блаженство!.. Как я хочу и как боюсь... тебя". "Такой странный, такой глупый... — бормотала она, целуя его в нос, подбородок, глаза, — давай танцевать".

— Нет, погоди, мне надо признаться и просить тебя...

— Matka Boska, какой торжественный! Настоящий президент. Тебе очень хочется произносить речь? Но я и так знаю, что хочешь говорить и просить. И разве нужно говорить, что я согласная?

— Боже, какая ты умница! Но погоди, неужели тебе не хочется слышать? Меня дважды в жизни почти принуждали говорить... но я не

мог — язык не поворачивался солгать, а теперь, когда я сам... странно.

— Не понимаешь? Нам не нужна ложь, а они, бедные... И тоже слова не нужны, все очевидно. Поставь наконец танцевальное, у меня ноги не держатся на месте.

Илья склонился над проигрывателем, приговаривая: "Ты прости, Джуди, несравненная, божественная Джуди Коллинз. Нам надо что-нибудь погромче... бесовское..."

Они плясали рок, изводили себя в медленных танцах, пока не рухнули на диван. И снова желание сыграло с Ильей недобрую, глупую шутку: пока он неловко и нервно возился с одеждой, оно свернулось, съежилось и под шумок ускользнуло в норку, откуда посматривало мстительным глазом на бешеные муки уязвленной гордости. Она прижималась горячим любящим телом, а он сгорал от ненависти, отчаяния и стыда. Никакие уговоры, призывы и понукания не могли сдвинуть с места мерзкую клячу, и он убил бы ее, окажись под рукой подходящее средство и не шепчи Анжелика: "успокойся, успокойся... так должно было случиться... я измучила тебя... все будет хорошо... Ты молодой, сильный тигр, ты привыкнешь... сейчас не думай, потом — завтра, послезавтра... не дрожи, расслабься..." А он потихоньку плакал, судорожно вздрагивая под ее ласками. Наконец он затих, и она предложила спать.

Ее дыхание у него на плече, как волны мирового эфира навевали абсолютный покой, и с полчаса он был почти счастлив; но вот предательская мысль о том, что он не смеет шевельнуться, родилась и поползла по телу, щекоча и будоража... Она может проснуться и подумать, что доставила ему неудобство! Тут же захотелось повернуться на бок, высвободить плечо, стало жарко, что-то ползало по спине и щекотало в паху... Через несколько минут ему уже казалось, что все тело затекло, что кровь не циркулирует, что ноги отнимаются... Он терпел долго и мужественно, пока весь не покрылся потом. Тогда он разработал и успешно осуществил довольно остроумную операцию: упершись пяткой и затылком, он приподнял тело и медленно-медленно повернулся на бок, придерживая свободной рукой голову Анжелики и опустив ее затем на подушку. Торжествовал он, впрочем, не долго: Анжелика еще крепче обняла его и положила на него согнутую в колене ногу. К телесным мукам примешивалась боязнь собственного храпа; он подозревал, что во сне открывает рот; он опасался испортить воздух; он боялся, что изо рта его дурно пахнет...

И все-таки он немного спал. В какой-то момент сознание заволокло туманом, истаяли координатные оси пространства, следствия смешались с причинами... Когда он открыл глаза, Анжелика по-прежнему спала. Он склонился над ней и линия за линией начал изучать ангельский лик своей возлюбленной. Выпуклая гладь лба вливалась меж двух невысоких арок, через неглубокую ложбинку в прямое и

тонкое русло носа. Ничто не предвещало перемен, как вдруг оно круто сворачивало вниз, отбрасывало в стороны два изящных завитка и, вконец истончившись, останавливалось на стыке двух плавных изгибов, волнами уходивших к щекам. Рисунок венчали дуга с распрямившимися кончиками и мягкая округлость подбородка.

Простые, чистые линии, — думал Илья, — ни одного излома, разрыва... Скажем, слегка изогнутая спинка носа таит в себе больше своеобразия, но у Природы мало прямых, она избегает, боится их... Разве что сосны, но и тут природа, словно опасаясь их устремленности, нахлобучила на них шапки... Только мертвое, сгоревшее дерево пикой упирается в небо. В прямом есть незамкнутость, устремленность в божественную бесконечность... прямая не материальна. Луч света, как частица божественного, вторгается в наш материальный мир и распадается в нем на мелкие осколки — отрезки. Прямая линия носа, возможно, тем и прекрасна, что несет в себе частицу божественного. Зато человек постиг идеальную сущность прямой линии и, ощущая в себе то же начало, принялся без счета возводить прямые и тем самым — исправлять природу. Все прямые — результат человеческой деятельности...

Унесшись мысленно столь далеко, Илья уже подумывал о том, чтобы записать кое-что, но Анжелика сделала слабое движение, и он вновь сосредоточился на ней.

Боже, такая беззащитная, слабая, в чужой стране, с ее очередями и грубыми продавщицами... Как надо доверять ему, чтобы решиться...

Нежность, граничащая с болью, заполнила его грудь, он наклонился и поцеловал ее в губы. Они порозовели.

Она вверяет ему себя: свои интересы, заботы, мечты, своих друзей, родственников, свою родословную и свое будущее, свои способности, музыкальность, знания... — всю себя: целый мир, микрокосм, как говорит Бердяев. Можно ли удостоиться большей чести! А он, что он может дать ей? Хм, странно, в сущности, ничего... Как он беден по сравнению с ней. В музыке — дилетант, невежда, в философии... ей это не интересно, в поэзии — профан, в литературе — тоже, неплохо играет в волейбол, хоккей, прилично плавает, но не таскать же ее на площадку... Ясно — она ослеплена и вскоре разочаруется, как только узнает поближе. Он ввел ее в заблуждение, искусно скрыв свои недостатки, свою ограниченность, и сегодня же обязан честно обо всем ее предупредить. Во-первых, она конечно же рассчитывала найти в нем опору и защиту. Но разве могла она предположить, что сам он до такой степени слабая, неуверенная в себе личность? Его вечные сомнения, колебания, — ни одного решения он не может принять твердо и мужественно. Вчера вечером... ужасно, ужасно. Во-вторых, она должна знать, что он законченный, неисправимый эгоист, он привык думать только о себе...

Солнце из красного гиганта успело превратиться в желтую звезду средней величины и проделать изрядный путь, когда Анжелика на-

конец проснулась. Притянув к себе, она поцеловала его пухлым утренним поцелуем: "Ты давно проснулся?"

— Да, впрочем, я почти не спал.

— Почему?

— Видишь ли, вначале... мне мешало сознание... что ты рядом...

— Matka Boska! Я только теперь могла хорошо заснуть, когда знала, что ты со мной...

— А позже я решил, что ты меня плохо еще знаешь... — мои пороки и недостатки, что я обязан заранее тебя предупредить, пока... еще...

— Что ты говоришь, глупый? Какие пороки? — изумилась и насторожилась она.

Он смеялся: зачем, зачем это делать? Не лучше ли потом, постепенно? Он закрыл глаза и живо представил, как лицо ее тускнеет, рождается брезгливая гримаса, и... Но что делать! Неужели поступить, как турс и мерзавец?

— Видишь ли, Анжелика, — начал он почти трагическим голосом, — я думаю, что я — странная, если не патологическая, личность. Сейчас только думал о том, чтобы не говорить тебе... скрыть свои недостатки. Во-первых, я — в глубине души своей трус. Опасность, особенно неожиданная, вызывает во мне смертельный страх, и только крайним напряжением воли мне удастся иногда побороть его. Боюсь, что я не способен на безрассудно смелый поступок... Я вообще склонен к вечным сомнениям и колебаниям. Во-вторых, я болезненно ленив. Утром мне требуется усилие, чтобы подняться, я всегда склонен ничего не делать — что-нибудь листать, слушать музыку... и, подозреваю, мог бы бездельничать бесконечно — если не подхлестывать себя. Кстати, любопытно было бы проверить, сколько времени я способен ничего не делать; у меня никогда не было времени на такой эксперимент. Я очень вспыльчивый, неуравновешенный человек и в критических ситуациях, что называется, теряю голову — не только дар речи...

Он лежал навзничь, не в силах смотреть в сторону Анжелики, и говорил о плохой памяти, тугодумии, эгоизме, неорганизованности, о том, что он ничего по-настоящему не знает и не доводит ничего до конца... Она смотрела на него с ласковой усмешкой и думала о том, какой он славный, удивительно чистый и честный, только излишне требовательный к себе, что будет он также требователен к ней, что будет с ним нелегко, что ей придется сдерживать его и внушать веру в собственные силы...

Она обняла его и сказала:

— У одного человека не может быть такого скопища недостатков, а ведь у тебя есть еще и пороки?

Он покраснел.

— Да, видишь ли... — выдавил он из себя, — это скрытые пороки... Дело в том, дело в том, что... во мне живут, и я никак не могу избавиться от них, несколько ужасных, извращенных желаний...

— Каких? — едва слышно спросила Анжелика.

— Я не могу, нет, я не могу их называть... это равносильно легализации их. Поверь, это не фантазия. Они время от времени снятся мне... т. е. я пытаюсь реализовать их...

— Можно сказать: джин в бутылке? У тебя совсем серые глаза и волевой подбородок, а губы... — всякая девушка позавидует, — говорила Анжелика, легонько скользя пальцами по его лицу и прижимаясь всем телом, — а еще — ты патологически честный, и теперь я знаю, что не могу без тебя жить... О, Jezus Maria! Как я люблю тебя!

Он рывком повернулся к ней и стиснул в объятьях.

— Правда? Несмотря ни на что?

— Несмотря на все твои комплексы.

— О, Боже, как я счастлив, как я люблю тебя!!

Дорогой читатель, мы подошли к черте, которую я не в силах переступить. Бесчисленные мои попытки — все до единой — заканчивались неизменным фиаско. Сама сцена притягивает меня необыкновенно, ибо все в ней сошлось — все муки влечения, полупризнаний, страх перед собственным чувством, которое растет до ужасающих размеров, захватывает и поработывает... Судорожные конвульсии разума, пытающегося освободиться от гнета всеподавляющей страсти... Здесь за мгновения происходят события, которые в жизни растянуты на дни, месяцы и годы, здесь — вся жизнь, стянутая в точку, здесь вершина, апогей всех лучших устремлений, борьба и победа; здесь смыкаются умопомрачительное наслаждение с невыносимой болью, тончайшая нежность с насилием, жажда самопожертвования с жаждой убийства, здесь распускает павлиний хвост и торжествует мужское самолюбие, здесь высшая радость самоотдачи, здесь скрыты смысл и природа бытия... Какая безумная тяга к продлению, какая бешеная воля к созиданию! Зачем все это?! Я пытаюсь проецировать этот сгусток событий и переживаний на экран слов и понятий, но, Боже, что за грубая, пошлая картина выходит: что-то скользит и шевелится... Нет, разум бессилён тут, трещит и рассыпается словесный аппарат... Прочь, прочь все его зажимы и скальпели, все его трубки и насосы... пусть кричат ощущения и страсти, пусть торжествует иррациональное!

Когда блаженство сладким ядом разлилось по телам и парализовало их, Анжелика шепнула:

— Теперь ты не боишься? Тебе хорошо, милый?

— О, да, хорошо, хорошо... даже... слишком...

— Почему слишком? — слабо улыбнулась она, скользя указательным пальцем по лбу, спинке носа и губам его.

— Я боюсь, что... — он поймал губами ее палец, легонько куснул и отпустил, — а, черт! Я ничего не боюсь, но после такого счастья по принципу дополнительности, так сказать, должна быть расплата... что-то очень скверное.

— А я думала во время... в этот момент, что теперь можно умереть.

— Умереть? Возможно, самое разумное... — задумчиво произнес Илья, — люди делают это в наихудшие свои минуты и ошибаются, ведь после минимума должно быть улучшение, в то время как сейчас... Хочешь, подадим людям пример? — Илья взял со стола нож и сжал его так, что он слился с окаменевшей рукой, — ну, хочешь?

— Давай, — тихонько сказала она и закрыла глаза, но вскоре открыла, — а как же ты?

— Я сделаю так, — он приставил к своей груди нож и размахнулся...

Она судорожно вцепилась ему в руку, затем прижала к своей груди.

— Погоди... разве не хочешь пережить хотя бы еще раз?..

Илья рассмеялся.

— Вот тебе и разгадка. Люди надеются, что такое может повториться, но тогда оно не было бы высшим, это счастье. Во всяком случае, я думаю, что надо пережить спад, депрессию соизмеримой глубины, чтобы ощущение счастья было столь же острым...

— Jezus Maria! Как ты меняешься — такой серьезный, почти страшный сейчас, а час назад был настоящий мальчишка — большой, лохматый и сильный мальчишка, дурашливый и милый.

— Какой-то бес в меня вселился, — смутился Илья.

— Не хочу, чтобы так говорил, — нахмурилась Анжелика, — ты был резвым и даже... сказать?.. и даже немного глупым.

— О, Боже! Зарезала, убила! Для меня нет ничего ужаснее, чем выглядеть глупым. Теперь буду следить за собой, контролировать каждое движение, каждое слово...

— Ах, нет, не надо! Ты был прекрасен!

— Глупость не может быть прекрасной. Но кто меня сделал таким? Ага! — чувство! Чувства оболванивают человека, к черту их! Долой, долой эту постыдную расслабленность... Встаю, одеваюсь и принимаюсь за Канта...

— Зачем? Ведь ты и в постели умудрился пофилософствовать о счастье и расплате, — улыбнулась Анжелика.

— Ах, да... расплата. Ты знаешь, я предчувствую длительную, изнурительную борьбу...

— Почему? Разве мы так много хотим? Разве мы мешаем кому-

нибудь в этом мире? Разве пьедесталом нашему счастью служит чье-то несчастье?

— Не знаю, не знаю... Нет, конечно. Но я предчувствую.

— Веришь, я тоже думала... Ты не такой человек, чтобы спокойно жить... Но теперь мы уже сделали выбор? — спросила она, заглядывая ему в глаза.

— Да, — глухо сказал он, — окончательный. И я буду тверд, как сталь!

— Я тоже, дорогой мой! Потому что я так люблю тебя!

— О, Боже! Вот мы и поклялись.



Они объявили о своей помолвке, устроили для друзей вечеринку и поехали на другой конец города в ЗАГС, который, единственный во всей столице, регистрировал браки с иностранцами. Там они были вежливо выслушаны и снабжены длиннейшим списком справок, копий, выписок, которые надлежало представить для подачи заявления о регистрации брака. Илья горячо взялся за дело, рассчитывая одним энергичным напором проскочить все барьеры. За одну неделю он получил справку из учебной части и сделал кучу полезных открытий. Он узнал о существовании всевозможных контор, бюро, консультаций, бухгалтерий в разных районах столицы, работавших то с десяти до двенадцати во вторник, то с трех до пяти в четверг. Посещение названных заведений преисполнило его сознанием большой государственной важности предпринимавшегося им шага. С другой стороны, посещение польского посольства и "дружеская беседа" с шефом не оставили сомнения в том, что своим легкомысленным шагом они доставляют массу хлопот обоим государствам. Инспектриса по делам студентов в посольстве, сразу же взяв резкий тон, заявила, что разрешение на брак с иностранцами она выдает только в крайних случаях и посмотрела при этом на талию Анжелики. Затем она попросила Илью подождать на улице, и он имел достаточно времени, чтобы основательно изучить мохнатого польского орла. Анжелика вышла распаленной и сообщила, что разрешение обещано через две недели.

"Дружескую беседу" Галин начал осторожно, долго "ходил кругами" из самых "добрых побуждений", спросил из какой она семьи, есть ли у Ильи квартира, напомнил, что времени осталось совсем немного и, если он не успеет защититься, то его могут послать куда угодно, спросил тут же, готов ли он везти жену в какую-нибудь Читу и что она там будет делать, сказал, что у него есть неплохие связи и он всерьез подумывал о том, как пристроить его в Москве, и вдруг такая неожиданная ситуация... Теперь он ничего не может обещать и даже не знает, что посоветовать... Неужели дело зашло столь далеко? На что Илья ответил твердым "да", по-своему истолковав вопрос.

По мнению Ильи, на этом разговор должен был закончиться, но Галин заговорил о знакомом и очень квалифицированном враче. Тут только аспирант понял ход мысли шефа и, вспыхнув, сказал, подымаясь: "This question is out of discussion". Арсений Александрович сделал вид, что не понял и перешел в лобовую атаку: у Ильи и так сложное положение, он немало себе подпортил своими идеалистическими вывихами, а теперь еще брак с иностранкой, мать которой англичанка...

В том же духе было и письмо матери, только резче звучала тема испорченной карьеры, трагичнее — тема бытовых проблем. Елена Павлована советовала подождать годик, чтобы хорошенько проверить чувства и убедить ее родителей, которые, должно быть, тоже не в восторге. О разрешении не было ни слова, передавался привет "очаровательной Машеньке" вместе с просьбой бережно обращаться с ее хрупкой психикой.

Илья тут же сел за ответ.

Дорогая мама!

Я уже столкнулся с трудностями, которые не мог себе вообразить. Два человека хотят соединиться и жить вместе — ничего больше. Казалось бы: их личное дело, а нет — целая куча организаций и учреждений сочли своим долгом вмешаться. На меня давят со всех сторон: директор Дома студентов, у которого я беру справку, мой шеф, комсомольский секретарь, ее инспектриса в посольстве... Я никогда не подозревал о значении собственной персоны, не думал, что моя женитьба вызовет подобный "общественный резонанс". Единодушие этих "советчиков и доброжелателей" поразительно, и, касаясь это другого вопроса, я бы задумался, а тут я просто не перестаю удивляться: ни один из них не знает предмета, в глаза ее не видел (разве что инспектриса). Как же я могу относиться к их "советам"? Поверь мне на слово (надеюсь, еще в мае ты убедишься в этом сама), что она совершенна, прекрасна по самым трезвым, объективным оценкам...

Илья оторвался от письма, закрыл глаза и занялся медитацией: вызвав образ Анжелики, он подверг его самому тщательному, беспощадному анализу... вернее, попытался, ибо образ терялся в вуалевой дымке, и стоило огромных усилий проявить его и удержать на несколько мгновений: то бледные тонкие черты, то линию — грудь, талия, бедро, то улыбку счастливо-томную... Все смешивалось и распадалось вблизи "точки кипения", где ощущался обморочный жар объятий... Илья открыл глаза и написал:

...я делаю мысленный эксперимент: совершенно абстрагируюсь от своего чувственного восприятия и подвергаю ее холодному, почти жестокому анализу, а результат прежний: у нее нет изъянов, она совершенна... я бы сказал идеальна, если бы не боялся этого слова.

Мамуль, ты знаешь меня — препятствия возбуждают во мне только одно желание: преодолеть их... Ницше научил меня относиться к ним как к своего рода чести, выпадающей на долю сильного, но мне больно видеть в тебе не союзника, а еще одно пре-

пятствие. Надеюсь, ты пересмотришь свое отношение, когда узнаешь, что мое решение твердо как никогда.

Анжелика передает тебе привет, а я крепко целую,
твой Илья.

Письмо не принесло практических результатов, так как Илья забыл упомянуть о разрешении, а Елена Павловна вполне резонно считала, что сын просит об устном родительском благословении. У Анжелики дела двигались не быстрее, поскольку начались экзамены. Договорились они встречаться через день, но всегда находились предлоги, чтобы забежать на пять минут; причем, нисколько не мучаясь угрызениями совести, именно Илья чаще всего нарушал конвенцию.

Наконец Анжелика с блеском сдала первый экзамен, и наступил их день.

Они гуляли в саду. Истомившееся за день солнце висело так низко, что пачкало красным белый наряд яблонь. Вишня уже отцвела и сорила трупиками несостоявшихся ягод, а новенькая глянцева сирень только готовилась развернуть и отдать на растерзание свою роскошь. На западе шеренга молоденьких яблонь останавливалась перед кучкой могил, свидетелей, быть может, восторженно-наивной клятвы... Здесь выдохлась рука "великих коммунистических строек", превратившая Воробьевы горы в — Ленинские, здесь сад становился парком. Березы, клены, дубы, кусты акации и боярышника окружали поляны с сонными одуванчиками и ершистым пыреем.

Они валялись на траве и фотографировались, собирали цветы и дурачились, а затем с небольшого пригорка смотрели последнее — вечернее — представление солнца. Разбрасывая по небу блестящие одежды, светило медленно укладывалось в черную вату горизонта; вокруг суетилась бесчисленная челядь, натягивая фиолетовое с блестками покрывало...

— Спой это... романс Рубинштейна: "...если б навеки так было", — тихонько попросила Анжелика.

Он начал глухо, неуверенно, но уже "как весело сердцу" прозвучало в полный голос; "душе моей легко" он пропел, раскрыв руки и улыбаясь солнцу; унеслась в небо иступленно-радостная мольба: "если б навеки так было", и вдруг он уронил голову, закрыл глаза и тяжело вздохнул: ох! — она инстинктивно прижалась к нему, — "если б навеки так бы-ы-ло" — вполголоса повторил он, и столько мучительной несбыточности было в этом, что глаза Анжелики влажно заблестели.

Потом эту фразу она пела вместе с ним, изо всех сил стараясь удержать интонацию надежды, но лишь оттеняла мужество, с которым он готовился встретить неизбежное.

Шорох в кустах заставил их вздрогнуть и обернуться: там стояла

еще одна пара и жестами умоляла простить их и не обращать внимания. Но они не могли больше петь и долго еще стояли молча.

— Знаешь, что хотела просить, — заглядывая снизу, сказала Анжелика, — солнце, цветы и музыка будут всегда... а твое чувство... хочу твердо знать, что никогда не изменится. Можешь дать такую клятву?

Илья нахмурился, морщина рассекла его лоб.

— "Никогда не изменится"? Все меняется... Джи, я люблю тебя... очень люблю! Разве этим не сказано все?

— Нет! Хочу, чтобы вечно! — горячо возразила она, и в центре фиолетовых блюдец заметался огонек тревоги.

— Ну, какая же вечность... ведь мы умрем... — неуверенно улыбнулся он.

— Да, ты не веришь в вечность. Ладно, тогда — всю жизнь. Т а к можешь клянуться?

— Я не могу, какой-то непреодолимый барьер внутри... — смутился Илья, но тут же взял себя в руки и тверже продолжил. — Я ненавижу клятвы, потому что ненавижу, когда их нарушают... лучше, честнее не давать их.

— Да, понимаю: заботаешься, чтобы потом легко было, потому, что не клялся... Скажи прямо: ты... как это... О, Jezus Maria! Как это... ты не исключаяешь такой случай, что изменишь мне?

— Любовь моя! У меня нет резервных чувств, все принадлежит тебе...

— Теперь, да. Но потом? Что будет потом?! Я беспокойная, что будет потом. Скажи, ты можешь измениться к худшему? И твое отношение ко мне, оно может стать не такое горячее?

Щеки Ильи полыхали, он искал и не находил выход: она не признавала никакой относительности, она требовала абсолютного, против чего категорически возражал его разум.

— Подумай, как страшно, если сегодня так, а завтра все изменится, — голос ее прерывался, — если неопределенно, как могу быть спокойной, счастливой? Я выбрала тебя на всю жизнь... Другой — даже отвратительно думать...

— Любовь моя! Что же делать! Я не могу идти против совести, против разума — обещать то, что от меня не зависит. Но я обещаю... и наконец... клянусь (о, черт!), что сделаю все от мне зависящее, чтобы никогда не доставить тебе страданий!

— Боже милосердный! — он клянется чертом! Что мне делать?! Я чувствую опасность... вот здесь холодает... Как могу жить? Для тебя все зависит от случая, стихии... Атеист! Как могу жить, если уже привязана к тебе!

Слезы покатались у нее по щекам, оставляя блестящие дорожки. Он сам едва сдерживался, собирал губами соленые капельки с ее

щек и бормотал: "Ну, что ты, Джи, что ты... я безумно люблю тебя..."

— Я боролась, пока хватало сил, — всхлипывала она, — а когда пришел ночью и оказался такой неумолимый, думала, что умру. Спасибо, что пришел... умерла бы, или сама прибежала... Теперь видишь, какая привязанная...

Он взял ее на руки как ребенка и шел, покачивая и целуя. Она вскоре затихла.

Они гуляли до полуночи, затем решили идти к нему, но у проходной зоны "В" наткнулись на препятствие, о котором — счастливые! — умудрились забыть. Точнее, у самой проходной они вспомнили, но надеялись на случай и на Морфея. Бог сна, однако, был бесситен перед советским стражем порядка и нравственности — толстой теткой в грязно-зеленом пальто. "Ваш пропуск, девушка!" — восстала она на их пути, и весь туман, все очарование вечера сдуло ледяной струей закона. Отчетливыми до боли сделались массивные дубовые двери, яркий голый свет, трещины и выбоины в каменных плитах пола... "Вот" — протянул свой пропуск Илья.

— Ваш пропуск я не спрашиваю, вас я и так знаю, а девушку не пропущу!

— Видите ли, она тоже студентка нашего университета, — принял ся вежливо объяснять Илья, — Анжелика, у тебя есть студенческий?

— Молодой человек, вы прекрасно знаете, что студенческий билет никому не нужен, нужен пропуск, и только в зону "Б".

— Я вас очень попрошу, — сказала Анжелика, протягивая студенческий дрожащими пальцами. — Мы уже обручились и скоро станем супругами...

— А мне какое дело, кем вы скоро станете. Может быть, вы уже мать, меня это не беспокоит. Если всех женихов и невест пускать, так тут будет не дом студента, а...

Она замялась, подыскивая слово, и Илья поспешил ей на помощь:

— Вы сказали, что знаете меня? В таком случае можете поверить, эта девушка действительно моя невеста... я могу оставить в залог свое аспирантское удостоверение, если...

— Вы что, маленький, или прикидываетесь? Не знаете правил?! Хоть бы и жена... сказано: не положено, и все!

Такое изумление было написано на лицах молодых людей (Илья знал женатых студентов, но как к ним проходят их жены никогда не интересовался), что вахтерша ткнула пальцем в выцветшую картонку под стеклом: "Вот, читайте". При этом она слегка сдвинулась, освободив часть прохода, и шальная мысль родилась в голове Ильи. "Где, где здесь про жену? — спрашивал он, придвигаясь и загораживая собой Анжелику, — неужели и жене нельзя?"

— Живете, а правил общежития не знаете... — проворчала тетка,

доставав корявые, мутные очки и водружая их на нос, — ...муж, жена... разовый пропуск... двадцати двух часов, будни... праздничные дни... предварительной заявке... — читала она, а Илья, издавая восклицания, плотнее прикрывал ее и показывал Анжелике на дверь.

Кто бы устоял перед искушением обмануть цербера? Анжелика не устояла, и цербер взвился: он схватил Илью за рукав и завизжал. Илья опешил. Фурия вцепилась в полу пиджака, ни на секунду не прерывая пожарного визга. Он попытался вырваться, растерянно улыбаясь, но она укрепила свою позицию и даже успела нажать на кнопку.

— Да что вы, пустите же! — начинал злиться Илья, — зачем этот скандал?

— На помощь! Помогите! — орала баба и зачем-то тянула его вниз (она целилась на свои очки, которым, впрочем, уже ничем нельзя было помочь).

Бешенство закипало в Илье: эта отвратительная женщина... но не драться же с ней... сейчас прибегут, схватят... что она наговорит?..

— Порвете же! Пустите! Куда вы тянете?.. — задыхался от ярости Илья и вдруг услышал топот сотен башмаков. Не отдавая себе отчета, он хватанул ребром ладони по жирному запястью, оно отпало, и он вырвался на свободу. Уйти от преследователей было нетрудно, но пробраться через пятиметровые ворота с пиками — и тяжело и рискованно. Ноги Ильи предательски дрожали, когда, балансируя на узенькой планке он переступал через пики... Его подстегивала мысль об Анжелике — где она, что с ней? Поэтому, не теряя ни секунды, он поднялся на девятый этаж зоны "Г" и по переходу, через дверь с амбарным замком, в котором коммуникабельные студенты выломали филенку, попал в свою зону. Анжелику он нашел на кухне: едва живая, она глядела в окно на поднятый ими переполох.

Они обнялись жадно, молча и целовали друг друга в шею, волосы и шептали ласковые слова... В постели он призывно и вопросительно поцеловал ее, безучастно лежавшую, а она, закрыв ему ладонью рот, заговорила:

— погоди, не надо. Я чувствую себя так плохо, совсем преступницей... Когда бежала, так страшно было, как-будто украли. Если бы кто-то крикнул "стой", сердце наверно разорвалось... Почему, почему они не верят, подозревают везде обман?

— Заботятся о нашей нравственности, — кисло улыбнулся Илья.

— Но ведь мы, правда, жених и невеста. Я думала, что все должны улыбаться, когда видят нас, а она думала что-то грязное про нас — я точно чувствовала по взгляду. Как ядовито смотрела на меня, как грубо говорила!

Утешая, успокаивая Анжелику, Илья забыл поистязать, пожарить себя на медленном огне презрения, он ощущал в себе победителя и развивал довольно странную для него мысль:

— ...Неужели отступать перед грубой, бездушной машиной бюрократии? Мы пытались воздействовать на нее открыто и честно, оставалось либо подчиниться ее бесчеловечным требованиям, либо обмануть... Впрочем, кого мы обманули? Мы любим друг друга и хотим быть вместе, где тут обман?

— Нет, есть, я чувствую. Если нахожусь здесь тайно, и тревога не оставляет, значит, нечисто что-то, есть грех.

— Ты знаешь, Джи, мне кажется, из общих соображений можно доказать, что, живя в неидеальном мире, нельзя поступать идеально. Если законы несовершенны, их можно нарушать. Возможно, их даже нужно нарушать, если они противоречат принципам высшей морали, вытекающим из целей Человечества. Не знаю только, смог бы сам... Впрочем, я сегодня уже нарушил их... Ты знаешь, ведь я ударил ее по руке, убежал и перелез через ворота...

— Ох, вот что боялась, — простила Анжелика, — что буду всегда в тревоге; ты не сумеешь смириться и терпеть, ты не умеешь прощать людям их недостатки... Ну, ладно, пусть — поздно думать. Правда, что из-за меня стал преступником, дорогой мой...

Анжелика обняла его и нежно поцеловала.

— О, невозможная... моя искусительница! — бормотал между поцелуями Илья. Легкие, мягкие прикосновения губ заставляли замирать и вздрагивать Анжелику...

Желание заполняло, переполняло, томило их сладко, жутко, пока не сделалось невыносимым...

В семь часов утра их разбудил властный как война стук. Сердце Ильи не билось, пока он искал тапочки и надевал халат. "В чем дело?" — спросил он сердито, выйдя в прихожую. "Откройте, телеграмма". — ответили за дверью, и он повернул ключ английского замка. Дверь распахнулась под мощным нажимом. Оттеснив Илью, вошли трое молодых людей, дежурная по этажу, пожилой дяденька с орденскими планками на груди, а на пороге пряталась за мужские спины та, вчерашняя, вахтерша. Илья инстинктивно отступил и загородил собой дверь в комнату.

"Этот?" — спросил старший смены вахтеров. "Этот, этот" — энергично закивала тетка, и вполне человеческая радость промелькнула в ее нержавеющей улыбке. Один из парней развернул перед носом Ильи красную книжицу члена оперативного отряда и равнодушно сказал: "Разрешите пройти". "Туда нельзя" — глухо ответил Илья, глядя в книжку и ни одной буквы не видя. Он завязывал пояс халата с угрожающей медлительностью.

— Снегин, не мешайте товарищам. — строго сказала дежурная — пожилая дама в обвислой кофте, позванивая связкой ключей. — Отойдите от двери.

— Мы имеем право в присутствии администрации произвести осмотр, — сказал тот, что показывал книжку.

Илья не двигался с места, лихорадочно соображая, как они нашли его комнату. А между тем, это было несложно. Вахтерша, зная приблизительно, где он живет, засекла окно, в котором зажегся свет, а утром для верности поговорила с дежурной. Теперь, с трудом скрывая ликование, она поддреживала высокий боевой дух отряда причитаниями: "Ишь, какой хитрый отыскался — задумал старуху обмануть, видали таких! Да еще дерется, нонче ответишь, голубчик..." Илья не двигался с места и по обыкновению потерял дар речи. "Что вам нужно?.. Не имеете права!" — бездумно говорил он, спиной ощущая трепетную, перепуганную Анжелику за хрупким стеклом двери.

Старший вахтер подошел к Илье и, глядя по-бычьему вниз, взял его за плечо. "А ну, отойдите от двери", — сказал он внушительно, и чувствовалось, что этот шутить не любит. "Не трогать меня!" — процедил Илья сквозь зубы, и столько едва сдерживаемой ярости было в его голосе, что мужик отступил. "Как он разговаривает!", "Что вы себе позволяете!" — заголосили женщины, а два других оперативника, вполне безучастных до этого, молча надвинулись на Илью, впрочем, не без растерянности, ибо он походил на боксера, собирающегося скинуть халат и нырнуть под канаты. "Не советую сопротивляться, — сказал их командир, — расценивается как сопротивление властям — ст. УК РСФСР". "Студент юр. фака", — механически подумал Илья, видя перед собой только обнаженную, сонную Анжелику, которая в это время, одетая и причесанная, вышла в прихожую со словами: "Доброе утро. Прошу вас, проходите". Сознание вернулось к Илье, пока непрошенные гости один за другим проходили мимо него в комнату. Анжелика пригласила всех сесть, но приглашение повисло в воздухе. "Ваши документы" — обратился к Илье "юрист", овладев тягостной тишиной. Снегин вошел в комнату, с удивлением обнаружил ее в полном порядке и, быстро обретая уверенность, достал паспорт и аспирантское удостоверение. "Прошу-с" — подал с легким поклоном "юристу". Тот положил в карман, даже не взглянув, и повернулся к Анжелике: "Прошу ваши документы". Это и было кульминацией спектакля. Но героиня пожелала отойти от сценария: вместо угловатых жестов стыда и отчаяния, нарочитой мольбы в глазах и надтреснутого раскаяния в голосе, она развела руками, пожала плечами и с подкупающей улыбкой сказала: "Правда, у меня нет пропуска в эту зону, мы только — жених и невеста... Мы очень торопимся, но столько противных формальностей... очень трудно". Она взывала к человеческому участию, искала сочувствия! — и стальные чиновничьи сердца, закаленные в схватках с наглостью, в водоемах слез, на мгновение... нет, не дрогнули, а как бы пришли в замешательство. "Что ж, формальности... а пока не грех бы и воздержаться" — сказала дежурная по этажу, которой пара положи-

тельно нравилась. Вахтерша глядела сердито, однако молчала и даже присела на краешек стула. "Конечно, — Анжелика беспомощно рассмеехлась, — но к а к? Через месяц я уезжаю, и что будет? Отец, наверное, убьет..." "Что, уж так нестерпимо, иль любовь такая?" — добродушно проворчала вахтерша, и начало казаться (впрочем, только Илье и Анжелике), что машина захлебывается и вязнет... "Придется пройти с нами, — сухо сказал "юрист", — оденьтесь, а вас попрошу подождать там. Мусаилов, вызови пока лифт", — молодым командирским голосом распоряжался он. Одеваясь, Илья снисходительно улыбался: бояться, как бы он не покончил с собой, или не убежал? И, как всегда, усложнял — "юрист" (а он действительно заканчивал юр. фак) действовал строго по инструкции, запрещавшей оставлять задержанного одного и разговаривать с ним. С наигранным равнодушием и профессиональной цепкостью он рассматривал корешки книг, думая, что многого из этого задержания не выжмет, как вдруг заметил тисненное золотом "Фридрих Ницше". "Ах, вот оно что — белокурая бестия!" — догадался он, и круглые, твердые формулировки будущего рапорта на имя директора Дома Студентов посыпались в лузу его памяти: "Барское, пренебрежительное отношение к правилам социалистического общежития... хулиганская выходка... грубость, несовместимая с пребыванием в рядах Комсомола..."

Илья пылал алыми пятнами, а Анжелика болезненно улыбалась, когда кишащими коридорами и переходами, сквозь строй понимающих улыбок их конвоировали в Оперативный Комсомольский Отряд, занимавший две маленьких и одну большую комнаты в цокольном этаже. Их допросили в разных комнатах под назойливый треск ламп дневного света, которые горели здесь днем и ночью. Затем каждому предложили написать объяснительную записку. Анжелика, закусив губу, безропотно написала: "Двадцать третьего мая 1968 г. я ночевала в комнате моего жениха. Анжелика Стешиньска." Илья же взорвался: "Это бессмыслица, вздор! Что тут объяснять?!", на что дежурный оперативник холодно заметил: "Вам же хуже: при разборе дела будут опираться на рапорт командира группы, докладную старшего вахтера и показания дежурного вахтера". "Ну и что? Что нам в конце концов угрожает за столь ужасное преступление?" "Диапазон очень широк, — ответил оперативник, играя шариковой ручкой, — выговор по административной части, по комсомольской линии — с занесением или без занесения в личную карточку, строгий выговор, выселение из Дома Студентов, исключение из комсомола и автоматически из — университета... — это зависит от вашего поведения. Пока что своим вызывающим поведением вы восстановили всех против себя". Комната с несколькими жесткими стульями и портретом Ленина в кепке становилась все более пустой и неудобной — как кузов грузовика, в котором предстоит трястись по ухабам. Илье почудилось, что неумолимая ма-

шина подминает, втягивает его в свои железные недра. И дикое желание вырваться во что бы то ни стало овладело им. "Идите вы к черту, бюрократы! Судите без меня." — сказал он, подымаясь.

Продержав добрых полтора часа, их выпустили с предписанием Анжелике немедленно покинуть зону "Б". Черненький, тихий Мусаилов, в полувоенной куртке с галстуком, должен был проследить. Они брели переходами в клубную часть, а сзади следовал исполнительный, себе на уме, Мусаилов.

— Как у Кафки в "Процессе", правда? — спросила Анжелика, когда они наконец остались одни.

— Н-да-а, — сумрачно ответил Илья. — Пойдем, пока не начался дождь.

Грязные, лохматые тучи толпой перли на запад.



Вначале казалось, что инцидент не задел Илью глубоко: гораздо больше его волновало молчание матери. Ее разрешение теперь оставалось единственным препятствием на пути к ЗАГСу. Она словно не понимала, что от нее требуется, и, потеряв терпение, он написал весьма резкое, ультимативное письмо. Дней через пять пришло явно наспех состряпанное разрешение и ни слова больше: мать обиделась или даже рассердилась, ведь он не познакомил ее... Неужели она не понимает, что ему некогда, что он разрывается, а Анжелика сдает экзамены? Шеф торопит с авторефератом и экзаменом по философии... Конечно, это сугубая формальность, но два вопроса в каждом билете были посвящены работам Ленина, и, попадись он, не дай Бог, Шекиной, что очень даже вероятно, уж она отыграется за все обиды. Как она раздражала его на университетских семинарах, когда вторгалась в утонченные споры своими глупыми, неуместными, но "очень правильными" замечаниями по поводу великих! Честно говоря, и он не всегда был корректен с ней... Теперь ее черед... Еще этот студсовет... Может быть, все-таки пойти? В конце концов, молодые могли бы понять его... Илья пытался вызвать в памяти молодые симпатичные лица, но, разрывая туман доброжелательных улыбок, выплыло холодно-строгое лицо "юриста", и он решил не ходить. Как только они подадут заявления в ЗАГС, дело умрет естественной смертью.

Наконец, в первых числах июня внешне спокойные, но с тайной внутренней дрожью, они отправились через всю Москву во Дворец. Их встретила, продержав больше часа в коридоре, все та же женщина, очень похожая на кассиршу железнодорожного вокзала. Она, перебрав, а затем скрепив большущей скрепкой бумаги, заявила, что назначает бракосочетание на первые числа августа. Как, почему, она вскоре уезжает... — заволновались Илья с Анжеликой, — нельзя ли как-нибудь побыстрее? Существует очередь, существует порядок, раньше месяца вообще нельзя по закону, — пояснила женщина, — вы должны проверить свои чувства. Итак, они не успеют до ее отъезда! Все мечты, надежды и планы заколебались, заволновались, готовые рухнуть. Илья растерялся; мир серел, темнел на глазах. Взглянув на помрачневшее лицо его, Анжелика предложила пойти на улицу прогуляться и все спокойно обдумать. Илья долго не мог успокоиться: камни, дома, деревья и люди — все было холодным и чужим. Было что-то враждебное в спешащих, озабоченных силуэтах с сумками, сетками, портфелями в руках. Он был уверен, что, подойди он к ним и пожалуется, они покачают головой и голосом вахтерши скажут: "Что поделаешь, не положе-

но”, и за это он люто ненавидел их. Враг дробился, крошился на миллионы безответных лиц...

Между тем, Анжелика говорила, что нет худа без добра: Илья поедет в Польшу, познакомится с ее родителями, склонит их на свою сторону, и она получит благословение, без которого чувствует себя преступницей. Там они обвенчаются в костеле, а в сентябре-октябре она приедет в Союз — пусть даже только на неделю... Если начать действовать немедленно, то в августе он уже будет в Польше. Она сегодня же может написать родителям, чтобы они прислали приглашение для него, а он должен узнать в ОВИРе (отдел виз и регистраций), как оформляются документы, чтобы, не теряя ни минуты...

Необходимость и возможность что-то предпринять встряхнули Илью, он заметно повеселел и тут же собрался ехать в ОВИР, так что Анжелике пришлось напомнить ему про ЗАГС...

Бракосочетание было назначено на последние числа октября. В качестве приза за смелость им выдали по три талона в "Салон Молодоженов".

Прямо из ЗАГСа Илья поехал в ОВИР (Анжелика сказала адрес), полный решимости "прийти, увидеть и победить". На стене он отыскал "Правила оформления документов для выезжающих в соц. страны по личному приглашению" и тщательно их проработал. Гвоздем весьма обширной программы была, без сомнения, "характеристика с места работы или учебы". У него едва хватило сил переписать "что должно быть отражено в характеристике учащегося" и перечень лиц и организаций, чьи подписи должны ее венчать. Одна из них, а всего их было двенадцать, неприятно кольнула его — подпись преподавателя студенческого совета. Впрочем, он был уже в статусе жениха, он пойдет к этому председателю...

Однако события, в особенности неприятные, всегда идут своим путем. Придя к себе, Илья обнаружил в почтовом ящике приглашение на бюро комсомола. На сей раз он решил подчиниться, всецело уповав на спасительную бумажку из ЗАГСа.

Когда с ознобом в спине и натянутой улыбкой на лице Снегин вошел в кабинет секретаря, занял предложенный ему стул, слегка на отшибе, и слегка присмотрелся, ему сделалось не по себе. За Т-образным столом сидело семеро парней и одна девушка, все с лицами молодого гвардейцев, перед председательствующим лежала папка с бумагами. "Ваш билет?" — привстал он, протягивая руку. "Зачем? — вспыхнул Илья, — я не взял его". "Автоматически из университета", — вспомнил он беседу с юристом, и предательская дрожь прокатилась по его ногам. "Таков порядок. Разве вы не знаете? С какого года вы в комсомоле?" Тупо соображая, Илья подсчитал и ответил. Председательствующий начал зачитывать "материалы": докладную записку дежурной, рапорт старшего вахтера, показания вахтерши, объяснительную Анжелики и

еще какие-то сопроводительные, записки... Его сменил председатель студсовета, сообщив, что Снегин не явился на заседание студсовета без всякого объяснения причин, и тут же спросил Илью, почему. Ответ Снегина вызвал легкое замешательство среди членов бюро: он, видите ли, считает, что ни одна организация не вправе вмешиваться в личную жизнь, тем более — врываться в жилище на рассвете обманым путем, как в худшие сталинские годы. Он вообще не понимает смысла происходящего: с сугубо формальной точки зрения он нарушил правила Дома студентов и готов понести административное наказание. При чем здесь сугубо политическая организация — комсомол? Один из членов бюро начал было с неожиданной горячностью доказывать, что комсомол призван воспитывать молодежь в духе кодекса строителей коммунизма, но Снегин прервал его и, покраснев, чуть сбивчиво спросил, распространяется ли названный кодекс на интимные отношения жениха и невесты. Увы, этот сакраментальный вопрос так и остался непроясненным, так как председательствующий в категорической форме предложил прекратить дискуссию. Товарищу Снегину, сказал он, не удастся с помощью профессиональной эрудиции запутать вопрос и увлечь бюро на путь бесплодной дискуссии, он все прекрасно понимает и не нуждается в разъяснении, поведение его возмутительно, и комитету комсомола надлежит сделать соответствующие выводы... Затем он попросил Илью подождать в коридоре, пока бюро посовещается и вынесет решение.

В коридоре Илья проклинал себя за несдержанность. Когда он научится в такой степени владеть собой, чтобы молчать в подобных ситуациях! Неужели с самого начала не было ясно, что у них в корне отличные взгляды, и в одну короткую беседу им ничего нельзя доказать. Ну, так хотя бы зародить сомнения... большинство, по-видимому, тушует перед ними — честно говоря, он и сам растерялся вначале — и у них даже сомнения не возникает в правомочности взятой на себя миссии. Нет, он был обязан высказать свою точку зрения, разве что — мягче, доброжелательней...

Строгий выговор с занесением в личную карточку был максимальной мерой наказания для первого прегрешения, но Снегин воспринял его с облегчением. Поразило его добавление: бюро комсомола совместно со студенческим советом рекомендуют администрации Дома студентов рассмотреть вопрос целесообразности пребывания Снегина И. Н. в стенах общежития МГУ". История, таким образом, на этом не кончалась.

— Неужели одна ночь с невестой, — спросил с бледной улыбкой Илья, показывая бумажку из ЗАГСа, — оценивается столь высоко по вашему моральному кодексу?

Все уже двигались и разговаривали; председательствующий укладывал в папку возросшие числом документы.

В н а ш е м моральном кодексе высоко ценится скромность и нравственность, а в в а ш е м — не знаю что, — отрезал он.

События наваливались на Илью одно за другим, не оставляя времени на размышления. Двенадцать дней оставалось до экзамена. Из ста семидесяти шести вопросов двадцать семь были посвящены домарксистской философии, остальные — диалектическому и историческому материализму, "буржуазная философия" последнего столетия вообще не была представлена. Понукая, подгоняя, насилуя себя, Илья делал самую неприятную в своей жизни работу — читал учебники, пытаясь зафиксировать в памяти основные формулы: "Классовые и гносеологические корни агностицизма и скептицизма; причины возникновения и основные формы метафизики; философия Канта и ее оценка классиками марксизма; основные свойства пространства и времени; конструктивная, действенная роль диалектического материализма в развитии современной науки; мирное сосуществование капитализма и социализма как форма классовой борьбы..." Голова гудела и пульсировала, он сходил с ума, и только мысль, что это в последний раз, поддерживала его.

Анжелику вызвала инспектриса и провела с ней двухчасовую душещипательную беседу — пустяк с точки зрения Ильи, которому через день предстояло встретиться с директором Дома студентов. Однако пустяк этот выбил Анжелику из колеи, и она завалила экзамен по историческому материализму, не сойдясь с преподавателем во взглядах на религию и "решение национального вопроса в социалистических странах".

Теперь Анжелика ни за что не соглашалась ночевать у Ильи и часто без всякой причины вздрагивала при малейшем шорохе за дверью. Около десяти вечера она начинала нервничать и поглядывать на часы. Иногда им удавалось пройти незамеченными мимо вахтеров, и он уговаривал ее остаться, ничего не опасаясь, ибо, как он выяснил, свои налеты оперативный отряд совершает только при наличии "достоверных сведений". Не может она, чувствует себя беспокойно, отвечала Анжелика виновато, грустно. Она больше не дурачилась и очень редко пела — чаще наигрывала отрывки печальных мелодий, не то цыганских, не то испанских.

За десять дней до ее отъезда пришло приглашение из Польши и короткое письмо от Эстер Стешиńskiej, в котором она благодарила за благоразумие и уважение к их, родительским, чувствам. Илье письмо показалось очень любезным, и Анжелика не стала его разочаровывать — она ясно представляла, какая сцена предшествовала письму и почему писал не отец, а мать, с трудом справлявшаяся с польским. Ее тревожили дурные предчувствия, но она их утаивала от Ильи, только иногда с необъяснимой для него порывистостью прижимала его голову к своей груди.

На встречу с директором Дома студентов Илья пришел мрачно-настороженным. Он не сомневался, что решение об изгнании его из общежития принято, что предстоит тягостный и сугубо формальный разговор, поэтому был удивлен первым же вопросом директора: "Как это вам удалось восстановить всех против себя? Расскажите-ка все по порядку".

— Ах, к чему это, зачем ворошить неприятную и болезненную тему? Я полагаю, времени у вас мало, а решение... видимо, уже принято, — ответил Илья и, словно размышляя вслух, добавил, — не знаю, чем я их так задел.

Иван Георгиевич Кузьмин поудобней устроился в кресле и внимательно посмотрел на аспиранта. Парень не жаловался, не просил и даже не оправдывался. Он совершенно не походил на заносчивого, аморального наглеца, каким представлялся из Дела, в нем не чувствовалось даже тени подобострастия.

— Во-первых, решения принимаю я, а не студсовет. Во-вторых, бумаги бумагами, а личный контакт есть личный контакт, — сказал директор. — Вот они рекомендуют лишить вас места в общежитии, а куда вы пойдете, ведь у вас на носу защита? И сорок-пятьдесят рублей за комнату из стипендии не заплатишь...

Человеческие слова и острая жалость к себе нахлынули на Илью и смыли с него настороженность. Подбадриваемый понимающими кивками Ивана Георгиевича, все больше и больше увлекаясь, он рассказал не только злополучную историю, но даже о проблемах, с которыми столкнулся в связи с женитьбой, о сопротивлении родителей, о скором отъезде Анжелики...

Кузьмин, который сам еще несколько лет назад занимался наукой, успевший возненавидеть административную работу, на которую пошел ради денег, был весьма тронут историей и наказание определил Илье самое легкое, почти условное.

Радостное настроение Ильи продержалось недолго.

На экзамене его подстерегала катастрофа, сокрушительная, как Пирл Харбор. Во-первых, Щекина не оставила ему шансов на сдачу другому преподавателю, а во-вторых, начала принимать экзамен со вступления: "Ну, что ж, Снегин, я помню ваши выступления на семинарах Галина и Астафьева, посмотрим, сколь обоснованы ваши претензии на ученость".

— Если бы я задался аналогичной целью, — вспыхнул Илья, — вы не сдали бы мне экзамен даже по арифметике.

— Ну, пока что я у вас буду принимать, — ядовито усмехнулась Щекина и, видя, что Снегин собирается уходить, мягче заверила, — впрочем, ничего сверх программы я у вас не спрошу. Или вы боитесь меня?

После этого он, разумеется, не мог уйти и, положив перед собой бумаги, начал весьма неуверенно отвечать. В первом вопросе речь шла

о работе Ленина "О значении воинствующего материализма". Илья еще не успел разогнаться, как Шекина прервала его:

— Вы говорите о воинствующем материализме, а не о работе Владимира Ильича. Расскажите о структуре работы по главам.

Илья покраснел и сказал, что не помнит. Она предложила перейти ко второму вопросу: "В. И. Ленин о двух концепциях развития". Бешенство не давало Илье формулировать даже то небольшое, что он знал. Торжество как жир выступило на лице преподавательницы философии, когда она проворковала:

— Ну, с работами Ленина вы почти не знакомы, посмотрим, как вы знаете своих любимых идеалистов. Что там у вас, философия Гегеля?

— Это ужас... издевательство... Я не могу вам сдавать экзамен! — взорвался Илья. Он отшвырнул бумаги и выскочил из аудитории.

Илья стоял у окна, прижимая пылающий лоб к стеклу, когда Галин вышел к нему.

— Илья, вы ведете себя как гимназистка. Посмотрите на себя — у вас глаза блестят, — сказал он мягко.

— Да, блестят, от бессильной ярости... Идиотская программа! Идиотский способ определять уровень знаний! — выпалил Илья с искаженным лицом. — Вы не находите, что все это унижительно? Знать Ленина по главам!

— Вот что, Илья Николаевич, успокойтесь и минут через десять приходите, будете отвечать в моем присутствии, а на эту тему — как-нибудь в другой раз, — сказал Галин и ушел, забыв на подоконнике учебник по диамату.

В результате компромисса между Шекиной и Галиным (она настаивала на двойке, он — на четверке), Илья получил три балла. В прежние времена тройка по философии глубоко уязвила бы его, как публичное оскорбление, а тут — уже через несколько дней — он чуть ли не с гордостью говорил о ней Андрею... Новая проблема пожирала умственные и нравственные силы Ильи. Дело в том, что характеристика его безнадежно застряла на четвертой подписи — подписи председателя студсовета, который помимо прочего был зол на Илью за то, что ему так ловко удалось выкрутиться. Два дня потратил Илья на то, чтобы поймать председателя и поговорить — впрочем, без какого-либо результата. Председатель был непреклонен — он не может с чистой совестью подписаться под такой положительной характеристикой. К счастью, он вскоре отбыл на целину, забыв проинструктировать заместителя, и дело двинулось вперед, чтобы снова застрять на подписи секретаря комсомольской организации факультета. Илья еще раз предстал перед комсомольским бюро и, хотя в дискуссии не вступал и, проклиная себя в душе, напомнил бюро свои комсомольские заслуги, оно сочло, что он не сможет достойно представлять за рубежом страну

Советов. Положение становилось отчаянным, так как характеристику надо было сдать в ОВИР за полтора месяца до намечаемой поездки. Не зная, что предпринять, он обратился к декану, чтобы услышать раздраженное: "Что вы от меня хотите, чтобы я приказывал комсомольской организации?"... И вдруг судьба свела его в лифте с Кузьминым.

— Как ваша женитьба, Снегин? — любезно поинтересовался директор Дома студентов. Илья рассказал о своих затруднениях... дальше все было как в сказке про добрую фею: Иван Георгиевич снял трубку и поговорил с секретарем парторганизации факультета. Ребята из бюро, мол, перегибают палку, он сам занимался этим делом, Снегин понес заслуженное наказание за свой поступок и извинился перед вахтером (при этом Илья поежился и покраснел), нельзя же парня наказывать дважды за одну провинность, случай первый — можно и простить... Кузьмин посоветовал Илье немедленно пойти к секретарю, пока "железо горячо"... Через полчаса на характеристике красовалась подпись секретаря парткома, а на следующей неделе Илья сдал документы в ОВИР.



Отъезд Анжелики приближался неотвратимым бедствием. Сколько раз Илья провожал друзей за границу, а привыкнуть никак не мог: как черная бездна поглощала она ставших близкими людей и с ними — кусочки его души. Приходила открытка-другая из Лондона или Торонто, реже — несколько писем, и голос друга терялся в бесконечных пространствах иного мира. Все обещали вернуться, и никто не возвращался. Илья начал страстно мечтать о поездке за границу, ему стало казаться жизненно необходимым увидеть все собственными глазами.

Многие еще не сдали последнего экзамена, но билеты были куплены и день отъезда определен. Поляки толковали о подарках, сувенирах и выгодных операциях. Илья узнал, что кофе и кофемолки дешевле в Союзе, а пуловеры и носки — в Польше, что, если продать почти новый костюм в Союзе и купить "Зенит-ЗМ", который затем продать в Польше, можно купить два новых костюма. Предотъездная лихорадка не обошла и Анжелику: она покупала пластинки и книги, снимала с полок и паковала бесчисленные безделушки, сувениры, посылала в Польшу бандероли... Илья прилежно помогал ей, испытывая странное ревнивое чувство: было что-то обидное, почти оскорбительное в ее хлопотах о жизни там. Она уезжала как все — стараясь ничего не забыть, уничтожая материальные следы своего пребывания. Это было разумно, но больно. Ему хотелось, чтобы она не забыла, нет — сознательно оставила какую-нибудь юбку, кофточку или туфли, но говорить об этом было глупо, и он только грустно улыбался.

И вот пришел прощальный вечер. С самого начала он пошел не так, как мечтал и планировал Илья. Ему хотелось провести весь вечер и всю ночь вдвоем. Он накупил всякой всячины, он отобрал пластинки, подумал, о чем надо поговорить и договориться... и все напрасно. Он хотел проститься с ней, она — со всеми. У них даже вышла размолвка, затем он, естественно, уступил, но добрую часть вечера сидел в сторонке от общего веселья и с грустью думал о том, что невеста его чересчур социальна.

Потом и его расшевелили сестры, вино, музыка, он начал вполголоса подпевать, а затем встал и попросил тишины.

— А хотите, — спросил он таинственно, — я исполню одну из моих любимых песен, которую у меня давно не было повода петь?

Разумеется, публика жаждала зрелища и громко выразила свое желание. Илья сел за стол, подпер голову рукой и тоскливо-тоскливо, словно размышляя вслух, пропел: "Э-э-эх, ты, ноченька, н-о-о-чка темна-а-я..."

Он, конечно же, не был никаким актером и пел, подражая Шаляпину, но настроение его столь точно совпадало с характером вещи, что в одно мгновение он превратился в здорovenного, изрядно подпившего

детину, готового первому попавшемуся охотнику слушать рассказывать свои самые сокровенные горести и тревоги.

Многие улыбались, некоторые переговаривались, Барбара подбирала аккомпанимент... Но когда он тяжело, горько спросил сам себя, с кем он эту ночь коротать будет, все притихли, только гитара роняла минорные аккорды. Вопрос повис в воздухе, и тогда он пояснил: "Нет ни батюшки, нет ни матушки", уронил голову на руки и сделал большую паузу, затем, словно решившись, доверительно сообщил, что есть одна зазнобушка. Он так растянул это слово, что стало ясно — о зазнобушке-то и речь. При этом лицо его на мгновение прояснилось, чтобы тут же опять помрачнеть, когда во всю мощь своих легких он заключил: "только со мной нет любви у нея... эх!". Первой, как ни странно, сорвалась Юдит и, подбежав к Илье, чмокнула его в щеку, затем Барбара лохматила его пробор, все горячо аплодировали, только Анжелика сидела притихшая и прятала влажные глаза. Вскоре начались танцы.

— Зачем мучаешь меня? — спросила Анжелика во время танца и, не стесняясь никого, поцеловала Илью, затем рассмеялась, — знаешь, о чем Золтан сказал Карелу? "Илья так меня задел, что я согласен даже на жирную корову"... не понимаешь? Так они зовут Таню.

— Мерзавцы! — рассмеялся Илья, — Не такая уж она... Впрочем, не о том речь... — забормотал он, тесно прижимая ее к своей груди. — Джи, Лика, я умираю... хочу тебя... Ну почему ты не пошла ко мне?! А теперь уже поздно, не попадешь в зону... А ты, что ты?

— Я тоже хочу тебя...

— Боже, что же делать, какая мука!

— Сейчас, подожди меня, я сейчас, — сказала Анжелика, выскальзывая из его рук.

Илья присел на разоренную кровать и упрекал себя за приземленность, думал о том, что Анжелика гораздо возвышенней его..., когда она подкралась сзади и обняла его за шею.

— Я поговорила с Барбарой, они скоро все уйдут отсюда... Ты доволен?

— Ты?! — изумился Илья. — Ты поговорила? Я не узнаю тебя...

— Сам виноват — так ранил меня, когда пел "нет любви у нее". Хочу доказать, что неправда...

Они не были искусны в любви, не знали ни точек, ни зон, не умели разжигать страсть и греться у ее быстротечного пламени. Они бросали себя в него и сгорали дотла.

Чувствительные как мимозы, голодные как ээки, они пожирали друг друга и не могли насытиться...

Слепые щенки, безжалостные дети, они искали сосуд наощупь, пили до дна и не могли напиться...

— Знаешь, что случилось? — спросила Анжелика, едва восстановилось дыхание. — Мы только что сделали Ванечку...

Он с трудом открыл глаза, посмотрел в безмятежно-счастливое лицо подруги и, поцеловав в уголок рта, спросил:

— Разве об этом можно знать?

— Не поверишь, но я точно знаю, что сейчас случилось...

И он поверил, задумался, а затем сказал:

— Это колоссально! Я люблю тебя вдвойне! Конопатый, белобрысый крепыш, как я мечтаю о нем... И пусть провалятся все председатели и характеристики — они не смогут нам помешать!

Разлука, даже объявившая о себе зараниее, обрушивается всегда неожиданно, как цунами. Только что он держал ее за руку, прижимал к себе и насиловал свой мозг в поисках умных и нужных слов, только что болезненно улыбался, задрав голову, и бежал за вагоном, только что видел хвост поезда... и вот уже мир пуст и бессмысленен. На перроне грустные тени друзей, и некуда спешить, нечего делать.

Илья пошел пешком чужим, незнакомым городом и шел медленно, долго, придя к себе, он достал из ящика стола красную алюминиевую коробочку с короной, которая, несмотря на все его усилия, сохранила терпкий запах кубинских сигар. В ней лежала, уютно свернувшись, золотистая прядь волос. Он тщательно обследовал свой костюм, нашел еще несколько длинных прозрачных волосков, аккуратно уравнивал их кончики и положил в коробочку. Неделю назад ему пришла в голову странная мысль — собрать из выпавших волосков Анжелики локон... Зачем? Разве она не отрезала бы ему? Нет, он уже тогда предчувствовал наслаждение собирания, как будто встречи их продолжались... Находя все новые и новые прозрачные нити на вечернем костюме, кровати, плаще или пальто, он испытывал особую щемящую радость — тонкие, почти невидимые, они, как нить Ариадны, вели его память в концертный зал, мастерскую Андрея, в их комнату на Рождество...

Через два дня пришла открытка из Бреста — бодрые голоса сквозь слезы, а затем — двенадцать дней — ни строчки. Он подсчитывал прикидывал, строил предположения и целые теории. Три раза в день обуревало предчувствие, что на пульте его ждет письмо. Он бежал туда, чтобы кто-нибудь не взял по ошибке, чтобы не завалилось, не затерялось. Проходили самые пессимистичные сроки: день на дорогу, три на раскачку, три — четыре — пять на пересылку, а письма не было. Он извелся, не мог ни на чем сосредоточиться, только строил версии — одну мрачней другой. Наконец, на пятнадцатый день, пришло письмо, датированное днем приезда... Две недели шло оно! Он никогда прежде не присматривался к датам и теперь пришел в отчаяние: две недели туда, две недели назад... ужас!

Надо было навестить маму и ехать в Новосибирск на симпозиум. Он готовился выступить в секции "философские проблемы теорети-

ческой физики”, часто встречался с Галиным, а думал только об одном: он уедет, письма его будут приходить сюда... если он напишет ей немедленно новосибирский адрес, ответ не застанет его в Новосибирске... Неужели полтора месяца без связи? Немыслимо! Невозможно!

И он нашел выход. Писал письмо, ехал на вокзал, подходил к полякам, показывал фотографию невесты и просил опустить письмо в первом же почтовом ящике в Польше. Его выслушивали с понимающей улыбкой и никогда не отказывали. Но получала ли она их? Уезжая из Москвы в середине июля, он имел от нее только два письма, посланные еще в первые дни. Пан Стешиньский лежал в больнице, и она не решилась беспокоить его разговорами... дикие головные боли, к нему страшно подступиться...

Елена Павловна нашла его похудевшим, подурневшим, страшным. Аппетит, правда, был, как всегда, прекрасным, а в остальном... это не был прежний Илья — милый, ласковый шутник, всегда открытый, всегда уравновешенный. Она едва дождалась его, поломала отпуск, чтобы обсудить его женитьбу, защиту, распределение, а он явно избегал откровенных бесед: отмалчивался, либо успокаивал ничего не значащим “все будет хорошо”. Она заметила, что у него появился повышенный, нездоровый интерес к политике. Это была единственная тема, на которую он охотно откликался. Он слушал западные радиостанции на английском языке, и она спрашивала, о чем они говорят. Он отвечал, загорался и начинал говорить вещи прямо-таки ужасные: у нас опять крепостное право, только еще более крепкое; своих союзников мы держим грубой силой — если бы не наши танки, они давно разбежались бы; вообще, соседи боятся, ненавидят нас и ждут только удобного случая, чтобы перекинуться на Запад; угнетая других, мы по злой иронии больше всего страдаем сами — хуже всех живем, самые бесправные и темные; сейчас сложилась кризисная ситуация — если мы не остановим процесс демократизации в Чехословакии, за ней потянутся Польша и Венгрия, что приведет к расколу социалистического блока, а затем, смотришь, и наш народ начнет задумываться... Елена Павловна попыталась осторожно спорить, но вызвала такую бурю, что испугалась и перестала возражать сыну, только спрашивала, что он предлагает. У него был один универсальный рецепт: отказаться от мелочной опеки народа во всех сферах деятельности — от экономики и образования до искусства и идеологии. Теперь мать ни секунды не была спокойна за сына и просила его только об одном: чтобы он был осторожен и не высказывал своих взглядов направо и налево. Илья задумался и с горькой насмешкой спросил: “Ты хочешь, чтобы я примкнул к статистам, к молчаливому большинству?”

— Нет, я хочу, чтобы голос твой имел вес, чтобы к нему прислушивались, а так что... — ну, чирикай направо-налево, пока не посадят...

Илья болезненно сморщился.

— Мама, что за слово: "чирикай"! Начнем с того, что моя профессия — думать и высказываться (в той или иной форме). Голос не окрепнет, если им не пользоваться... Или, может быть, ты предлагаешь мне до поры до времени врать, чтобы в один прекрасный день "каркнуть во все воронье горло"? Уж лучше чисто чирикать, чем фальшиво каркать.

— Ну, и кто тебя услышит? "Разве жена, да и то, если не на базаре, а близко".

— Хорошо, скажи, кем надо стать, чтобы к моему голосу прислушались? Доктором? Академиком? Президентом Академии? Представляю: двадцать лет человек врал, стал академиком и вдруг заговорил чистойшей правдой...

— Зачем такие крайности! Ты можешь заниматься своей наукой — никто не заставляет тебя врать — тем временем созреют твои общественно-политические взгляды, и ты...

— И я превращусь в обыкновенного мерзавца, который все понимает, а говорить боится. Пойми, я ученый и философ. — Илья покраснел и поспешил добавить, — по крайней мере — стараюсь стать им. Мой долг — если я что-то понял, объяснить тем, кто этого еще не понимает. Молчать — это... это все равно, что сделать что-нибудь, а людям не отдать.

— Ты можешь погибнуть прежде, чем успеешь что-нибудь сделать. Вспомни тридцатые годы!

— Ах, оставь, мама. Вы — ваше поколение — так пропитались страхом, что не видите, как изменились времена. Сейчас насилие психологически невозможно. И потом, если я не буду выполнять свои функции — думать и говорить — то не состоюсь как личность. Понимаешь? Человек есть, а личность не состоялась, нет личности. Что же тут беречь от гибели?

— Ты можешь думать и не высказываться до поры до времени?

— Мне уже сейчас трудно молчать... Понимаешь, я вижу, что король голый, а как заявить об этом — не знаю.

— Вот что, Ильюша, — сказала Елена Павловна с дрожью в голосе, — обещаю тебе только одно, — что ты не станешь кричать о своем открытии хотя бы до защиты диссертации.

Диссертация, защита... — думал Илья, — он и так пошел ради нее на недопустимые, мучительные компромиссы. Однако, и устоять перед женской просьбой Илья не мог...

— Ну, до защиты тебе не о чем беспокоиться, мне просто не до того будет, — уклонился он.

Из дома Илья вылетел в Новосибирск. Пять часов полета, за которые день успел превратиться в ночь, а ночь — разгореться в утро, перенесли Снегина так далеко, в такие недра, что он был искренне удивлен, встретив в чистеньком дачеподобном Академгородке привычных для

глаза очкариков в серых костюмах, с белыми планками на груди, преисполненных кастового достоинства. Более того, тут оказалось десятка два "демократов", какой-то француз, "давний друг Советского Союза", и о ч е н ь "прогрессивный философ и общественный деятель" Исландии.

Не успел "международный форум" по-настоящему открыться, как Илья потерял к нему всякий интерес. Галин хлопотал, знакомил его с будущими оппонентами, рекламировал себя, расхваливая своего талантливого ученика, а ученик норовил убежать на берег реки, в лес, в Новосибирск и пару раз на день заглянуть на почту. Вскоре курносая, широколицая девушка в окошке стала встречать его улыбкой сожаления и покачивать головой. Но однажды, излучая счастье, она подарила ему два письма сразу. Мир вспыхнул и завертелся праздничным фейерверком. У Ильи едва хватило сил выйти и разыскать скамейку.

Она получает его письма и очень счастлива, но почему он не отвечает на ее вопросы? Поэтому они с Барбарой и Карелом решили взять на себя всю ответственность. Почти все уже подготовлено: домик лесника в Татрах, квартира Карела в Варшаве, пансионат на берегу моря и, конечно же, Краков — всего на неделю. Папа еще слаб, и для него Илья будет гостем Карела, но она надеется... Он должен заказать телеграфом билет на пятое августа и послать им телеграмму, его обязательно встретят. Мама его заранее любит и посылает самый теплый привет... Про себя говорить она не может — не хватает слов: "Только то могу сказать, что люблю безумно, считаю каждый день и не знаю, доживу ли".

Илью разморило сладким, сонным счастьем. Боже, неужели?! Через восемь дней... Сколько это часов? Двести двенадцать, да полдня уже прошло, да шесть часов он нагонит... впрочем, нет — плюс шесть часов. Если на вокзал придут родители, он будет по-английски сдержан... только скажет матери потихоньку: "Мадам, я буду счастлив стать вашим сыном", нет что-нибудь попроще... Тьфу! К черту всю великосветскую игру! Он схватит Анжелику на руки и будет целовать на виду у всей Варшавы...

Он вылетел в Москву за день до закрытия симпозиума, чтобы второго августа рано утром быть в ОВИРе. Получить паспорт, захватить в польское посольство, а оттуда — в Интурист за билетом, и два дня на сборы.



С того мгновения, как самолет оторвался от земли, пульс Ильи не опускался ниже ста, как будто это его сердце тащило тяжелую машину. День и ночь перемешались, но это не имело никакого значения — главное, что, согласно календарю и часам, он действительно второго числа в семь часов утра занял очередь в ОВИРе.

Второе августа 1968 года было пятницей.

Если бы он не был таким прожженным индивидуалистом и не пользовался каждой возможностью уединиться, если бы он, как все смертные, потолкался в очереди и послушал разговоры весьма осведомленных людей... Но что об этом говорить — тогда он не был бы Ильей Снегиным, я не взялся бы писать о нем, и нам было бы безразлично, как он перенес удар.

Итак, он оказался совершенно не подготовленным и, когда некрасивая, рыхлая женщина в очках сообщила, что паспорт его не готов, он долго тупо смотрел на нее и не мог сложить предложение из пяти слов: мне, ведь, как, вы, обещали.

Впрочем, ему незачем было утруждать себя, она все рано отослала бы его к первому секретарю ОВИРа, очередь к которому началась на первом этаже и под присмотром двух милиционеров доходила до — второго. К концу дня Илья достиг желанной двери и услышал ошеломительную новость: нет, это не задержка, университет почему-то отозвал его характеристику...

Пятница кончилась. Он ничего не мог предпринять до понедельника. Значит, он не уедет пятого, не увидит ее шестого... Он так стремился, так спешил, и вдруг всякое движение стало бессмысленным... Какая дикая, чудовищная несправедливость! За что?! Какой негодяй, монстр и для чего это сделал? Кто он, где его искать?! Сегодня уже поздно... Найти, приставить к горлу нож... "Зачем ты это сделал, негодяй? Подписывай, или я убью тебя, мерзавец!" Завтра, завтра он разыщет его, а в понедельник добьется паспорта... А сейчас, что делать сейчас? Позвонить ей, сказать, что задерживается на три... нет, на четыре дня?

Возможность что-то делать подхлестнула Илью. Он вернулся в университет и заказал на полночь разговор с Краковым. Но куда деть пять часов? Илья метался, он не мог сидеть на месте — одна минута неподвижности, и смесь бессильной ярости, отчаяния и жалости начинала давить на диафрагму... Затем на целый час он нашел себе занятие — он запишет разговор, у него будет ее голос! Он притащил магнитофон, подключил к телефону и сделал пробную запись... Но, что дальше?..

В половине первого он услышал наконец ее голос:

— Ильюша, это ты? Chesch, дорогой мой! Как хорошо придумал — позвонить... Уже считаю минуты... Знаешь, какая новость? Папа сказал, что можем пользоваться машиной, если есть права. У тебя есть?... Неважно, Карел поведет...

— Джи, радость моя, я не приеду во вторник, — выдавил из себя Илья, массируя пальцами пересохшее горло.

Честность всегда безжалостна. Трубка смолкла, как будто перерезали провод.

— Джи, Лика! Ты слышишь меня?! — закричал Илья. — Отвечай, Джи!

— Но почему? Почему?!.. Я не могу больше ждать... — ответил ее промокший голос, и спазмы схватили Илью за горло.

— Я не знаю, кто-то отозвал характеристику... недоразумение, ведь ее утвердили на всех инстанциях... Что? На симпозиуме? Нормально... "с честью представлял страну Советов"... — горько усмехнулся Илья.

— Jezus! Ты смеешься... Я не могу, я измучилась... приезжай как-нибудь.

Его душили. В глазах темнело.

— Но, что я могу!.. Клянусь, я побежал бы пешком... Эти чертовы учреждения все закрыты до понедельника...

— Но что-нибудь сделай... проси ректора... скажи, что я умру...

Рыдания ее захлестнули Илью. Он выхватил носовой платок.

— Не плачь! Любовь моя, не плачь! У меня у самого... глаза мокрые... Я не выдержу... прошу тебя...

Но он уже плакал и, зажимая ладонью трубку, пытался высморкаться. Наконец он овладел собой.

— Анжелика, не отчаивайся. Я приеду, я приеду во что бы то ни стало... Я все тут перетряхну и через неделю приеду...

Она всхлипывала реже, тише по мере того, как голос его становился тверже.

— Радость, любовь моя, я сделаю возможное и невозможное, клянусь тебе...

— Пойди к Петровскому, он хороший человек, он помогает...

Множество раз потом Илья прослушивал пленку и клялся своей любимой; запись, однако, на этом не кончалась. Был в ней также любопытный разговор с телефонисткой, который он обнаружил значительно позже.

Положив трубку, Илья сидел в оцепенении, потом спохватился и снова набрал 07.

— Девушка, я заказывал пять минут... наговорил, наверное, двадцать...

Ему долго не отвечали, наконец голос другой телефонистки сказал:

— Снегин, это вы говорили с Краковым? Ваша дежурная плачет... расстроили вы ее своим разговором... Не беспокойтесь, заплатите за три минуты.

Уже на следующий день, несмотря на то, что была суббота, Илья попытался выяснить, кто отозвал его характеристику. На факультете никто ничего не знал. В понедельник он явился в ОВИР и попытался пробиться к первому секретарю. Милиционер пускал только по списку, и никакие аргументы не него не действовали... Однако, первый секретарь был человеком и более того — женщиной, с кучей собственных проблем, которая занимала свою должность не потому, что она ей нравилась, а потому, что надо было кормить себя и лоботряса сына, который учиться не хотел, водил компанию с такими же бездельниками... Все это выяснилось, когда Илья подкараулил ее по дороге в кафе, где она обедала. Он покорила ее своей искренностью, своей историей, и вскоре эта женщина, которую все считали всесильной, так как ее охраняло два милиционера, жаловалась Илье на сына, на неприятную работу: "Все плачут, жалуются, просят, а что я могу сделать... я ничего не решаю".

Она посоветовала Илье оформить другую характеристику: коротко — всего шесть-семь строчек — и только четыре подписи: ректора, секретаря парткома МГУ, секретаря комсомола МГУ и секретаря профкома МГУ. "С такой характеристикой профессора ездят в командировки. Сумеете сделать, через неделю встретитесь со своей Анжеликой", — сказала она на прощанье и прошла мимо первого своего телохранителя.

Окрыленный успехом, Илья тут же написал и отправил письмо Анжелике, затем приехал на кафедру и написал на себя характеристику. Однако, с чьей подписи начать? Разумеется — с подписи ректора. Говорят, Петровский — милейший человек, а после него и другие подпишут гораздо охотнее. Он не ощущал дерзости своего поступка, как лунатик не ощущает высоты, но только так и можно было осуществить безумный рейд в лиссабонскую гавань бюрократии.

Записавшись у секретаря, в ожидании своей очереди, Илья тщательно обдумал предстоящую речь. Он должен убедить ректора, в конце концов Петровский — математик, автор книги по дифференциальным уравнениям... , они поймут друг друга.

Ректор сам вышел в приемную и протянул руку вставшему на встречу Илье. Мягкая рука, мягкая, почти застенчивая улыбка... Илья почувствовал себя непринужденно с первой же секунды. Он старался ясно и коротко изложить свою просьбу, однако не удержался на узенькой дорожке логики и фактов, когда ректор поинтересовался, как отнеслись к их роману родители.

— Родители? — переспросил Илья и вспыхнул всеми пятнами сразу. — Не только родители, все, буквально все ополчились против нас.

А теперь, когда нам не дают возможности встретиться, кажется, само государство против нас! И это непостижимо для меня. Мы ничего не просим: ни денег, ни дипломатической или, там, военной поддержки, только увидиться, познакомиться с родителями...

Ректор слушал очень внимательно, подперев голову рукой, затем молча вызвал секретаря — почтенную седую даму — и попросил связать его с секретарем парторганизации университета. Тот вскоре явился собственной персоной, излучая чуть больше независимости, чем давал ему временный статус главы парторганизации. Несмотря на то, что секретари приходили и уходили, а ректор оставался, его роль была весьма символической. Беспартийный, деликатный, немного не от мира сего, ученый не хотел и не мог вникать в тайный механизм власти, довольствуясь представительной ролью монарха. Иногда он проявлял строптивость, и тогда ему либо уступали, если вопрос был несущественный, либо подталкивали усилиями советников к нужному решению, а то и просто давили партийным авторитетом.

Сам по себе вопрос поездки аспиранта в соц. страну был явно несущественным, но он затрагивал проблему "огромной государственной важности", в которую партийный секретарь не мог до поры до времени посвящать беспартийного ученого. Поэтому он попытался вполголоса объяснить ректору, что со второго августа действует закрытое партийное постановление, запрещающее частные поездки учащихся за границу. Илья из деликатности встал и принялся внимательно рассматривать вышитый шелком портрет университета, подарок Китая. Однако, ректор насутился и вежливо, но громко попросил секретаря объяснить причины такого постановления. Ругнув про себя "старого олуха", секретарь громко, чтобы мог слышать Илья, пояснил, что постановление вызвано участвовавшими случаями недостойного поведения советских учащихся за границей.

— Хм, вот как... однако... — смутился депутат Верховного Совета, член Президиума Академии Наук СССР, ректор МГУ И. Г. Петровский, чувствуя, что от него в который раз скрывают истину, — однако, надо думать, в особых случаях, вроде данного... возможны исключения?

И Снегин удостоился исключения. На следующий день он без особого труда получил две остальных подписи и отвез характеристику в ОВИР. Первый секретарь была поражена: "Ну, знаете ли, Илья, я в этой организации уже пятый год работаю, но такое вижу впервые. Вы что, гипнотизер?" "Нет, — смеялся счастливый Илья, — это ее заслуга. Я показываю ее фотографию, вот эту, и никто не может отказать..." "Да-а, красивая... Ну, дай вам Бог..."

Она взяла у Ильи телефон и обещала позвонить, как только паспорт будет готов. Благодарный Илья поцеловал ей руку. Он тут же подробно описал свои успехи Анжелике, добавил в конце патетических аккордов и отослал письмо с польскими туристами.

Через два дня Илья получил от невесты письмо, в котором она общалась, что у них будет Ванечка.

Он читал письмо в холле. Когда он дошел до этого места, глаза его закрылись и голова упала на грудь. Почти сразу же ему явилась юная мадонна в длинных светлых одеждах, с белым, пухлым младенцем на руках... Тело Ильи потеряло вес и вдруг куда-то исчезло; он ощущал только огромную, распухшую голову, которая все расширялась и расширялась, постепенно охватывая весь мир с рафаэлевской мадонной в центре...

Его растормошил финн Эско Марконнен, весельчак и балагур, президент Интернационального Клуба физиков, в создании которого принимал участие и Илья. Узнав в чем дело, Эско потащил его к себе пить за здоровье матери и наследника. Илья быстро захмелел и рассказал приятелю про свои мытарства. Скуластый, белобрысый Эско жил в Союзе уже шесть лет, а поэтому ничему не удивлялся. Но твердое сердце прагматика и позитивиста имело свойство оттаивать весной и после трехсот грамм, тогда из физика-экспериментатора он превращался в милейшего эпикурейца и собеседника. Он увлекался политикой как захватывающим детективом, обожал делать прогнозы, а, угадав ход событий, искренне радовался. "Они никогда не выиграют войну, — рассуждал он, потягивая кофе. — Вьетнам — это болото и джунгли, они уничтожают пестицидами растительность, затем перепахивают авиацией землю, а через две недели все опять скрывается под зеленой крышей... Когда Дубчек отменил цензуру, он подписал себе смертный приговор; ваши ничего так не боятся, как нарушения монополии на информацию...". Эско обладал цепкой памятью, регулярно читал финские газеты, бывал в Европе, и беседы с ним вскоре стали для Ильи потребностью. Днем и вечером Илья боялся выйти из комнаты, чтобы не пропустить телефонный звонок, на пятый день не выдержал и поехал в ОВИР. "Ждите, еще рано, сама вам позвоню", — говорила его ангел-хранитель, но он уже не мог сидеть и каждый день с самого утра являлся в ОВИР.

Прошла неделя. Илья написал Анжелике письмо, полное любви, нетерпения и фанатичной решимости, однако в конце он просил передвинуть все планы еще на неделю. "Я все равно приеду, я приеду, несмотря ни на что!!" — повторял он вновь и вновь, но, чем больше восклицательных знаков он ставил, чем истушенней и безумней становилась его клятва, тем явственней звучала в ней мелодия отчаяния. Пошла вторая неделя с тех пор, как он подал новую характеристику. Его покровительница откровенно избегала встреч... Он проклинал себя за бездеятельность, за мягкотелость, а по ночам придумывал сцены — одну мучительнее другой. Он стоит у самой пунктирной линии на асфальте, она — у такой же, на расстоянии двадцати метров. Его держат пограничники, он что-то кричит ей, потом вырывается и бежит через

нейтральную полосу, она — навстречу... Он обнимает ее посредине... Пограничники беспомощно разводят руками...

Хуже всего было в субботу и воскресенье, когда ОВИР не работал, и, казалось, можно было вздохнуть от непрерывного ожидания. Он абсолютно ничем не занимался, не играл даже в волейбол, только лежал и слушал Перголези и "Американские квартеты" Дворжака. В университете состоялось открытие Энергетического Конгресса, и залы, холлы, фойе были забиты иностранцами с табличками на груди. В другое время он завел бы новые знакомства, куда-то ходил бы, говорил по-английски...

Все разрешилось беззаботно-солнечным утром. Спустившись позавтракать, он заметил у газетного киоска встревоженные кучки студентов. "Что там стряслось?" — спросил он через головы. "Да вот, подали братской Чехословакии руку помощи, — сказал, оборачиваясь, юноша с густым белым пухом на лице, — теперь, надо полагать, душить будем". Илья просунул сквозь тела руку с двумя копейками и выхватил "Правду". "Граждане, граждане, что вы делаете!" — причитала продащица с сильным еврейским "р".



Илья брел с газетой в руках, натываясь на людей, пока не обнаружил, что сидит на скамейке у главного входа. Он поднял газету и пробежался по заголовкам: жатва была в разгаре, металлурги Запорожья выступили с новым почином, страна готовилась к началу учебного года... Он обвел взглядом площадь: на флагштоках трепались флаги сорока пяти стран — американский рядом с советским, чуть в стороне британский, провинциалы и туристы глазели на сталинское чудо, силась припечатать себя к его фасаду, скрипели на поворотах разболтанные автобусы, родители прогуливали детишек... Ничего, ничего не изменилось! Может быть, он чего-то не понял? Наводнение... пожары... спасают детей, стариков? Опять впился в зловеще-траурные строки... Ничего не понятно... И вдруг осенило: найти Эско, послушать радио.

Эско он не нашел и бросился к приемнику. По-русски ни одной станции... и вдруг взволнованный британский говор: "...по вымершим улицам ветер гонит бумагу... медленно ползет колонна танков... тут перевернутый трамвай, там горит машина... редкие пулеметные очереди... судьба правительства неизвестна..." Илья выглянул в окно: во дворе, как обычно, сновали люди, двое лениво перебрасывались воланчиком, и тогда ему стало страшно, жутко,

Если бы "наши играли с чехами", двор был бы пуст, а университет взрывался бы после каждой забитой шайбы, а когда их танки уютят беззащитную страну и четырнадцать миллионов замерли в смертельном ужасе, они преспокойно делают свои дела и играют в бадмингтон! Жестокий, бесчувственный, страшный народ!! Как расшевелить вас, как пробудить элементарное человеческое чувство — сострадание, как внушить хоть каплю уважения к достоинству и свободе другого народа?! Открыть окно, встать на подоконник и крикнуть: "Вы, стадо баранов, тупые бесчувственные животные, очнитесь! Поверните ваши танки! Кого вы топчете?!", или отпечатать сотни листовок и бросить с тридцать второго этажа?.. Ворвутся, схватят... И черт с ними! Он будет кричать в коридоре, в лифте... Безумный, он сходит с ума! Что будет с Анжеликой?! Опомнись, ненормальный! Разве ты не поклялся приехать? Приехать?.. Уехать?.. Конечно, совсем, немедленно! Порвать, чтобы не быть причастным...

Илья как-то вдруг странно успокоился. Пошел в ванную комнату и тщательно побрился, погладил белую рубашку и галстук, одел свой лучший костюм и прикрепил с левой стороны пластмассовую табличку "English, interpreter", затем запер комнату и спустился по лестнице на второй этаж.

В фойе актового зала возле стендов с фотографиями участников

толпилось множество иностранцев, отыскивая себя. Илья присоединился к ним и долго присматривался к лицам и табличкам, вслушивался в речь. Наконец он остановился на англичанине — господине средних лет, с лицом, внушавшим безусловное доверие. Илья подошел к нему и, взглянув на табличку, вежливо обратился:

— Прошу прощения, мистер Стрентон, могу я чуточку побеспокоить вас?

Англичанин, не выразив ни удивления, ни притворной радости, кивнул и отошел в сторону. Илья представился, сказал, чем занимается. Стрентон молча протянул руку.

— Видите ли, сэр, я был глубоко потрясен событиями этого утра...

— В самом деле, шокирующие события, — вежливо согласился англичанин.

— Для меня, однако, они имеют принципиальный характер... они затрагивают меня лично... — Илья покраснел и, собравшись с духом, продолжил. — Дело в том, что я — русский и тем самым разделяю ответственность...

— О! — воскликнул Стрентон, сразу смягчившись. — Я понимаю, это, должно быть, очень тяжело... Чем я мог бы вам помочь?

— Видите ли... надеюсь, я не похож на сумасшедшего? У меня есть глубокие расхождения с политической системой этой страны... Уже несколько месяцев... — Илья виновато улыбнулся. — Раньше я занимался наукой и не задумывался, то есть... очень мало. Но обстоятельства заставили меня подумать, и теперь я твердо уверен, что не могу жить в этой стране.

Англичанин грустно и сочувственно кивал головой, затем сказал:

— Разрешите, если я могу, что-нибудь сделать для вас?

— Большое спасибо! — вспыхнул Илья. — Если вас не очень затруднит...

Он попросил Стрентона узнать в британском посольстве, не могут ли они там дать ему политическое убежище и помочь выехать из страны. Они договорились встретиться на том же самом месте на следующий день и расстались, обменявшись крепким рукопожатием. Только тут Илья ощутил голод и, сняв табличку, направился в столовую. Надо написать Анжелике письмо и привести в порядок дела, думал он, рассеянно читая меню. Маме он напишет о т т у д а. Конечно, для нее это будет страшным ударом, но ведь другого выхода нет. Анжелика придет в Англию к бабушке... Надо связаться с Андреем... Так надругаться над личностью и целыми народами! Он сделает публичное заявление... В конце концов каждый порядочный человек должен доступным ему образом сопротивляться произволу или хотя бы выражать свой протест...

Вечером Илья поехал к Андрею, однако дома его не застал. Эс-

ко тоже куда-то исчез. Один в холодном, враждебном мире!

Ему показалось, что за целую ночь он не спал ни минуты: так плавно мысли переходили в виденья, виденья — в картины, картины — в безупречную действительность, которая подсовывает для доказательства своей подлинности совсем настоящие камушек либо травинку и даже уговаривает: "Ну, ушипни себя... теперь убедился?.." Но стоило на секунду поддаться ей, поверить, как невинные лесные тропинки сворачивали в чащу ужасов, из которой не вырвешься без холодного пота и срывов сердца. За несколько часов Илья успел выступить на каком-то митинге, встретиться с Анжеликой, задержать колонну танков... Он спорил с Галиным и Стрентоном, уговаривал по-английски маму, выдерживал осаду оперативников, удирал через университетский забор, чтобы оказаться в Лондоне, который походил на его родной город...

Стрентон был точен и деловит.

— У меня разочаровывающие новости, — начал он, едва они обменялись рукопожатием. — Мне сказали, что такое решение вопроса вряд ли приемлемо. Дело в том, что британское посольство в Москве находится, как ни в какой другой стране, на особом положении. Вы не можете, как в других странах, попросить политического убежища, получить британский паспорт и покинуть страну — Советский Союз не признает такого гражданства и не позволяет эмигрировать таким образом. Конечно, если бы вам удалось проникнуть на территорию посольства, полиция не смогла бы вас арестовать... Но правительство Британии не желает политических осложнений... Кроме того, как сказал мне чиновник, желающих было бы слишком много. Они советуют вам поехать в туристическую поездку по любой западной стране и там попросить убежища.

— Благодарю за совет, — кисло улыбнулся Илья. — Они, по-видимому, не знают, что такое ОВИР и характеристика с двенадцатью подписями... Меня не пустили в Польшу! К н е в е с т е! А они советуют поехать в западную страну... Извините меня, сэр, но они идиоты! Они не понимают, что здесь происходит.

— Мне кажется, вы правы, — растерянно сказал англичанин, — мне они тоже не очень нравятся... эти чиновники. Но чем я могу помочь вам?

Илья попытался улыбнуться, но из этого ничего не вышло.

— Боюсь, что уже ничем, теперь уже ничем...

Это прозвучало нехорошо, тут пахло трагедией, но англичанин не считал себя вправе вмешиваться. Впрочем, он ошибался. Илья не помышлял о самоубийстве, но что-то, какая-то пуповина, оборвалась за прошедшие сутки, и он чувствовал, что ее больше не свяжешь, не пришьешь.

Он смотрел вокруг себя с горькой и высокомерной отчужден-

ностью, как будто все это его больше не касалось, не имело к нему никакого отношения...

Еще вчера этот мир странно волновал и притягивал его, как восточный базар европейца, дразнил пряным запахом порока и лжи, завлекал гортанным криком зазывал, завораживал откровенным уродством, заманивал скрытыми добродетелями, дурманил флюидами соблазнов... Более того, сюда уходили и здесь терялись его, Ильи, корни... Но слишком грубо, чересчур откровенно он удерживал Илью... Отвращение нахлынуло... Он рванулся... нет, не пускает, и тогда он отсек пуповину. Стало легко. Мир отодвинулся. Илью не волновали его проблемы.

Дома его ждала записка — Андрей Покровский просил немедленно приехать к нему. Илья тот же час поехал.

Ему открыла Инна Грейцер, встревоженная и похорошевшая. По комнате взад-вперед ходил Андрей, всем своим видом говоривший: "Ах, ну, что же это такое!". Володя из "Современника" флегматично пощипывал гитару.

— А где же Игорь? — первым делом спросил Илья.

— Да вот, в том-то и дело, — сказал Андрей, царапая бороду, — он, брат, такую штуку выкинул...

"У меня для этой самой штук-штук-штуки..." — подхватил Володя.

— Да прекратите вы балаган! — закричала Инна. — Он поступил, быть может, и не лучшим образом, зато честно и смело...

— Как, как он поступил? — нетерпеливо перебил ее Илья, расцветиваясь алыми пятнами.

— Он написал в Политбюро дерзкое письмо, обозвал их детоубийцами, шайкой разбойников и потребовал пустить его в Чехословакию, где он будет рядом с чехами защищать свободу и демократию...

— Чего сами чехи и словаки делать не собираются, — вставил Володя.

— И правильно, это же чистая бессмыслица — правительство парализовано, стратегические пункты заняты, — возразил Андрей.

— А партизанская война зачем? Самый лучший способ! Бросил в окно гранату и опять делом занялся.

— Вовка, ты перестанешь юродствовать?! Ты не на сцене, — вмешалась Инна, — кстати, у них и оружия-то нет, — добавила она и тут же спохватилась, — о чем тут говорить! Устроить еще одну Венгрию?

— Где же все-таки Игорь? — спросил Илья.

— Так вот, — почти торжественно продолжила Инна, — вчера вечером он разослал всюду письмо, а сегодня днем его увезли в психушку.

Сердце Ильи сжалось и замерло: вот он он!

— Теперь наш долг, как я его понимаю, высказать свое отношение и поддержать Игоря, — закончила Инна.

— Она предлагает устроить на Красной Площади демонстрацию, — сказал Андрей, ни на кого не глядя.

— А я предлагаю сжечься на Лобном Месте. Представьте: четыре мечущихся факела, крики, вопли... Зрелище!

— Шут гороховый! — коротко бросила Володе Инна. — Андрей считает, что надо написать письмо и собрать несколько сот подписей...

— Поставить свои адреса и сушить сухари, — подхватил Володя. — Кстати, вы знаете, что всегда надо иметь при себе червонец? То-то, зелень! Вы думаете, в Лефортово коммунизм? Там два раза в месяц ларек.

— Вовочка, помолчи чуток. Как я от тебя устаю... Хочется послушать умного человека, — сказала Инна, поворачиваясь к Илье.

Илья, не отвечая, сел в свое любимое кресло, несмотря на то, что Инна стояла. Ему было все равно, его не касалось... Но как сказать им, этим милым и недалеким людям, что протест их смешон, наивен? Если те пошли на то, чтобы задушить целую нацию, четырнадцать миллионов, неужели их остановит писк двухсот человек в своей стране? Или дело в принципе?

Друзья терпеливо ждали. Володя накрыл ладонью струны, слово не доверяя гитаре.

— Вы извините, — сказал наконец Илья, сосредоточившись на сплетающихся и расплетающихся пальцах, — но меня это все не касается.

— Та-а-к! — прошептала Инна.

— Ну ты даешь, старик... — сказал Андрей виноватым голосом, разрывая бесконечную цепь шагов своих как раз напротив Ильи.

Володя прислонил к стене гитару, встал, хлопнул себя по лбу и начал изображать, лихорадочно поясняя: "А ведь он прав... Мы приходим с канистрами бензина на Красную Площадь, бросаем листовки и поливаем себя бензином... Вокруг уже толпа любопытных... Чиркаю спичкой — не горит, вторую, третью — не горят! Отсырели! Нам холодно... Вокруг смеются агенты... Тогда он, добрая душа, достает сухой коробок... А когда его возьмут, он скажет, что его это все не касается."

Илья побледнел: "Не забудьте отдать мне свои червонцы".

— Да что это такое?! — беспомощно всплеснула руками Инна. — Как вам не стыдно! Что угодно опощлят! Ну этот... понятно, а ты, Илья!.. Ну скажи же им что-нибудь! — набросилась она на Андрея.

— Инночка, ну что ты, юмора не понимаешь... — спокойно заметил Андрей и, не глядя Илье в лицо, сказал: — У него, должно быть, свои планы — диссертация, женитьба... ему сейчас не до политики.

— Женитьба? Медовый месяц?! — взорвалась Инна. — Да он просто трус! Как все эти лабораторные амебы... сидят в своей конуре и

и делают вид, что ничего не замечают. "Наука, наука!"... "На благо всего человечества!" Корчат из себя глупеньких... не понимают, видите ли, что, если бы не их достижения, эти бандиты не посмели бы так расправляться... Негодяи! — голос ее срывался, черты лица заострились, глаза заставляли отворачиваться каждого, на ком они останавливались.

— Инночка, успокойся. Ну, стоит ли так расстраиваться, — уговаривал Андрей, пытаясь обнять ее вздрагивающие плечи.

— Не трогай меня, транквилизатор нашелся! — брезгливо дернулась Инна. — Там, может быть, дети гибнут, а двести пятьдесят миллионов такие спокойные... Хотя бы десяток порядочных... По-зо-р!

Она вдруг извлекла откуда-то платочек и оставила ребят, скрывшись за неоконченной картиной. Андрей, сложив на груди руки, тер ребил бороду, Илья кусал бесцветные губы, даже Володя казался подавленным. Минут через пять Инна вернулась, села за стол и начала чиркать пистолетом-зажигалкой.

— Ну, вот что... — нарушил невыносимое молчанье Илья, — моему, демонстрация это бессмыслица... Кто нам дал право приносить человеческие жертвы? Неужели мы не способны на большее? Один раз крикнуть и навсегда замолкнуть? Хотя это и честная, органическая реакция... Что касается письма... меня просто переворачивает от мысли... Не знаю, как вам это объяснить... Я ощущаю себя в тюрьме, явственно ощущаю, и не хочу ничего, никаких улучшений — только свободы! Я родился и вырос в тюрьме, просто не понимал этого. Теперь я понял — это тюрьма, если нет выхода, нет выбора. Но понял и другое: меня заманили в нее, посадили обманом. Если бы я заслужил ее и получил положенное по закону наказание, было бы естественно требовать, чтобы меня и содержали в ней по закону. Но ведь я н и ч е г о не совершил, меня п о с а д и л и незаконно, как же я могу требовать законности с о д е р ж а н и я... Смешно, да и безнравственно, так как тем самым я говорю: "Вот при таких-то и таких-то послаблениях режима я согласен сидеть". Н и п р и к а к и х у л у ч ш е н и я х я не согласен сидеть!! Мне наплевать на р а й, если из него нет выхода! Тюрьмы надо разрушать, а не улучшать! Если же нельзя разрушить, надо бежать. Из тюрьмы надо бежать!! И я уберу!

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Лефортово, декабрь 1970 — Киев, октябрь 1979



”Со своей любовью и своим созиданием, — выписывает герой этого романа поразившие его строки Ницше, — иди в уединение, и только позднее, прихрамывая, последует за тобой справедливость”.

Но как уйти в уединение, если форма выбранного тобой ”созидания” — занятия философией, а сам ты живешь в общежитии Московского университета в середине 1960-х и каждое написанное и произнесенное слово должен отдавать на проверку целой армии профессоров, ”блюдущих чистоту материалистического мировоззрения”. Да и с любовью не легче, ибо избранница сердца — польская девушка — пламенная католичка, с обостренным национальным чувством, с острым неприятием пропагандной лжи, торжествующего хамства, культа силы, то есть всего того, от чего не отгородиться в советских условиях. И наконец, ждать справедливости герой романа может только от одного персонажа — самого автора.

Дмитрий Федорович МИХЕЕВ родился в Сибири в 1941 году, в семье летчика и учительницы. В 60-х годах, будучи студентом кафедры теоретической физики МГУ, организовал несколько дискуссий на социально-политические темы. После вторжения в Чехословакию советских войск потерял последние надежды на ”конвергенцию” советского режима. Не желая больше служить ему, начал искать пути бегства за границу. К этому же времени относятся его первые литературные опыты, в частности эссе ”Как оболванить народ”. В 1970 году, по окончании аспирантуры, делает неудачную попытку бежать из СССР. Власти арестовывают его и, осудив ”за измену родине”, посылают в лагерь особо-строгого режима. ”Идеалист” был начат в Лефортовской тюрьме как попытка спасения от убийственного однообразия тюремного существования. Отбыв в тюрьме и лагерях шесть лет, два года работал на заводе и ночным сторожем. В это время заново переписывает книгу, которая сразу же по окончании попадает в руки КГБ и оказывается причиной его высылки на Запад. Находясь в Париже, а затем в Нью-Йорке, опубликовал в *Новом Русском Слове* два десятка статей, эссе и рассказов. Сейчас работает на Голосе Америки в Вашингтоне.